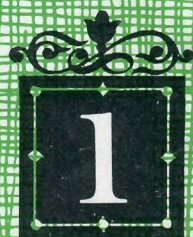


ISSN 0132-1366

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК



СЛАВЯНО ·



1996

· ВЕДЕНИЕ



«НАУКА»

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт славяноведения и балканистики

Славяноведение

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1965 г.

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

Содержание

1
1996
ЯНВАРЬ •
ФЕВРАЛЬ •

СТАТЬИ

<i>Варбот Ж. Ж.</i> (Москва). К этимологии рус. диал. <i>пестерь</i>	3
<i>Куркина Л. В.</i> (Москва). Слав. * <i>plešati</i>	7
<i>Калашников А. А.</i> (Москва). Славянские этимологии. Польск. <i>oszczarki</i>	15
<i>Ефимова В. С.</i> (Москва). Лексика со значением речи в старославянском языке. I. Слова с корнями <i>-вѣт-</i> , <i>-вѣстѣд-</i> , <i>-каз-</i>	18
<i>Н. Т.</i> К юбилею <i>В. М. Живова</i>	31
<i>Толстой Н. И.</i> (Москва). Как называли сербы свой литературный язык в XVIII и начале XIX века?	32 ✓
<i>Толстая С. М.</i> (Москва). Магические функции отрицания в сакральных текстах	39
<i>Петрухин В. Я.</i> (Москва). Древнерусское двоеверие: понятие и феномен	44
<i>Гиппиус А. А.</i> (Москва). «Русская правда» и «Вопрошание Кирика» в Новгородской Кормчей 1282 г. (к характеристике языковой ситуации древнего Новгорода)	48
<i>Темчин С. Ю.</i> (Вильнюс). Текстологическая значимость церковнославянской лексики: восточноболгарская лексика в древнерусском Мстиславом евангелии	63
<i>Гальченко М. Г.</i> (Москва). Датированные новгородские рукописи конца XIV — первой половины XV в. и проблема второго южнославянского влияния	73
<i>Запольская Н. Н.</i> (Москва). «Общеславянский» литературный язык: модели Ю. Крижанича (XVII в.) и М. Маяра (XIX в.)	83
<i>Софронова Л. А.</i> (Москва). Смешение языков на Украине и в школьном театре	95
<i>Сазонова Л. И.</i> (Москва). К понятию элогарного стиля в русской поэзии XVII века	102
<i>Кравецкий А. Г., Плетнева А. А.</i> (Москва). Деятельность еп. Афанасия (Сахарова) по исправлению богослужебных книг	114

МАТЕРИАЛЫ КАРПАТСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ

<i>Николаев С. Л.</i> (Москва). Вокализм карпатоукраинских говоров. 2. Закарпатский ареал	125
---	-----

К 70-летию академика Г. Г. Литаврина	140
С. Б. Бернштейну 85 лет	142
Новые издания Института славяноведения и балканистики РАН	143

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

А. И. РОГОВ (главный редактор), М. А. ВАСИЛЬЕВ (отв. секретарь),
 Г. К. ВЕНЕДИКТОВ, В. К. ВОЛКОВ, Р. П. ГРИШИНА, А. А. ГУГНИН, В. А. ДЬЯКОВ,
 М. С. КАШУБА, В. И. КОСИК, Г. Ф. МАТВЕЕВ, Г. П. МЕЛЬНИКОВ, В. В. МОЧАЛОВА,
 С. В. НИКОЛЬСКИЙ, Ю. С. НОВОПАШИН, В. Я. ПЕТРУХИН, М. А. РОБИНСОН,
 Л. А. СОФРОНОВА (зам. главного редактора), Б. Н. ФЛОРЯ,
 Т. В. ЦИВЬЯН (зам. главного редактора)

Зав. редакцией *И. И. Бизяева*

Сотрудники редакции *Авакова Л. А., Веслова И. Ю.,
 Кошкина Е. А., Масленникова Е. Н., Осипова М. А.*

Рукописи представляются в редакцию в двух экземплярах объемом: статьи — не более одного авторского листа (24 стр. машинописного текста через 2 интервала); сообщения — до 16 стр.; рецензии, заметки о научной жизни и т. п. — до 6—7 стр. машинописи. Рукописи, оформленные без учета принятых в журнале требований, к рассмотрению не принимаются; рукописи не рецензируются. В случае отклонения рукописи автору возвращается один экземпляр, другой остается в архиве редакции.



© 1996 г. ВАРБОТ Ж. Ж.

К ЭТИМОЛОГИИ РУС. ДИАЛ. ПЕСТЕРЬ

Слово *пестёрь* или его ближайшие варианты *пéстерь*, *пестёр* и *пéстер*, *пéстера* и *пестёра*, *пестёря* и *пестеря́* широко распространены в севернорусских и среднерусских говорах (и в говорах Сибири); в южнорусских говорах они фиксируются редко. Если исключить явно вторичные, переносные значения, то преобладающим следует признать значение 'короб или корзина из лыка, бересты или прутьев', часто это 'заплечный короб или сумка для ношения на плече' (СРНГ. Вып. 26. С. 309—313). Весьма вероятно, что первичный денотат был больших размеров, так что мог служить мерой сыпучего товара — например, ягод, ср. старорусский текст: Устюжанинъ Степан явил товару... сала трескового 2 п (уда), *пестер* ягод изюму (Там. кн. I, 63, 1633 — древнейшая фиксация слова, [1]). Помимо упомянутых выше, представлены варианты с *х* вместо *с*: *пéхтерь* и *пехтёрь*, *пéхтер*, *пехтёря*; есть также варианты с преобразованным суффиксом: *пéстырь*, *пехтёрь*, *пехтёля* (материал см.: СРНГ. Вып. 26. С. 323, 341—342); наконец, варианты с *щ* вм. *ст*: *пéщер*, *пещёра*, *пéщерь*, *пéщор* и *пещóр*, *пéщур* и *пещурь* (СРНГ. Вып. 27. С. 16—17). Круг значений всех этих вариантов тот же, что охарактеризован выше.

В сферу интересов этимологов это слово ввел А. Преображенский. В его словаре обобщен доступный тогда диалектный материал; отмечена вариантность формы (*щ* объяснено чередованием с *ст*); оговорена возможность заимствования («если это не заимствованное»); высказано предположение о наличии в слове суф. *-тер-*; варианты с *х* объяснены народноэтимологическим восприятием слова как связанного с *пихать*, при первичной мотивации 'предмет, в который напихивают'; в итоге же слово охарактеризовано как неясное [2]. М. Фасмер в своем словаре воспроизвел версию о связи слова с *пихать* уже как мнение Преображенского, добавил отсылку к *пест* и отметил необычность колебаний звуковой формы и словообразования, но не коснулся вопроса о первичной мотивации [3].

Что касается колебаний формы слова, то варианты с *х* перед *т* могут быть (в случае исконности слова) лишь вторичными — результатом народноэтимологического сближения с *пихать*, как и думал Преображенский, а появление *щ* вместо *ст* объяснимо таким же сближением с *пещера*, как обозначением пустоты (вместилища). Конец основы на *-тел-* вместо *-тер-* — следствие аналогического воздействия имен с суф. *-тель-*. Так что первичной должна быть структура основы *пестер-*. Разумеется, нельзя не помнить предостережение Преобра-

Варбот Жанна Жановна — д-р филол. наук, главный научный сотрудник Института русского языка РАН.

женского о возможности заимствования слова, что весьма вероятно при его фиксации только в русских диалектах, но пока убедительных иноязычных источников, кажется, не обнаружено. Если же рассматривать *пестер-* на фоне славянской лексики и учитывать отсутствие в славянском словообразовании суф. *-ter-*, то *пестер-* непосредственно соотносится не с *пихать* (или даже праслав. **pъxati*), а с *пест* (праслав. **pěstь*), что, возможно, и имел в виду Фасмер, отсылая читателя к статье *пест*. Но тогда, очевидно, требуется уточнение первичной мотивации для *пестерь*, поскольку единственная упоминаемая мотивация (по Преображенскому, народноэтимологическая!) — 'предмет, в который впихивают' — вряд ли согласуется с производностью от *пест*. Объективности ради следует указать, что есть производный от *пест* русский диалектный глагол *пестать*, одно из значений которого (в архангельских говорах) — 'всовывать, впихивать во что-либо' (СРНГ. Вып. 26. С. 309). Но для весьма архаичного суф. *-er-* соединение с основой позднего отыменного глагола представляется маловероятным.

Вопрос о первичной мотивации русского диалектизма рассматривался Л. В. Куркиной в связи с обзором лексических сходжений словенского и восточнославянских языков. На основе сопоставления рус. *пестерь* со словен. *pěst*, *-i* 'связанная для крыши солома' и учитывая возможность семантического развития 'пихать, толкать' → 'плести, вить, ткать' → 'нечто сплетенное', автор предполагает такое же развитие и в этимологическом гнезде праслав. **pъxati*, так что для рус. *пестерь* реконструируется первичная мотивация 'плетенка' [4]. Однако, при всей вероятности указанного семантического развития, для праслав. **pъxati* и рус. *пихать* оно все-таки не засвидетельствовано, этот глагол связан с иной терминологической сферой. Правда, производное от *пест* рус. диал. (Киргиз. АССР) *пестуха* зафиксировано в значении 'бердо в шесть пасм' (СРНГ. Вып. 26. С. 323), но это явно вторичное, переносное употребление, основанное на сходстве возвратных движений песта в ступе и берда, прибавляющего нити в ткацком станке. Кроме того, как было отмечено выше, непосредственное отглагольное образование для *пестерь* сомнительно. В то же время и словен. *pěst* не может быть свидетельством реальности семантики плетения для праслав. **pěstь*, так как значение словенской лексемы — 'связанная для крыши солома' — скорее всего, также вторично: оно отражает сходство связанного (для кровли) длинного и тяжелого снопа соломы с пестом. Следовательно, реконструированная мотивация 'плетенка' не соответствует наиболее вероятной словообразовательной связи *пестерь* с *пест*.

Словообразовательная связь слова *пестерь* с *пест* косвенно подтверждается наличием образований, производных от *пест*, но служащих обозначением различных емкостей: это рус. диал. киров. *пестик* 'торба' (СРНГ. Вып. 26. С. 314), забайкал. *пестуха* 'сосуд, сплетенный из бересты' (СРНГ. Вып. 26. С. 322—323). Еще более существенными для подтверждения этой связи представляются лексемы, структурно отождествимые с *пестерь*, но семантически сопоставимые с *пест*. Во-первых, это рус. диал. колым. *пестер* в загадке «Из угла в угол *пестером* скачет», отгадка которой — лапта-мяч (СРНГ. Вып. 26. с. 311). Здесь мяч явно уподоблен по возвратному движению песту, так что *пестер* 'мяч' — производное от *пест*. Во-вторых, это рус. диал. ряз. *пэхтерь* 'пест для толчения в ступе' (СРНГ. Вып. 26. С. 342) и *пэхтель* (пенз., ряз., сарат., кемер., новосиб., амур.), *пýchтель* (пенз.), *пýchтиль* (краснояр.), *пехтэль* (калуж., пенз., тамб., сарат., ср.-обск.), *пихтэль* (ряз., сарат., тамб.), *пихтíль* (ряз.), *пехтél* (пенз.), *пихтел* (ряз.) 'пест для толчения в ступе' (СРНГ. Вып. 26. С. 341), которые могут быть лишь результатом преобразования лексемы с основой *пестер-* (ср. выше *пехтерь* и *пехтеля* как варианты *пестерь*, *пестеря*), производной, судя по значению, от *пест*. Наконец, в кашубском языке есть *píster*, *-tra* 'узкая, тесная, преимущественно мужская одежда, чрезмерно облегающая тело; тонкий, худой человек' [5]. Сопоставление с рус. диал. (район реки Мсты) *пест* 'высокий тонкий парень' (СРНГ. Вып. 26. С. 308) позволяет и кашубскую лексему толковать как обра-

зование, производное от **pěstь*, мотивированное уподоблением худого человека и фигуры в обуженной, тесной одежде песту. Есть, конечно, в кашубской форме некоторые структурные аномалии, но они могут быть вторичными: корневое *i* объясняется влиянием родственного и синонимичного *pizder*, а беглое *e* в суффиксе — аналогией с суф. *-ьr-.

Таким образом, русский диалектный материал свидетельствует о производности основы *пестер-* от *пест*, а структурно близкая кашубская лексема позволяет предполагать праславянскую древность этой основы. Это последнее допущение кажется весьма существенным для определения первичной мотивации рассматриваемой основы. Оно позволяет и даже побуждает исходить при решении этого вопроса не из собственно русского значения слова *пест*, а из семантики его праславянского источника. На праславянском уровне реконструируются парадигматически варианты **pěstь* и **pěsta*. Продолжениями **pěstь* являются рус. *пест*, чеш. *píst* 'пест; поршень; ступица колеса', словац. *piest* 'валек для стирки белья', словен. *pestič* 'пестик'; продолжения **pěsta*: словен. *pěsta* 'отверстие в колоде, ступе для толчения коры; ступица колеса', чеш. *písta* 'ступица колеса', в.-луж. *pěsta* 'пестик; ступица колеса', н.-луж. *pěsta* 'ступа; ступица, втулка колеса', польск. *piasta* 'ступица колеса', кашуб. *piasta* то же. Поскольку праславянскому **pěstь* соответствуют лит. диал. *piestas* 'пест' и латыш. *piests* то же, а праславянскому **pěsta* — лит. *piestà* 'ступа' и латыш. *piesta* то же, то В. Махек считал семантическое противопоставление праслав. **pěstь* 'пест' и **pěsta* 'ступа' еще балтославянским наследием [6]. Очевидно, однако, что двойственность семантики (в сущности, терминологическая) одной основы, даже при распределении значений по парадигматическим вариантам, была неудобна для речи. Поэтому еще в праславянский период началось преобразование этой минисистемы: для обозначения ступы было заимствовано германское слово **stampa*, давшее праслав. **stopa* (см. анализ вопроса в [7]); соответственно **pěsta* стало почти исключительно обозначением колесной ступицы (впрочем, и в эту область семантики за **pěsta* последовало **stopa* — ср. рус. *стпуица*); кроме того, почти во всех славянских языках сохранялось лишь по одному парадигматическому варианту основы **pěst-*. Но память о древнейшей двойственности ее семантики могла удерживаться как в одном варианте (ср. чеш. *píst*, в.-луж. *pěsta*), так и производных. Именно так можно объяснить значение рус. диал. калин. *песту́нья* 'ступа для толчения зерна' (СРНГ. Вып. 26. С. 322), при том, что общерус. *пест* обозначает только пестик. Если учесть, что древняя ступа была деревянной (ср.: «Раньше ступа и песто деревянные были...» — Бурят. АССР. СРНГ. Вып. 26. С. 314), то в плане обнаружения следов семантики 'ступа' в производных от *пест* существенно рус. диал. перм. *пестюжничать* 'заниматься бондарным ремеслом' (СРНГ. Вып. 26. С. 323). На фоне приведенных материалов представляется допустимым предположение, что рус. *пестер-* (или даже праслав. **pěster-*), будучи производным, вероятно, от какого-то одного варианта основы *пест-* (праслав. **pěstь* или **pěsta*, более вероятно даже последнее), в период утраты правосточнославянскими диалектами основы **pěsta* в значении 'ступа' оказалось носителем двойственной семантики — и 'пест', и 'ступа'. О реликтах значения пест в рус. *пестер-* см. выше. А реликтом первичной семантики 'ступа' ('деревянный долбленный сосуд') может быть значение рус. диал. урал. *пещерок* (преобразованный вариант основы *пестер-*) 'долбленный деревянный сосуд для хранения меда'. Другие значения этого диалектизма представляют последующие этапы изменения первичной семантики, характерные для всех вариантов основы *пестер-*: 'плетушка; коробка; дорожная котомка; куль, кулек' (СРНГ. Вып. 27. С. 16).

О реальности объединения семантики 'пест' и 'ступа' в одной лексеме для истории русского языка свидетельствует старое значение слова *ступа* 'стенбитное орудие, таран' (...Сапѣга...сь проломными ступами... к воротамъ пришьель к городу... Акт. Исторические т. II, 1609 г.) [8] и диал. 'тяжелая колотушка, кий, трамбовка, ручная баба для убиванья земли' [9].

Следует особо упомянуть в.-луж. *pěšćer* 'воспитатель, садовник, санитар'. Формально тождественное рус. *пестер*, это слово, однако, является производным от глагола *pěšćić* 'ухаживать, воспитывать' и, следовательно, не может сопоставляться с русским диалектизмом¹.

С о к р а щ е н и я

СРНГ — Словарь русских народных говоров. Л., 1966. Вып. 1.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Словарь русского языка XI—XVII вв./Гл. ред. Г. А. Богатова. М., 1989. Вып. 15. С. 22.
2. Преображенский А. Этимологический словарь русского языка. М., 1910—1914. Т. II. С. 50.
3. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка/Пер. с немецкого и дополнения О. Н. Трубачева. М., 1971. Т. III. С. 250.
4. Куркина Л. В. Словенско-восточнославянские лексические связи//Этимология. 1970. М., 1972. С. 96—97.
5. Sychta B. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. Wrocław etc., 1971. T. IV. S. 280.
6. Machek V. Etymologický slovník jazyka českého. Druhé, opravené a doplněné vydání. Praha, 1968. S. 451.
7. Мартынов В. В. Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры. Минск, 1963. С. 75—76.
8. Картотека Словаря русского языка XI—XVII вв. (Ин-т русского языка РАН).
9. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. М., 1955. Т. IV (воспроизведение издания 1882 г.). С. 349 (*ступать*).
10. Варбот Ж. Ж. Об этимологии праслав. **pěstovati*, **pěstunъ*//Slavia, 1994. ročn. 63. seš. 2.

¹ Впрочем, отдаленное родство все-таки связывает эти лексемы, поскольку праслав. **pěstiti* (> в.-луж. *pěšćić*) является производным от **pěstь*, см. [10].



СЛАВ. *PĽĚSATI

П. Скок, исследуя этимологию слав. *pĽesati, обратил внимание на представленные в сербохорватском языке значения, не совпадающие с основным, общим для всех славянских языков значением 'плясать, танцевать'. В старых лексикографических источниках, отдельных диалектах, в текстах, несущих на себе печать диалектного влияния, гл. plesati в простом виде и в сочетании с префиксами is-, pa-, s- характеризуется еще одним значением 'маять, топтать', которое, как полагает П. Скок, и можно считать древним, определяющим все последующие семантические преобразования. Загребский словарь, опираясь на широкий круг самых разных источников, детально анализирует и фиксирует все отклонения от основного значения, подкрепляя выводы богатым иллюстративным материалом (RJA. D. X. S. 52 S. v. plésati). В структуре словарной статьи основное место отводится анализу значений, которые составителям Загребского словаря представляются странными и необычными. В перечне значений, весьма удаленных от основного 'плясать, танцевать', находим следующие: 'мять, растоптать, pessumdo, calco, protero' (Mikala), 'calpestare, conculcare, calcare con i piedi' (Bella), 'proculcare, conculcare, pedibus proterere' (Stulli), 'ступать, топтать' (u Perastu). Проиллюстрировать эти значения можно некоторыми из приведенных в словаре примеров, наиболее полно реализующих семантические особенности глагола: Kad počeše grozdje plesat i mečiti, iziđoše i provrješe vrutci od vina čudnoviti (Kanavelić 38); Ali Turci sela žare plešu poļa, pļackaju voćnake (Osvetn. 5, 59). Особо отмечается, что «i voda se može plesati, 1. j. gaziti»: Vidjeli smo Božja čuda, gdje val morski ti u miru brez nijednoga plešeš truda (Kanavelić 50). Загребский словарь приводит текст, в котором гл. plésati употреблен вместо brođiti, plavati, т. е. выступает на правах синонима этих глаголов: S ĩim u druđbi plešuć morske sve valove otvoriće jedra bila (G. Palmotić 2, 418). И еще одно необычное значение 'бить, ударять' может быть восстановлено для гл. plesati в следующем примере: ...a dađ ih plesaše kako vijedrom odzgor (Hektorović 72), в словаре этот пример сопровождается замечанием: «возможно, по ошибке вместо pleskaše (т. е. pĽeskaše)». Но об отсутствии здесь ошибки, возможно, говорят факты употребления гл. plesati и pĽeskati в одних и тех же синтаксических условиях, а именно, в сочетании с сущ. ruка в форме тв. п. мн. ч.: plesati rukami и pĽeskati rukami в значении 'ударять, хлопать, рукоплескать': ср. To govoreći u smih se stavlahu i rukami plesahu i velikim grohotom rugahu se ĩimi ((Vrančić).

С гл. *isplesati* достаточно устойчиво связывается значение 'истоптать, утоптать' в словаре Беллы (ср. *Isplesa ga pogami*), в диалекте Дубровника (RJA. D. III. S. 931) и в новом словаре литературного языка, изданном в Белграде со ссылками на диалектные источники (РСА. S. 239).

Значения, характеризующие гл. *splesati*, взаимосвязаны и выстраиваются в цепочку последовательных преобразований в направлении: 'наступить, растоптать' > 'стереть, истолочь' > 'истребить, уничтожить' (ср. *splesati* 'calpestare, соculare, calacre con i piedi', *splesan, poplesan* 'растоптанный' — Bella, Voltiggi) и 'обезобразить, осквернить' (ср. *Ti za uspet se na visinu i prigrlit vječno dobro, splesa stupom hrabrenijeme ljepos, slavu i pleme — iz Dordičeva ben. 57**). В некоторых случаях гл. *splesati* оказывается синонимом гл. *satrti, oboriti, potlačiti, pogrditi* (т. е. 'стереть, истолочь', 'притеснить, подмять', 'осквернить'): ср. *splesa stid i sram; spkesai pogrdi sve vremenite veličine*. Производное значение 'угнетатель, притеснитель' (<'притеснять, подмять') характеризует отглагольное имя *splesalac* в словарях Беллы и Стулли (RJA. D. XVI. S. 31).

Собственно, в том же направлении шла семантическая деривация гл. *poplesati*: 'растоптать, помять, притеснить' (*Mikaļa, Bella*) > 'уничтожить, истребить', 'обезобразить, осквернить', 'отнестись с презрением' (ср. *Nauke sve hvalene... poplesane, pogrdjene prem očitо gledaš sada*) и 'отбросить, отвергнуть' (ср. *Sram poplesati, Boga ostavih*), 'свалить, повалить' (только в примере: *žita u řivah poplesana poplavicom leže jakom* (RJA. D. X. S. 801).

Из предлагаемой Загребским словарем семантической характеристики с.-хорв. *plesati* вытекает один важный вывод, который состоит в том, что значение 'танцевать, плясать', положенное в основу этимологических исследований, едва ли может быть признано изначальным. Это значение, повсеместно представленное на славянской территории, явилось результатом отдельной, самостоятельной семантической деривации, связанной с другими названными выше направлениями семантических преобразований опосредованно, через значение 'топать, топтать', которое, судя по некоторым данным, также является производным. Элементы более древней, изначальной семантики присутствуют в том определении значения, которое дает словарь Беллы, — *redibus proterere* 'топать ногами', а также в сочетании *rukami plesati*, т. е. 'развести руками, повести руками в стороны' > > 'рукоплескать'. Именно в этом последнем значении славянский глагол усвоен рум. а *plasa mînilе* (Skok. D. II. S. 682). Эти факты позволяют думать, что гл. *plesati* служил обозначением вполне конкретного действия, движения в стороны, взмаха руками. В результате переосмысления исходной семантики развивается значение 'плясать, танцевать', что приводит к разрыву семантических связей, чему в немалой степени, видимо, способствовало включение глагола в терминологию ритуальных обрядов. Семантическое обособление произошло достаточно рано, о чем свидетельствует заимствованное у славян гот. *plinsjan* *ōrĥetōdi* в Библии Ульфила [1]; (обзор литературы на эту тему см. [2]). С расширением семантики и восстановлением иерархии значений сербохорватского глагола мы получаем некоторые ориентиры, помогающие с новых позиций подойти к оценке семантически обособленных зап.-слав. образований, еще не привлекавших к себе внимания этимологов. Именно в контексте семантической эволюции глагола как отражение его древних ступеней могут получить объяснение ст.-польск. *plęsać, plęsać* 'хлопать, ударять ладонью о ладонь' (Sł. Stp. S. 148), польск, стар. *plęsać* 'махать, размахивать', 'трепать', 'хлопать, хлопать (крыльями)', 'хлопать, рукоплескать' (Warsz. T. IV. S. 226). Как нам представляется, глубокому переосмыслению подвергся гл. **plęsati* в чешских и словацких диалектах. В словаре Котта гл. *plesiti* отмечен в значении 'закалять, придавать твердость металлу' (Kott. D. II. S. 584). Как известно, закаливание достигается путем нагрева и затем быстрого погружения раскаленного металла в воду, масло и т. п., т. е. важный элемент технологического процесса получает название по действию, передаваемому гл. *plesati* в одном из значений 'двигать, перемещать из стороны в сторону,

производить махообразные движения'. Собственно, тот же образ движения вверх — вниз, из стороны в сторону лежит в основе слвц. *splésati* 'выгребать угли из ящика', *špléšač*, *-ám* 'сортировать, разбирать древесный уголь' (Orlovský. S. 308, 338).

Традиционно к этимологизации слав. **plęsati* подходят без учета семантической истории слова. Глагол оказывается на положении изолированного образования, вне связей в славянском словаре. На индоевропейском уровне ближайшие соответствия находят в балтийских языках: др.-лит. *plėnšti* 'плясать, ликовать, торжествовать', *pląšti* 'шуметь, шелестеть, шуршать', лит. диал. *plęšti* 'шуметь, бушевать' (Trautmann. S. 225; Fraenkel. S. 619; Фасмер. Т. III. С. 291: см. [3]). Но этимологический статус литовских слов остается не совсем ясным, поэтому некоторыми исследователями допускается возможность заимствования из славянских языков (Machek². S. 458; [4]). Представляется неубедительным принадлежащее Левенталю сравнение балто-слав. **plėnšio* 'plaudo, exulto, salto' с алб. *plenk* 'стыд, позор', собств. 'хорошая трепка, взбучка' [5]. Дальнейшие поиски индоевропейских истоков приводят к гнезду и.-е. **plāt-/plēt* 'широкий, плоский'. При некоторых различиях в деталях исследователи сходятся в том, что в балто-славянских образованиях находит отражение и.-е. корень с назальным инфиксом и расширителем *-s-* или *-sk-*. В круг ближайших индоевропейских соответствий включают греч. *πλαταγή* 'трещетка', *πλατών* 'шуметь' [6] и *πλατύς* 'широкий', *πλάταρος*, название дерева, нем. *Fladen* 'блин', лит. *plotyti* 'расширять' (Skok. D. II. S. 682).

Мы оставляем в стороне как некорректные и малообоснованные попытки сближения слав. **plęsati*, лит. *plęšti* с греч. *πλίσσομαι* 'раздвигаю ноги, чтобы идти', отсюда 'имею хорошую поступь' *πλίξας, ἄδος* 'промежность между окорками', *πλίξια πλίξ* 'шаг' (Преображенский. Т. II. С. 83) < и.-е. *(s)pleiǵh- 'расставить ноги' (Pokorny. Bd. I. S. 1000). Столь же неубедительно предложенное Махеком сближение с лит. *pa-s-linksmi* < балто-слав. **pa-ling-sō-ti* > *plęsati* > *plęsati* (по аналогии с *pleskati*) (Machek². S. 458; [7]).

Из краткого обзора основных этимологических версий становится очевидным, что к выявлению этимологии исследователи идут в основном через реконструкцию внешних связей славянского глагола. При этом остаются неиспользованными возможности продвижения вглубь за счет внутриславянских средств. Одним из первых обратился к восстановлению внутренней истории славянского глагола Брюкнер. Его внимание привлекло выражение из Библии *pląsząc rękami* («*klaskając*» *Leopolita*) в значении 'хлопать, рукоплескать', которое, как мы пытались показать выше, является старым и свойственно не только польскому языку. Основываясь на ограниченном материале только польского языка, Брюкнер высказал идею о формальной и семантической близости гл. **plęsati* и **pleskati* (Brückner. S. 417). Попутно заметим, что в словаре Скока в статье на *plesati* содержится отсылка к гл. *pljeskati* (Skok. D. II. S. 682), но сама возможность соотнесения лишь упомянута вскользь и ничем не подкреплена.

С самого начала в литературе самым решительным образом была отвергнута мысль об этимологическом тождестве гл. **plęsati* и **pleskati*, что на первый взгляд при чисто внешнем подходе не лишено оснований, если иметь в виду расхождение в структуре и семантике глаголов. Весь опыт изучения семантической истории слав. **plęsati* и некоторые соображения структурного порядка побуждают нас вернуться к версии Брюкнера, которая нуждается в более глубоком анализе и обосновании с привлечением всех доступных материалов.

Если обратиться к семантике слав. **pleskati*, то нетрудно заметить, что все многообразие значений, свойственных этому глаголу в славянских языках (ср. словен. *pleskati* 'щелкать, ударять', 'плескаться', польск. *pleszcząć* 'обливать, окатывать', болг. диал. *плéшт'ъ* 'расплющить, делать плоским' и т. п. — Фасмер. Т. III. С. 279), объединяет, скрепляет общий семантический признак 'волнение, колебание, движение из стороны в сторону'. Этот глагол с первоначальным

значением действия [8] семантически и формально близок гл. *pļesati. В сербохорватском языке наблюдается употребление этих глаголов в тождественных контекстах: pleskati nogami и plesati nogami (RJA. D. X. S. 52). Совпадение отдельных значений у этих глаголов прослеживается и в словенском языке: сравн. pléskati 'бить, колотить' и plesati в выражении le pridi, dova plesala (= du kriegst deine Prügel) (Pleteršnik. D. II. S. 57). Семантика гл. *pleskati и *pļesati, утративших взаимные связи, формировалась на базе общего исходного значения действия, колебания, волнения, что и объясняет близость и даже совпадение отдельных звеньев семантической деривации глаголов, имеющих статус вполне самостоятельных образований уже в праславянскую эпоху.

С формальной точки зрения соотносимые глаголы имеют различия, которые касаются исхода корневой морфемы и вокализма корня. При оценке этих различий мы исходим из формы *pleskati как изначальной и основной для всех вариантов этого глагола. В славянских диалектах фонетический облик гл. *pleskati очень неустойчив, подвижен, легко поддается изменению. Экспрессивные варианты глагола с изменением sk > x, корневого гласного e > 'a существуют в форме русск. диал. *плэхать, плэхать* 'брызгать, плескаться', 'резкими движениями лить, наливаться водой', 'плескаться, проливаться мимо', *пльскать* 'хлопать, шлепать, ударять', *пляск-треск* 'шум и гам' (СРНГ. С. 27, 134, 176). Форма с вставным назальным элементом — в польск. pļesnać 'упасть, плюхнуться' при pleskać (Warsz. Т. IV. S. 223, 235), словен. диал. oplénskati, naplénskati 'ударить, отхлестать' [9]. Что касается исхода основы, то в славянских языках можно найти немало вариантов основ на -s- и -sk- (ср. слав. *taskati и чеш. tasiti). Вероятно, эту особенность отражают слав. *pleskati и *pļesati, а также соотносительные с этими глаголами имена в польск. plesk и стар. ples 'рана, рубец от удара' (Warsz. Т. IV. S. 231), русск. диал. *плеск, плёск* 'брызги' и *плёсы* мн. 'волны' (?), *дать плёсу кому-л.* 'ударить кого-л.' (СРНГ. С. 114, 119, 113), с.-хорв. pļes и pļesāk м. р., название действия по гл. pļesati (RJA. D. X. S. 96). В условиях фонетической подвижности, вариативности основ стало возможным появление глагола на -s-ati с назальным инфиксом в корне. Возможно, изменению фонетического облика глагола способствовало и то обстоятельство, что еще на очень раннем этапе развития славян этот глагол включается в круг терминов, связанных с ритуальными обрядами, составной частью которых были танцы, пляски. С приобретением новой функции глагол *pļesati формально и семантически обособляется от исходного для него гл. *pleskati и приобретает статус самостоятельного образования, сфера употребления которого первоначально, вероятно, была ограничена сакральной жизнью. Отзвуки языческих обрядов еще несет в своей семантике др.-русс. *плясати* 'плясать, совершать обрядовый языческий танец' (СлРЯ XI—XVII вв. С. 114). Распаду связей способствовало развитие у гл. *pleskati звуковой семантики и постепенное затухание значений, связанных с исходной семантикой, которая в несколько стертom виде присутствует и в ближайших балтийских соответствиях: ср. лит. pleškėti, plėška 'шелкать, хлопать', лтш. plekšēt 'хлопать, болтать, бурлить; толочь мягкую землю или глину' и т. п. (Fraenkel. S. 602; Фасмер. Т. III. С. 279). Остается много неясного и неопределенного в характере отношений этого глагола и упомянутого выше лит. pļėšti, что вполне понятно хотя бы потому, что не выявлена внутренняя история литовского глагола. Для гл. *pleskati, являющегося базовым для рассматриваемого этимологического гнезда, предполагают родство со слав. гл. *polkati, *polskati в рамках гнезда праслав. *pel- 'махать, качать, колебать' [8].

Др.-русс. Пльсковъ

Город, расположенный у слияния рек Великой и Псковы, в древнерусских памятниках засвидетельствован в форме *Пьсковъ* (Ѡ Пь/скова — Новг. гр. 1314), *Пьсковъ* (Зап., Параклитика 1386 г. л. 182 об.), *Пьсковъ* (въ Пьсковѣ — Шест. XIV в. Л. 95), *Плесковъ* (*Плесковѣ* — Лавр. л. 1377. Л. 51, 51 об.), *Пльсковъ*

(под Пльсковъ — I Новг. лет. Л. 146 об.) [10]. На территории, прилегающей к Балтийскому морю, это название передается в форме лтш. Pliskava (в народной поэзии) [11], балто-нем. Pleskau, эст. Pihkva [11]. Как родственные определяются польск. Pszczupa в Верхней Силезии (*Pľščina), стар. Plszczyna, Pliszczyna. Близкое название в ст.-греч. πλιςκοβα, πλιςκα, πλιςκουβα в старой Болгарии к северу от Преслава был город Плесков (Фасмер. Т. III. С. 397; прим. ред. к статье Ю. Трусмана см. [12]; а также [13] и более подробно [14]).

Этимологическому изучению этого названия посвящено немало исследований, позволяющих проследить развитие мысли, направления этимологических поисков и с учетом современных данных оценить степень надежности предлагаемых решений. Долгое время при этимологизации названия исходили из формы *Пльсковъ*, по отношению к ней формы с -л- определялись как вторичные, обязанные народноэтимологическому осмыслению лексических связей.

Можно выделить два основных подхода к объяснению названия *Псков*. Одни определяли это название как собственно славянское образование, родственное слову *рѣсъкъ (ср. *Пески*, р-н С.-Петербурга, *Старопесковский* пер. в Москве, польск. Piaseczno и т. п.) [15]. Другие искали источник этого названия в германских или соседних финно-угорских языках. По одной из версий, русск. *Псков* восходит к ливскому piisk 'смола' (ср. фин. Pihkava < pihka 'смола', эст. Pihkva < pihk 'липкая масса'), в этом случае два достаточно удаленных друг от друга города Псков и Смоленск имеют одну и ту же исходную семантическую базу [12. С. 120—122]. Известны попытки вывести русское название из эст. Pihkva, фин. Pihkova, которое, в свою очередь, связывали с герм. *Fiskařiva 'рыбная река', объясняемого как сложение герм. *fisk 'рыба' и *ahva, aha* 'вода', последнее родственно лат. aqua (ср. еще слав. гидр. Oswa, Ořwica, Ořwieja) [16]. Весь опыт изучения приведенных слов позволяет с достаточной уверенностью говорить о том, что речь может идти только о заимствовании финской и эстонской форм из славянских языков с ассимиляцией sk > hl и адаптацией l' в виде i, а не наоборот.

В процессе исторического осмысления материала исследователи постепенно пришли к признанию древности, первичности формы с -л- *Плесковъ*, *Пльсковъ*. Преображенский одним из первых в своем словаре высказал предположение о том, что эти названия могут быть соотнесены с *плескать*, *плесо*, на это как будто бы указывает положение города в углу в месте слияния рек (Преображенский. Т. II. С. 146). Такое толкование названия самым решительным образом отклонялось в литературе, что не в последнюю очередь определялось выбором исходной формы. В наше время те исследователи, которые принимали идею Преображенского, исходили из звукоподражательной природы гл. *pleskati и предлагали весьма неопределенное толкование русского названия в ряду звукоподражательных образований с начальными pl-, bl- (*plesk-, *plbsk-, *plusk-, *blisk-), передающих журчание воды или понятия, связанные с водной стихией [17] (о звукоподражательных словах с начальным pl- см. [18]).

Как мы пытались показать выше, слав. *pleskati имело исходную семантику конкретного глагольного действия. Само соотнесение русского названия с гл. *pleskati представляется весьма перспективным и плодотворным, эта идея требует развития и обоснования с учетом семантических и морфонологических отношений этого гнезда.

Город получил название по реке *Пскова*. На восточнославянской территории можно найти немало водных названий с основой *pleskь: ср. др.-русск. *плескъ* 'заводь' (СлРЯ XI—XVII вв. С. 88), русск. диал. плеск в названиях частей реки, озера, пруда (вят.), *плѣска*, *плѣска* 'чистое место на озере среди зарослей камыша, осоки и т. п.' (дон.), *плескó* 'участок реки от одного изгиба или переката до другого, плес' (разр. наша.— В. К.), 'яма, омут в реке' (яросл.) (СРНГ. С. 97, 115). Примечательно использование этого апеллатива в качестве названия реки, источника: ср. *Плеска*, гидр. в Новгородской губ., *Плески*, гидр. бассейна Десны

и др., а также словен. Pleščak в качестве названия водного источника (Ф. Безлай неверно связывает со слав. *plexъ, см. [19]). При изучении материала обращает на себя внимание почти полное совпадение семантики *плеск* и *плёс*, *плесо* в русских диалектах, что позволяет с иных позиций подойти к оценке исходной семантики слав. *plesъ. На основе некоторых значений ('широкая, открытая часть реки') традиционно восстанавливают исходное значение 'широкий' и соотносят слав. *plesъ с др.-инд. práthas 'ширина', греч. πλάτος < и и.-е. *pletso (Фасмер. Т. III. С. 280)¹. При более широком охвате семантики появляется возможность иного истолкования семантической деривации слав. *plesъ. Махек обратил внимание на другой признак, определяющий все богатство семантики этого слова, — 'спокойное течение реки, стоячая, непроточная вода, гладкая, ровная поверхность воды' в противоположность быстрым горным рекам с порогами, каменистым дном (Machek². S. 458).

Примечательно, что в русских диалектах словами *плес*, *плесо* обозначается не только водная поверхность, но и береговая полоса, пологий песчаный берег, новый берег реки после изменения ее русла, ровное покосное место и т. п. (СРНГ. С. 116—117, 113), т. е. нечто ровное, плоское. Соотносительная основа *plesk-, связанная с *plesъ отношением вариативности исхода sk : s, отмечена в качестве названия местности с плоским рельефом: ср. русск. диал. *плеско* 'плоский песчаный берег' (новг.: СРНГ. С. 115), с.-хорв. Plesko, село в Боснии в р-не Сараева и Pliskovo, села в Далмации, Pliskopože, топ. на о. Вис (RJA. D. X. S. 53, 96, 64, 65), словен. Plesko pri Trbovljah² и т. п.

Имеются и структурные основания для включения в гнездо слав. *pleskati названия *Пльсковъ* с гласным в степени редукции. В рамках этого гнезда наряду с регулярными морфонологическими отношениями основ *plesk-: *plosk- (русск. *плоский*): *plašъ (русск. *плащ*) прослеживается еще один ряд отношений, связывающий основы *plesk-: *plysk-: *plisk-. Вполне закономерно появление в этом ряду основы с вокализмом, отражающим продление степени редукции. Продолжения этой основы в слав. *pliskati/*plixati (sk > x) [22]: болг. *плискам* 'плескаться, выплескивать', 'вылить (воду)', 'плескаться (о воде)' (Бернштейн), с.-хорв. pliskati 'брызгать, плескаться', 'трепыхаться, барахтаться', plihati 'плавать, разливаться' (RJA. D. X. S. 59, 64), словен. pliskati 'плескаться' (Pleteršnik. D. II. S. 61), русск. диал. *плискать* 'брызгать, плескаться' (смол.), возможно, *плихтаться* 'делать что-л., возиться с чем-л.?' (волог.) (СРНГ. С. 139, 142), а также ст.-слав. *плищевати* 'беспокоиться, волноваться' (Ст.-слав. словарь. С. 449) и т. п.

В истории отдельных славянских языков, а возможно и в более раннюю эпоху произошло сближение продолжений слав. *pliskati с фонетическим вариантом гл. *pl'uskati, что и стало, видимо, причиной объединения и этимологического отождествления этих глаголов (см. Фасмер. Т. III. С. 289; Machek². S. 460—461).

Структура и семантика гл. *pleskati, непосредственно мотивированная значением 'плескаться', не препятствуют признанию самостоятельного статуса этого глагола в славянском словаре. Представляется вполне обоснованным сближение с этим глаголом названия птицы *pliska 'Junx torquilla', 'трясогузка, Motacilla alba' [23]. В пользу именно такого объяснения говорят и мотивированные близкой глагольной семантикой русские названия той же птицы — *трясогузка*, *трясохвостка*, *крутиголовка*, *вертошейка* (Даль². Т. III. С. 126), и функционирование *плеск*, *плес* в значении 'весло', 'задняя часть туловища рыбы; рыбий хвост' (СРНГ. С. 113, 114).

Именно в широком контексте структурных и семантических возможностей всего гнезда слав. *pleskati могут быть восстановлены морфонологические связи интересующих нас слов. Слова, занимающие обособленное положение в словаре, —

¹ О возможном тождестве названия озера Балатон у Плиния — lacus Pelsonis — со слав. *pleso см. [20].

² Примеры из работы [21]: Ф. Безлай неоправданно выводит эти топонимические названия из *plesъкъ и соотносит с лит. plėšti 'рвать, драть'.

название *Псков* и гл. **pliskati* — оказываются включенными в ряды регулярных отношений в рамках этого гнезда.

Сокращения

- Бернштейн — *Bernштейн С. Б.* Болгарско-русский словарь. М., 1966.
Даль² — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. М., 1880—1882 (1955).
Преображенский — *Преображенский А.* Этимологический словарь русского языка. М., 1910—1914. Т. I—II.
РСА — Речник српкохрватског књижевног и народног језика. Београд, 1973. Књ. VIII.
СЛРЯ — Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1989. Вып. 15.
СРНГ — Словарь русских народных говоров. СПб., 1992. Вып. 27.
Ст.-слав. словарь — Старославянский словарь (по рукописям X—XI веков)/Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М., 1994.
Фасмер — Этимологический словарь русского языка/Пер. с немецкого и дополнения О. Н. Трубачева. М., 1964—1973. Т. I—IV.
Brückner — *Brückner A.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1957. Wyd. 2.
Fraenkel — *Fraenkel E.* Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg — Göttingen, 1955—1965.
Kott — *Kott F.* Št. Česko-německý slovník. Praha, 1878—1893. D. I—VII.
Machek² — *Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého. Druhé, opravené a doplněné vydání. Praha, 197.
Orlovský — *Orlovský J.* Gemerský nářečový slovník. Vydavatel'stvo Osveta, 1982.
Pleteršnik — *Pleteršnik M.* Slovensko-nemški slovar, I—II. Ljubljana, 1894—1895.
Pokorny — *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1949—1959. Bd. I—II.
RJA — Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1880—1967. D. I—XIX.
Skok — *Skok P.* Etimologijski rječnik hrvatskog ili srpskog jezika. Zagreb, 1971. D. I—IV.
Sł. stp. — Słownik staropolski. Warszawa, 1970. T. VI.
Trautmann — *Trautmann R.* Baltisch-slavisches Wörterbuch. Göttingen, 1927.
Warsz. — *Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W.* Słownik języka polskiego. Warszawa, 1952. T. I—VIII.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Нидерле Л.* Славянские древности. М., 1956. С. 407. Сноска 3.
2. *Младенов Ст.* Старите германски елементи в славянските езици//Сборник за народни умотворения, наука и книжнина XXV. София, 1909. Т. II. С. 101.
3. *Būga K.* Rinkūniai raštai. Vilnius, 1959. Т. II. P. 301.
4. *Schamalstieg W.* Рец.: *Fraenkel E.* Litauisches etymologisches Wörterbuch. Lfg 6—9. Heidelberg — Göttingen, 1955. Word. V. 16. № 1. 1960. S. 132.
5. *Loewenthal J.* Etymologien//Zeitschrift für slavische Philologie VI. 1930. S. 375.
6. *Zupitza E.* Trnt und trpt//Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen XXXVI. 1900. S. 55.
7. *Machek V.* Quelques mots slavo-germaniques//Slavia 22. Seš. 2. 1953. P. 353—354.
8. *Варбот Ж. Ж.* О семантике и этимологии звукоподражательных глаголов в праславянском языке//Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. М., 1988. С. 74—75.
9. *Kenda J.* Slovarko gradivo s Tolminkoga. Rokopis. Inštitut za slovenski jezik SAZU. 1926. S. 68, 81.
10. Картоотека Словаря древнерусского языка XI—XIV вв. Институт русского языка РАН.
11. *Грисле Р.* О материале латышского языка в «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера//Балтистика. 1969. № 5/2.
12. *Трусман Н.* О происхождении и названии г. Пскова//Живая старина, год четвертый. СПб., 1894. Вып. 1. С. 122. Сноска 5.

13. *Mikkola J. J.* L'avance des slaves vers la Baltique//Revue des Études Slaves. 1921. Vol. I. № 3—4. P. 200.
14. *Никонов В. А.* Краткий топонимический словарь. М., 1960. С. 344.
15. *Попов А. И.* Топонимическое изучение Восточной Европы//Уч. зап. ЛГУ № 105. Серия востоковедческих наук. Л., 1948. Вып. 2. С. 106—107.
16. *Sabler G. V.* Der Ursprung der Namen Pskov, Gdov etc.//Известия Императорской Академии наук. VI серия. Пг., 1914. № 12. С. 817 и др.
17. *Moško E.* O nazwie Pszczewo//Poradnik Językowy 2(316), 1974. S. 61—62.
18. *Meillet A.* Les alternances vocalique en vieux slave//Memoires de la Societe de linguistique de Paris. 1907. T. 14. F. 4. P. 340.
19. *Bezljaj F.* Slovenska vodna imena. Ljubljana, 1961. D. II. S. 97.
20. *Трубачев О. Н.* Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991. С. 128.
21. *Bezljaj F.* Etyma slovenica. Razprave — dissertationes VII/4. Ljubljana, 1970. Slovenska Akademija znanosti in imetnosti. Razred za filološke in literarne vede.
22. *Варбот Ж. Ж.* К реконструкции и этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен. VIII.//Этимология, 1978. М., 1980. С. 29—31.
23. *Shevelov G. A.* Prehistory of Slavic. Heidelberg. 1964. P. 232.



СЛАВЯНСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ

Польск. *oszczarki*

Польское диалектное (у бескидских гуралей) существительное *oszczarki*, *-ów* (засвидетельствована лишь форма мн. ч.) со значением 'лучины для освещения' приводит в своем словаре Ян Карлович [1. Т. III. S. 477]. Авторы Варшавского словаря оставили слово без этимологии [2. Т. III. S. 881]. В дальнейшем слово не привлекало внимания исследователей. Между тем интересно проанализировать его форму. Лучина представляет собой длинную щепку, dranку (=обрезок), и рассматриваемое слово логично включить в гнездо праслав. **(š) čer-/*(s)kor-*, далее к и.-е. **(s)ker-* 'резать'. Корневой вокализм в ступени удлинения **ē* является изолированным: глагола с тождественным вокализмом найти не удастся. Можно, следовательно, считать удлинение возникшим при образовании праслав. имени **obščarьkь* или **obščarьka* (или соответствующего бессуффиксного имени) от глагола **obščeriti*. С точки зрения семантики показательно сохранение материального значения у рассматриваемого слова, в то время как польск. *oszczerzyć* употребительно лишь в сочетании *oszczerzyć zęby* 'оскалить зубы', как и *szczerzyć: szczerzyć zęby* и в переносных знач. [2. Т. III. S. 883, Т. VI. S. 586]. Ср. в этом плане рус. диал. (новг.) *щѐра*, (яросл.) *щирá* (с отражением редукции первого гласного) 'камень, от природы в продольных трещинах; сланец, плитняк, плита, лещадь' [3. Т. IV. С. 656], лещадь определяется как 'плита, колотый на слои и обтесанный камень, плитняк' [3. Т. II. С. 250].

В связи с предыдущим можно рассмотреть и входящее в то же обширное словообразовательно-этимологическое гнездо польское диалектное существительное *szczarupiny* (засвидетельствована лишь форма мн. ч.) 'яичные скорлупки' [2. Т. VI. S. 576]. Собственно этимология его была ясна уже авторам Варшавского словаря, сравнившим данное слово с польск. *szczerupa* и *skorupa* [2. Т. VI. S. 576]. Здесь отметим специально корневой вокализм в ступени удлинения **ē* (глагола с таким вокализмом нет); возможно реконструировать праслав. сущ. **(š)čarupa*. Следовательно, вариантный ряд праслав. **(s)korupa: *(s)karupa: *čerupa*, где третий член считается результатом преобразования первых двух (еще до первой палатализации) по аналогии с инфинитивом **čerti* [4. С. 93],

пополняется формой **(š)čarupa* (ср. базовые **(s)kora: *(s)kara: *čara*). Определенную сложность вызывает начало формы (не результат ли это какого-либо преобразования? Польское *szczyrupa*, например, считается результатом взаимодействия форм *skorupa* и *czerupa* [2. Т. VI. С. 585], что, впрочем, совсем не так очевидно, учитывая рус. диал. *щѐра* 'лещадь, плитняк', см. выше). Все же вполне возможно и наличие базовой формы **(š)čara*.

Таким образом, корпус праслав. отглагольных имен с изолированным корневым вокализмом **ē* пополняется еще двумя формами.

С.-хорв. *vrzmica*

Словарь Южнославянской Академии приводит существительное *vrzmica* в значении 'два тонких прутика, связанных более тонкими концами' [5. D. XXI. S. 586]. Зафиксирована (в Черногории) и форма *vrzmice* 'прутья ивы, на которые нанизывается рыба для сушки' [6. S. 60], со ссылкой на [7. S. 120]. Наконец, *врзмица* значит 'ивовый пруток для нанизывания уклек и других мелких рыб; такой пруток с нанизанными рыбами, согнутый в кольцо' [8. Кнь. III. С. 58]. Значения 'связка, низка, кольцо' легко позволяют отнести рассматриваемые формы к гнезду праслав. **verzti* 'связывать'. Тут же отметим, что в с.-хорв. диалектах (Воеводина) представлены синонимичные образования, входящие в гнездо праслав. **verti* 'связывать; совать, продевать', генетически (на и.-е. уровне) родственного (производящего для) **verzti upòvorka* 'веревка с иглой на конце, на которую нанизываются пойманные рыбы', *pòvorka* 'рыба, нанизанная на веревку' [6. S. 379, 276].

Существует и форма *vrzma* 'нить, на которую что-либо, нанизано' [5. D. XXI. S. 586], *врзма* то же, что *врзмица*, а также 'браслет' [8. Кнь. III. С. 57], ближайшее соответствие представлено болг. *врзмá* 'сеть, в которую сворачивают сено, солому для погрузки на коня' [9. Ч. I. С. 159]. Далее ср. также с.-хорв. *врзмо* 'веревочка, шнурок для нанизывания овощей' [8. Кнь. III. С. 58] и болг. диал. (Родопы) *варзмò* 'лента из шелковых нитей с бахромой на конце, вплетаемая в косы' [10. С. 136]. На основании этих фактов реконструируем праслав. *vьrzma/*vьrzmo*, имевшее, возможно, более широкое распространение (в севернославянских языках данное гнездо, как известно, представлено рудиментарно).

Сюда же относится с.-хорв. глагол *врзмати, врзмати* 'крутиться вокруг чего-либо; крутить, носить, гонять кого-либо; обманывать; нанизывать орехи, каштаны и под.', *врзмати се* 'крутиться вокруг чего-либо, вертеться; скрытно бродить где-либо; увиваться, ухаживать; скитаться, бродяжничать; летать туда-сюда', перен. 'беспреданно возникать (в сознании)', 'тянуться, продолжаться (например, о болезни)' [8. Кнь. III. С. 57—58]. Семантика этого глагола вполне характерна, особенно при учете того обстоятельства, что значение 'крутить, вертеть' восстанавливается еще для и.-е. **uerǵh-* [11. Vd. I. S. 1154]. П. Скок, рассматривая глагол *vrzmati (se)* (о существительных *vrzma, vrzmica* не упоминает), объяснил эту форму как результат скрещения *vrzati* и *degmati* [12. Кпј. III. S. 630]. Учитывая приведенный выше материал (в частности, болг. соответствие) и семантику *врзмати (се)* (кстати, более обширную, чем указывает Скок), можно считать это объяснение неудовлетворительным; *-m-* в глаголе — из имени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Karłowicz J. Słownik gwar polskich. T. I—VI. Kraków, 1900—1911.*
2. *Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W. Słownik języka polskiego. T. I—VIII. Warszawa, 1952—1953 (1904—1927).*

3. *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I—IV. 2 изд. М., 1990—1991 (СПб.— М., 1880—1882).
4. *Варбот Ж. Ж.* Праславянская морфонология, словообразование и этимология. М., 1984.
5. Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. D. I—XXIII. Zagreb, 1880—1976.
6. *Mihajlović V., Vuković G.* Srpskohrvatska leksika ribarstva. Novi Sad, 1977.
7. *Dučić N.* Istorija Crne Gore. Knj. 3. Beograd, 1934.
8. Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. I—XIV. Београд, 1959—1989.
9. *Геровъ Н.* Рѣчникъ на българскый языкъ. Ч. I—V. Пловдив, 1895—1904 (София, 1975—1978).
10. *Стойчев Т.* Родопски речник//Българска диалектология. Кн. 2. София. 1965.
11. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I—II. Bern — München, 1959—1969.
12. *Skok P.* Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Knj. I—IV. Zagreb, 1971—1974.



© 1996 г. ЕФИМОВА В.С.

ЛЕКСИКА СО ЗНАЧЕНИЕМ РЕЧИ
В СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ. I.
СЛОВА С КОРНЯМИ -вѣт-, -вєсѣд-, -каз-

1. В последние годы Р.М.Цейтлин неоднократно высказывала мысль о плодотворности сопоставительного изучения лексических систем славянских языков от первых письменных фиксаций до современности. Методически при этом предлагается опираться на изучение морфемных лексико-семантических групп (далее ЛСГ), составляющих лексические микросистемы [1]. Конкретные исследования лексических микросистем и субсистем (с опорой на изучение морфемных ЛСГ) отдельных славянских языков на различных хронологических срезах должны в будущем сложиться в цельную картину развития и взаимодействия лексических систем славянских языков.

Автором статьи было проведено исследование лексики со значением речи с опорой на изучение корневых ЛСГ в языке старославянских рукописей, т.е. на материале наиболее древних славянских рукописей¹. В данном исследовании лексика, объединенная значением речи, рассматривается как лексическая субсистема со значением речи в старославянском языке², что дает возможность делать наблюдения и выводы системного характера. С другой стороны, изучение старославянской лексемы внутри ЛСГ ведет к более глубокому

Ефимова Валерия Сергеевна – канд. филол. наук, научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

¹ Старославянскими называем 17 древнейших славянских рукописей X-XI вв. – 11 глаголических: евангелия Зографское (Зогр), Мариинское (Мар), Ассеманиево (Ас), Охридское (Охр), Зографский палимпсест (Зогр-пал), Боянский палимпсест (Боян), Синайская псалтырь (Снв), Синайский евхологий (Евх; найденная на Синае 1975 г. и опубликованная в виде фотографий Й.Тарнавандисом часть рукописи – Евх-Tarnanidis), Синайский служебник (Служ), Клоцов сборник (Клоц), Рыльские листки (Рыл), и 6 кириллических: Саввина книга (Сав), Листки Ундольского (Унд), Енинский апостол (Ен), Супрасльская рукопись (Супр), Хиландарские листки (Хил), Зографские листки (Зогр-лл). При указании на частотность лексемы цифра рядом с названием рукописи обозначает количество употреблений в ней рассматриваемой лексемы.

² Язык старославянских рукописей называем далее старославянским, имея в виду, что понятие "старославянский язык" шире, чем понятие "язык старославянских рукописей".

проникновению в ее семантику, по-новому освещается ограниченный круг дошедших до нас контекстных значений, уточняются значения лексемы и их иерархия (что оказывается немаловажным при современном состоянии палеославянской лексикографии).

В лексическую систему со значением речи в старославянском языке входят ЛСГ с корнями **-рек-**, **-глагол-**, **-глас-**, **-слов-**, **-вєсѣд-**, **-вѣд-**, **-вѣст-**, **-вѣт-**, **-каз**³. В большинстве этих корневых ЛСГ, за исключением групп с корнями **-глагол-** и **-глас-**, ведущих происхождение от звукоподражательных корней, наряду с семантикой речи присутствует иная, неречевая семантика. Как правило, истоки такого соположения семантики находим на индоевропейском уровне, что в большей или меньшей степени отражается этимологическими словарями в значениях соответствий. Спектр значений старославянских лексем определяется превалированием в них либо семантики речи, либо иной, неречевой семантики. В настоящей статье остановимся подробнее на этом аспекте изучения ЛСГ с корнями **-вѣт-**, **-вєсѣд-** и **-каз-**.

2. В лексемах ЛСГ с корнем **-вѣт-** наряду с семантикой речи присутствует семантика 'устройства', выражающаяся в значениях 'основания, причины', 'намерения', 'совета', 'союза', 'обязательства', 'завещания', 'утешения', 'успокоения, смягчения', 'соглашения'. Для греческих соответствий, помимо лексем со значением речи, особенно характерны лексемы с корнем **-θη-** (**-θε-**) с наиболее общим значением 'располагать, размещать' [2. Bd. II. S. 897-898], а также с корнями **-ταχ-** (**-τασσ-**), **-ορμ-**, **-νυσσ-**, **-τολ-** (**-τελλ-**), **-πειθ-**, **-βουλ-** и др. Следует отметить, что присутствие семантики 'устройства' в старославянских лексемах ЛСГ с корнем **-вѣт-** плохо согласуется с данными существующих в настоящее время этимологических словарей⁴ (см. [3. Т. I. С. 305-306; 4. S. 614; 5. S. 414; 6. S. 589-590; 7. Т. I. С. 148] и др.).

К собственно лексемам со значением речи в этой ЛСГ относятся глаголы **вѣщати** 'говорить, сообщать, рассказывать' и производные от него **вѣщавати**, **провѣщати**, **извѣщати** и **сѣвѣщати** (последний – в значении 'сказать, сообщить'). Среди глаголов речи в старославянском языке эти глаголы занимают маргинальное положение. Они не встречаются в древнейших евангельских кодексах и характерны, главным образом, для языка Супрасльской рукописи. Невелика и их частотность: **вѣщати** – Супр 19, Ас 1; **вѣщавати** – Супр 1; **провѣщати** – Супр 1, Син 3; **извѣщати** – Супр 21, Клоц 1; **сѣвѣщати** в значении 'сказать, сообщить' – Супр 5 (ср. с основными глаголами речи **рещи** и **глаголати**, имеющими в старославянских рукописях частотность выше 1000). Контексты, как правило, указывают, что для значения глагола **вѣщати** на первый план выдвигается семантика 'издания звуков'. Например: **и рече тако слыша мене . ничсоже не вѣшта прѣжде гласа сего** – Супр 309,9 – **Καὶ λέγει: ὅτι *Ἰησοῦσός μου, οὐδὲν ἀρθέξαστο πρὸ τῆς φωνῆς ταύτης**⁵.

³ Строго говоря, в данную систему должны быть также включены и ЛСГ с корнями **-говор-**, **-мѣв-**, но в старославянских рукописях лексемы с этими корнями имеют значение 'шума', 'крика' и т.п., значение речи в славянских языках развивается у лексем с этими корнями позже.

⁴ За исключением, может быть, указываемой иногда авестийской параллели *vaeθa* 'gerichtliche Feststellung'.

⁵ Параллельный греческий текст приводится по следующим изданиям: Nestle E. *Novum Testamentum graece*. 20. Aufl. Stuttgart, 1950 для NT; Ralfs A. *Septuaginta*. Vol. 2. 5. Aufl. Stuttgart, 1952 для VT, а также по: Frček J. *Euchologium Sinaiticum*. In 2 t. Paris, 1933-1939; Заимов Й., Капалдо М. *Супрасльски или Ретков сборник*. В 2 т. София, 1982-1983; Минчева А. *Старобългарски кирилски откъслци*. София, 1978.

Важность для семантики глагола **вѣщати** компонента значения, обозначающего 'издавание звуков', подтверждается и греческими соответствиями, среди которых имеются не только такие глаголы речи, как λέγειν (εἰπεῖν, εἴρειν) и φάσαι, но также λαλεῖν и φθέγγεσθαι, для которых основной является не столько семантика собственно 'речи', сколько 'издавания звуков' (см. [2. Bd. II. S. 76-77, 1012; 8. Vol. II. P. 1026-1027; 9. С. 1009, 1722]). Этот же аспект значения **вѣщати** оказывается значимым и в словосочетании **χοῦλα вѣщати** (греч. λοιδορεῖν), которое находим в Супрасльской рукописи: **вѣсть же хоулы вѣшташе на антониа и на павъла** – Супр 172,16 – ὁ δὲ δαίμων ἐλοιδορεῖ κατὰ τοῦ Παύλου καὶ Ἀντωνίου. Глагол с суффиксом **-ва-** **вѣщавати** имеет то же значение, что и **вѣщати**, и соответствует греч. глаголу φθέγγεσθαι: **аште ли оубо аноупатъ сждитъ . то ты кто кси прѣдъ нимъ вѣшташаа** – Супр 102,18 – ...σὺ τίς εἰ ἔμπροσθεν αὐτοῦ φθεγγόμενος; Префиксация с помощью префиксов **из-**, **про-**, **съ-** также почти не изменяет семантики глагола (за исключением различия в глагольном виде и, видимо, возможности для **провѣштати** выражать формами настоящего времени значение будущего), что подтверждается и кругом греческих соответствий, почти совпадающим с кругом соответствий **вѣщати**: λέγειν, ἐκλέγειν, ἀπαγγέλλειν, а также λαλεῖν и φθέγγεσθαι (**прѣжде съвѣщати** – в соответствии с проанаφωνεῖν). Например: **симоне симоне имамъ ти нѣчто решти . слышахъ ихъже не извѣшта словесъ . разоумѣхъ твоа доуша мъсли** – Супр 393,7-8 – ...ἤκουσα ὧν οὐκ ἐρθάξω ῥημάτων...; и **прѣвѣты стоа на мѣстѣ томъ... ничсоже глаголаа ни провѣшташаа** – Супр 567,27 (ср. также формы **провѣштати** настоящего времени в значении будущего: **провѣштаетъ ѡзкъ moi словеса твоѣ** – Ps 118,172 Син – φθέξαιτο [φθέγεται] ἡ γλῶσσά μου τὸ λόγιόν σου; **утврѣзж въ прѣтчахъ оуста моѣ . провѣшташа гананѣ испрѣва** – Ps 77,2 Син – ...φθέξομαι προβλήματα ἀπ' ἀρχῆς); **се вамъ съвѣштахъ да не оклевештж нѣщии христоса** – Супр 413,26 – Ταῦτα δέ μοι εἰρηται, ἵνα μὴ κατηγορῶσιν τινες τοῦ Χριστοῦ (в Клоц 5а 30 - **се глж азъ нынѣ...**). Глагол **извѣщати**, как и глагол **вѣщати**, образует словосочетание с сущ. **хоула**: **хоула извѣщати** (ὄνειδισμόν εἰσφέρειν, вариант ὄνειδίζειν), аналогичное словосочетанию **хоула вѣщати**. Ср.: **кто син ксть . иже дрѣзиж прѣдъ всѣми хоула мнѣ толкиж извѣштати** – Супр 360,21 – Τίς εἰ σύ, ὁ τολμήσας ἐπὶ πάντων [ὄνειδισμόν μοι εἰσενέγκαι] ὄνειδίσαι με;

Остальные лексемы ЛСГ с корнем **-вѣт-** обнаруживают прежде всего неречевую семантику, на которую в большей или меньшей степени накладываются значения речи. Беспрефиксные лексемы с корнем **-вѣт-** (существительные **вѣтъ**, **вѣтти**, **вѣтитель**, **вѣще**, **вѣщаник**, наречие **вѣтѣскы**) малочастотны в старославянских рукописях, поэтому их значение не всегда достаточно четко определяется. Сущ. **вѣтъ** встречается два раза в Супрасльской рукописи (415,24 и 397,2). Оба раза это существительное входит в словосочетания **вѣтъ творити** (σύμφωνα ποιεῖν, Супр 415, 24) и **вѣтъ сътворити** (βουλήν ἄγειν, Супр 397,2): **онъ вѣтъ творитъ . а син на слоужьж готоватъ са** – ἐκεῖνος σύμφωνα ποιεῖ, οὗτοι πρὸς ὑπηρεσίαν παρεσκευάζον; **вѣта не сътвористе на ірода** – βουλήν οὐκ ἤγάγετε κατὰ τοῦ Ἡρώδου. Значение рассматриваемых словосочетаний в данных контекстах – 'составлять заговор' (ср. также значение греч. συμφωνεῖν 'составлять заговор' [9. С. 1545]). Таким образом, значение **вѣтъ** в Супрасльской рукописи можно определить как 'заговор', что предполагает несколько

речевых ситуациях и имеет значение 'сказать, сообщить'. Этот глагол встречается из старославянских рукописей только в Супрасльской⁶. "Второй" глагол продолжает семантику существительного **свѣтъъ** и имеет значения 'составлять заговор', 'принять решение', 'советовать(ся)', 'прийти к соглашению, к единому мнению', симметричные соответствующим значениям существительного. Например, 'составлять заговор' в соответствии с греч. βουλευέσθαι, συμβουλεύειν, συμφωνεῖν: **отъ того же дъне свѣшташа да и вж оубни** – И 11,53 **Мар Зогр – ἀπ' ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν; свѣраахъ съа коупьно на мѣа . прѣпаті дшж моиж свѣшташа** – Ps 30,14 **Син – ... τοῦ λαβεῖν τὴν ψυχὴν μου ἐβουλεύσαντο; и свѣшта са с ними на дрѣвѣ распати ѿа** – Супр 402,7 – **καὶ συμβουλεύει αὐτοῖς ξύλω σταυρῶσαι τὸν Ἰησοῦν; пако что са свѣшташа искоуць сътворити . доухомъ господьнемъ** – Супр 363,18 – **"Τί ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ Πνεῦμα Κυρίου;"**; 'принять решение': **родителѣ кмоу свѣшташа са женити і дѣвницеж именемъ анѣна** – Супр 24,28 – греч. не соответствует; 'советовать' в соответствии с греч. συμβουλεύειν: **иже свѣшташакт' . неподобно ксть о оумираештнихъ хвалити са** – Супр 126,13 – ὃς συμβουλεύει μὴ ὄσιον εἶναι ἐπὶ τοῖς ἀποθνήσκουσι καυχᾶσθαι; 'прийти к соглашению, к единому мнению' в соответствии с греч. συμφωνεῖν: **ѣко аште дѣва отъ васъ свѣшташате на земли о вьсѣкон вешти...** – Мт 18,19 **Мар – ὅτι ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν [συμφωνήσουσιν] ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντός πράγματος...; не свѣшташак са къ соуктнѣн твоки вѣрѣ** – Супр 510,11. Таким образом, речевая семантика у "второго" глагола **свѣщати (са)** не является основной и проявляется лишь в одном из производных значений этого глагола (в значении 'советовать').

Производный от **свѣщати** глагол **свѣщавати** продолжает семантику, связанную с существительным **свѣтъъ** и имеет в старославянских рукописях как значение 'составлять заговор' в соответствии с греч. ἐπιβουλεύειν, σύμφωνα ποιεῖν, так и 'советовать' в соответствии с συμβουλεύειν, 'советоваться' в соответствии с βουλευέσθαι. Речевая семантика 'совета' продолжается в глаголе **свѣтовати** и существительном **свѣтъникъ**. Глагол **свѣтовати**, встречающийся только в Супрасльской ~ рукописи, семантически связан с существительным **свѣтъъ** только в значении 'совет' и имеет значения 'советовать', 'советоваться'. Существительное **свѣтъникъ** также связано семантически с существительным **свѣтъъ** в значении 'совет' и, кроме того, в значении 'совет, собрание' и имеет значения 'советчик' и 'член совета'. Таким образом, сущ. **свѣтъъ** со своими производными составляет свою собственную лексическую микрогруппу.

Образования с префиксами **за-**, **об-**, **отъ-**, **оу-** с производными также составляют свои собственные лексические микрогруппы. Значения речи у этих лексем появляются как второстепенные, в результате употребления их в речевых ситуациях. В лексемах с префиксом **за-** **завѣтъъ** (Евангелия, Син 19, Ен 4, Евх 3, Супр 3), **завѣщати** (Зогр 1, Мар 1, Син 4), **завѣщавати** (Зогр 1, Мар 1, Син 1) присутствует семантика 'повеления, наказа', однако основной является семантика 'завета', связанная с семантикой 'устроения'. Большинство

⁶ Видимо, отсутствие фиксации соотносительного по виду с **свѣщати** 'сообщить, сказать' бес-суффиксального глагола **вѣщати** в большинстве старославянских рукописей не было таким случайным, как это представлялось А. Досталю [15. S. 325].

греческих соответствий – с корнем –θε– (–θη–). Значение лексемы **завѣтъ** в ряде случаев в старославянских рукописях очень близко значению старославянского **законъ** (‘установление, обычай’, ‘постановление’, а также ‘закон природы’). Ср. употребление лексем **завѣтъ** и **законъ** в одном контексте в соответствии с греч. διαθήκη: **дръжава ꙗко боащииимъ сѧ его . ꙗко завѣтъ его авитъ имъ** – Евх 75а 14 Ps 24,14 – Κραταίωμα Κύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν... καὶ ἡ διαθήκη αὐτοῦ τοῦ δηλῶσαι αὐτοῖς, в Син 296 12: ...и законъ его авитъ имъ. Лексема **завѣтъ**, как и лексема **законъ**, может употребляться при обозначении Ветхого и Нового Завета. Ср.: **нъ и отьць ветъхоу (вм. по ветъхоу) завѣтоу не вѣдѣ** – Супр 305,10 – ‘Ἄλλ’ οὕτε ὁ Πατήρ κατὰ τὴν παλαιὰν Διαθήκην ἠγνόησεν – и **ѡкоже въ законѣ писано кетъ . из оустъ младеништъ и съсѡштинихъ съвршилъ кси пѣснь** – Супр 325,2 – ὡς ἐν τῷ νόμῳ γέγραπται... В текстах Псалтыри (и в чтении Л 1,72) лексема **завѣтъ** чаще всего имеет значение ‘уговор, договор’. Как правило, имеется в виду ‘договор между Богом и людьми’, но **завѣтъ** может обозначать и ‘договор, союз между народами’, например, в словосочетании **завѣтъ завѣщати: ꙗко съвѣшташа ѡномъшленіемъ къ себѣ . на тѧ завѣтъ зѣшташа** (вм. **завѣшташа**) – Ps 82,6 Син – ...κατὰ σοῦ διαθήκην διέθετο.

Наиболее ясно семантика ‘устроения’ в глаголе **завѣщати** представлена в тексте Ps 83,6 в Синайской псалтыри: **блаженъ мѡжъ емоуж-е-стъ застѡплени-е-моу отъ тебе . въхожденіе въ сръдце свое завѣшта** – μακάριος ἀνὴρ, οὗ ἐστὶν ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ, κύριε: ἀνάβασεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο – буквально ‘ступени восхождения в сердце его устроены’. Представляется, что включение в Пражский словарь старославянского языка этого текста в качестве иллюстрации значения словосочетания **завѣщати завѣтъ** ‘заключить договор, обязать, обещать’ (в разделе словарной статьи “sine завѣтъ”) не совсем точно [10. D. I. S. 633]. В тексте Ps 104,9 глагол **завѣщати** приобретает семантику уже собственно ‘завещания’, близкую к семантике глагола **заповѣдати: помынь въ вѣкъ завѣтъ своі . слово еже заповѣдѣ въ тѧсѡци рода . еже завѣща авраамоу . ꙗко клятвѡ своѡхъ исаакоу** – Ps 104,9 Син – ἐμνήσθη εἰς τὸν αἰῶνα διαθήκης αὐτοῦ, λόγου, οὗ ἐνετέλατο εἰς χιλιάς γενεάς, ὃν διέθετο τῷ Ἀβραάμ... В Пражском словаре этот текст также иллюстрирует значение ‘заключить договор, обязать, обещать’ словосочетания **завѣщати завѣтъ** (в разделе словарной статьи “sine завѣтъ” [10. D. I. S. 633]), что также представляется не совсем точным.

В лексемах с префиксом **об-** речевая семантика сочетается с семантикой ‘обязательства, обещания’. В значении существительных **обѣтъ**, **обѣтованик**, **обѣщаник** ощущается и семантика ‘устроения’. Сущ. **обѣтъ** употреблено семь раз в Синайской псалтыри и три раза в Супрасльской рукописи. Во всех случаях употребления в Синайской псалтыри **обѣтъ** имеет в соответствии с греч. εὐχή значение ‘обетная молитва’, производное от значения ‘обет’. Семантика ‘устроения’ присутствует в значении сущ. **обѣтъ** в тексте Супр 32,23, где оно употреблено в словосочетании **сътворити обѣтъ** (греч. ποιεῖν τὴν σύνταξιν): **глагола имъ стъин . покористе ли сѧ оубо по оуставоу вашему сътворите обѣтъ вашъ** – “Ἐλείσθητε, οὐκοῦν κατὰ τὴν πρότασιν ὑμῶν ποιήσατε καὶ τὴν σύνταξιν”. Здесь сущ. **обѣтъ** обозначает реалию религиозной сферы и близко по значению к старославянскому **чинъ** в значении ‘обряд’. Ср.: **чинъ бываѡ аще ключит сѧ скврънъноу ли нечистоу въпасти въ вино...** – Евх 19а 22 –

Τάξις γινομένη εἰ συμβῆ μιάρων ἢ ἀκάθαρτόν τι προσφάτως ἐμπεσεῖν εἰς ἀγγεῖον οἴνου... Пример употребления суш. **обѣтъ** в таком значении, возможно, указывает на исходную семантику 'устройства' для этой лексемы, а не речевую, как обычно принято считать (ср. у Фасмера в словарной статье на *обет*: "Из *ob- и *vѣтъ 'изречение'" [З. Т. III. С. 99]). В других случаях в Супрасльской рукописи суш. **обѣтъ** употребляется в соответствии с греч. ὑπόσχεσις в значении 'обязательство, обещание, обет'.

Основной семантикой для глагола **обѣцати (са)** (Зогр, Мар, Син, Евх, Клоц, Супр) и соотносительного с ним по виду глагола **обѣщавати (са)** (Евх, Клоц, Супр, Рыл) является семантика 'обязательства, обещания, обета'. При этом широкий контекст не всегда указывает на наличие речевой ситуации, хотя среди греческих соответствий имеются глаголы со значением речи: ἐπαγγέλλεσθαι, καταπαγγέλλεσθαι, ἀπαγγέλλεσθαι, καθομολογεῖν. Например: и **недѣжъ ннѣхъ цѣнати . обѣщавъшии са . сами послѣднимъ недѣгомъ безоумнимъ волѣша** – Супр 333,16-17 – καὶ τὸ νοσοῦν τῆς ψυχῆς ἄλλοις θεραπεύειν ἐπηγγελμένοι αὐτοὶ τὴν ἐσχάτην ἐνόησαν ἄγνοιαν. Иногда контекст указывает на включенность этих глаголов в речевую ситуацию. Например: **зане ть обѣшта намъ глагола** – Супр 259,13 – διότι αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν λέγων; **старыц же сава обѣшта са богоу словесемъ . никомоуже съпроста того повѣдати** – Супр 288,4 – ὁ δὲ γέρον ὑπέσχετο διὰ τοῦ λόγου τοῦ θεοῦ μηδενὶ τὸ σύνολον τοῦτο ἀπαγγεῖλαι.

Лексемы с префиксом **отъ-** **отъвѣтъ**, **отъвѣцати**, **отъвѣщавати** высокочастотны в старославянских рукописях. Суш. **отъвѣтъ** (Зогр, Мар, Ас, Сав, Боян, Ен, Евх, Клоц, Супр, Рыл) в соответствии с греч. ἀπόφασις имеет значения, не связанные с речевой семантикой: 'постановление', '(судебное) решение'. Например: и **възъмъше камъ велии привѣзаша кмоу къ ногама . въврѣшти и тако въ рѣкѣ . по отъвѣтоу вокводиноу** – Супр 154,4 – ...ῥῆσαι αὐτὸν εἰς τὸν ποταμὸν κατὰ τὴν ἀπόφασιν τοῦ ἡγεμόνος. Часто **отъвѣтъ** в этом значении входит в состав словосочетаний **отъвѣтъ дати**, **отъвѣтъ сътворити**, **отъвѣтъ прияти**, **отъвѣтъ възати**. Не связаны с речевой семантикой значения **отъвѣтъ 'отчет'** в соответствии с λόγος в чтении Л 16,2 и 'объяснение' в соответствии с ἀπολογία в текстах Супр 107,21 и Рыл 2аа 20. Среди значений глагола **отъвѣцати (са)** (Зогр, Мар, Ас, Сав, Охр, Унд, Боян, Зогр-пал, Син, Евх, Супр) также имеются значения, не связанные с речевой семантикой: 'вынести (судебный) приговор' в соответствии с греч. ἀποφαίνεσθαι, χρηματίζειν, 'расстаться, освободиться от чего-либо, проститься' в соответствии с ἀποτάσσεσθαι. Например: **възпнша глаголюште . самодръжьче цѣсарю... неправеднѣ сѣдиши . неправеднѣ мѣчиши . не хощета пожръти отъвѣштани о нею** – Супр 14,1-2 – "...οὐ βούλονται θύειν, ἀπόρηνον κατ' αὐτῶν"; и **въ емоу отъвѣштано дхомъ стъымъ** – Л 2,26 Зогр, Мар, Ас, Сав – καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου; **древле же повел ми ѿврѣштати ми са же сѣтъ въ домоу моемъ** – Л 9,61 Ас, Сав – πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μου; в Зогр - **отъврѣшти ми са**, в Мар - **отърешти ми са**. Однако обычным для старославянских рукописей является употребление глагола **отъвѣцати** в речевых ситуациях, где он имеет значение 'ответить/ отвечать', а также связанные с ним значения 'возразить/ возражать', 'защититься/ защищаться (в защитительной речи)', 'признаться'. В речевых

ситуациях встречается также и сущ. **отвѣтъ**, которое в таких случаях имеет значение 'ответ' в соответствии с греч. ἀπόκρισις.

В лексемах с префиксом **оу-** **оувѣтъ** (Евх 1, Супр 1) и **оувѣцати (са)** (Зогр 1, Мар 1, Сав 1, Евх 1, Супр 16) речевая семантика также является второстепенной и появляется как результат включенности этих лексем в речевые ситуации. Значение сущ. **оувѣтъ** - 'утешение'. Исходя из контекстов нельзя определить, было ли утешение 'словесным', хотя греч. соответствия *παραμυθία*, *παρακλήσις* имеют корни *-μυθ-* и *-καλ-* (*-κλή-*), связанные с семантикой речи: и **хоштѣтъ вогъ да кси въ плъти на оувѣтъ** . и **оутврѣжденнѣ крѣпаштинимъ са вѣрѣ ради** – Супр 295,24 – καὶ βούλεται σε ὁ θεὸς εἶναι ἐν τῇ σαρκὶ εἰς παραμυθίαν καὶ στηριγμὸν τῶν ὑπὲρ τῆς πίστεως ἀνδριζομένων; **Ѳ же нашъ . оутѣшение скръвѣцинимъ і плачѣцинимъ са оувѣтъ** – Евх 576 1 – Κύριε, Κύριε, ἡ τῶν θλιβομένων παραμυθία καὶ τῶν πενθοῦντων παρακλήσις. Глагол **оувѣцати (са)** 'уговорить', 'дать себя уговорить', 'договориться' большей частью употребляется в таких текстах, когда широкий контекст подразумевает речевую ситуацию. Например: **архаггелъ же разоумѣвъ конона оувѣцтавъша са . и въсѣмъ оумомъ приимъшь слово . и просашга крѣштениа . веде кго къ водѣ** – Супр 25,9 – Ὁ δὲ ἀρχάγγελος γνοὺς τὸν Κώνωνα καταλυγένητα καὶ προθύμως δεξάμενος τὸν λόγον... При этом в греческих соответствиях на первом плане – семантика 'убеждения', 'успокоения, смягчения', 'соглашения': *πείθειν*, *πείθεσθαι*, *κατανύσσεσθαι*, *εὐνοεῖν*. Характерно, что в славянском переводе также может быть подчеркнута эта семантика употреблением глагола **оутолити**. Ср., например, употребление **оувѣцати** в Саввиной книге и **оутолити** в Зографском, Ассеманиевом и Маринском евангелиях в том же самом чтении: и **аще се оуслышано вждетъ оу гемона . мы оувѣцаемъ і . и въ бес печали створимъ** – Мт 28,14 Сав – καὶ ἐν ἀκουσθῆ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡμερόνος, ἡμεῖς πείσομεν αὐτόν..., в Зогр, Ас и Мар: і **аште се оуслышано вждетъ . оу ігемона . мы оутолимъ і...**

Таким образом, анализ контекстных значений лексем с корнем **-вѣт-** в древнейших славянских рукописях приводит к выводу, что основные значения большинства старославянских лексем с этим корнем базируются на неречевой семантике. Даже когда употребление этих лексем со значением речи становится наиболее частотным (например, у лексем **отвѣцати**, **отвѣтъ**), в старославянских рукописях еще можно найти фиксацию таких контекстов, где они не имеют значения речи. Глагол **вѣцати** и производные от него глаголы не занимают центрального положения среди глаголов речи в старославянском языке.

3. ЛСГ с корнем **-вѣд-** представлена в старославянских рукописях всего четырьмя лексемами: довольно высокочастотным существительным **вѣда** (Мар 4, Зогр 4, Ас 2, Сав 1, Син 1, Евх 1, Клоц 4, Супр 17) и производным от него глаголом **вѣдовати** (Мар 3, Зогр, Ас, Сав 1, Евх 2, Ен 1, Супр 35), а также двумя гапаксами (оба в Супрасльской рукописи) – отглагольным существительным **вѣдованнѣ** и префиксальным глаголом **повѣдовати**. Лексемы с корнем **-вѣд-** в большинстве случаев употребляются в старославянских рукописях в речевых ситуациях; неречевая и, видимо, более древняя семантика оказывается вытесненной на периферию (ср. в [16. Вып. 1. С. 211], где в качестве несомненного древнего семантического признака для псл. **besěda* указывается 'сидеть'). В старославянских лексемах **вѣда** и **вѣдовати** неречевая семантика проявляется как семантика '(случайной)

встречи, общения', в греческих оригиналах в таких случаях находим соответствия с корнем -τυχ- (εὐτυχία, συντυγχάνειν, παρατυγχάνειν) с соответствующей семантикой [2. Bd. II. S. 940-941].

В древнейших евангельских кодексах сущ. **весе́да** употребляется в двух значениях, симметричных соответствующим значениям греческого λαλιά: 1) 'звучащей речи, речей, высказывания' и 2) 'языка, наречия'. В значении 'звучащей речи, высказывания' сущ. **весе́да** синонимично гораздо более употребительному в Евангелиях существительному глаголь. Ср.: **по чьто весе́ды моєа не разоумѣете** – И 8,43 Зоґр Мар Ас – διὰ τί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε; и **и помѣнж петръ глѣ ѡвѣ . и рече емоу . ѣко прѣжде даже коґръ не възгласитъ...** – Мт 26,75 Зоґр Мар Ас Сав (2) – καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος Ἰησοῦ εἰρηκότος ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι... Возможно, при переводе на выбор славянской лексемы влиял греческий оригинал: глаголь употребляется в соответствии с ῥήμα, τὰ ῥήματα, **весе́да** – в соответствии с λαλιά. Ср. также употребление сущ. **весе́да** в значении 'язык, наречие': **въ истинж отъ нихъ еси . ѡво галилеанинъ еси . и весе́да твоѣ подобитъ ти сѧ** – Мк 14,70 Зоґр Мар – ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ: καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ, καὶ ἡ λαλιά σου ὁμοιάζει. В старославянских евангельских текстах сущ. **весе́да** не встречается в ситуациях, связанных с беседой, диалогом. В Синайской псалтыри, где сущ. **весе́да** употреблено единственный раз, оно также имеет значение монологической речи, с контекстно обусловленным оттенком значения 'восхваления': **да насладитъ сѧ емоу весе́да моѣ** – Ps 103,34 – ἡδυνθεῖν αὐτῷ ἡ διαλογία μου.

В Супрасльской рукописи спектр значений у сущ. **весе́да** представлен значительно шире. В ряде случаев значение сущ. **весе́да** – 'звучащая речь, речи' (однако не в соответствии с греч. λαλιά, как в Евангелиях, но в соответствии с греч. λόγος). Часто это значение получает оттенок 'поучения, проповеди' (в соответствии с греч. ῥήματα, ῥήσις, ὁμιλία, а также μορολογία – **жродивыа весе́ды**). Например: **и азъци вѣтни . и слова хъґтрыць . и весе́ды оґчитель . извѣштати не мож зълобы ка** – Супр 400,1-2 – ...καὶ ῥήσεις διδασκάλων ἐξεπεῖν οὐκ ἰσχύουσι τὴν κακίαν αὐτοῦ. Значение 'диалога, беседы', несомненно, присутствует в следующем тексте: **рыцѣта ми каа сжтъ слова си . гаже прѣрѣкката къ себѣ . повѣдита и мьнѣ весе́дж ѡже глаголетѧ . вѣдж и азъ обьштьникъ вашимъ словесемъ . им' же прѣрѣкката** – Супр 474,28. Ср. евангельский текст: **рече же къ нима . чьто сжтъ слова си . о нихъже сътазаета сѧ къ себѣ ѡджита . и еста драґсела** – Л 24,17 Зоґр. В тексте Супр 288,19, помимо значения 'диалог, беседа', в сущ. **весе́да** можно усмотреть и семантику 'встречи, общения', на что, кажется, указывает и греческое соответствие ἔντευξις, предполагающее семантику 'встречи, общения' [8. Vol. I. P. 576; 9. С. 551]. Ср.: **иже патриархъ весе́довавъ съ нимъ . и възлюбивъ коґ доґховьнъи . разоумъ же и оґстрои и сладкжж весе́дж . въ чьсти имѣаше въса лѣта патриаршѣсва свогго** – Супр 288,19 – ...συνέσεώς τε καὶ καταστάσεως καὶ γλυκείας ἐντεύξεως ἐν τιμῇ εἶχειν.... Возможно, семантика 'встречи, общения' присутствует и в тексте Супр 476,11; значение 'слово, речь, разговор', указанное для данного примера в Пражском словаре старославянского языка [10. D. I. С. 87], не представляется бесспорным. Ср.: **кднѣмъ словомъ отъгонѧ страсти . кднѡж весе́дож прогонѧ неджгы** – Супр 476,11-12. Семантика 'встречи, общения' в чистом виде, т.е. в значении, не связанном с речью, наблюдается у сущ. **весе́да** в Клоцовом сборнике, где оно употреблено адвербиально в

соответствии с греч. διὰ μιᾶς εὐτυχίας: ты же на кръстѣ простеръ рѣцѣ въ вѣрѣма . погыбѣшии обрѣте раі . і родітелевъ жрѣбі погыбѣшигъ . бесѣдоуж приоврѣте . ѣко прѣвѣке ѡсрѣствіе ісповѣдѣвъ . ѡ разбоініче... – Клоц 11b 19 – *Ω ληστὰ τὸν προγονικὸν κλῆρον ἀπολόμενον [ἀπολλύμενον] διὰ μιᾶς εὐτυχίας ἀνακτησάμενε!, т.е. 'по счастливой случайности, благодаря случайной встрече'. Следует отметить, что наличие неречевой семантики в старославянских рукописях у сущ. **бесѣда** осталось неотраженным в словарях (см. [14. S. 8; 10. D. I. C. 87]; так же и в только что изданном Старославянском словаре [11. С. 83]).

В производном от **бесѣда** глаголе **бесѣдовати** семантика ('случайной') встречи, общения' проявляется сильнее и присутствует в древнейших евангельских кодексах. Например, в соответствии с греч. συντυγχάνειν – 'встречаться, случаться': **прндж же къ немуѡ . мати і братръѣ его . і не можаахъ . бесѣдовати къ немуѡ . народомъ** – Л 8,19 Зоґр, Маґ, Ас, Сав – ...καὶ οὐκ ἤδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον; так же в Апостоле в соответствии с греч. παρατυγχάνειν: ...[χ]ъ съ нюден . нечѣс... на трѣзахъ по вса дні . съ бесѣдоужцими съ нимъ – Деян 17,17 Ен 39б 18 – διελέγετο μὲν οὖν ἐν τῇ συναγωγῇ τοῖς Ἰουδαίοις καὶ τοῖς σεβομένοις καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν πρὸς τοὺς παρατυγχάνοντας [-υχοντας]. В этом же значении **бесѣдовати** встречается и в Супрасльской рукописи в соответствии с συντυγχάνειν, ὁμιλεῖν. Например: **не излаза из мѣста . не бесѣдоуж ни къ комуѡже . не глагола . ни къ кдномуѡ...** – Супр 528,25 – ...ὄ συνέτυχέν τινι, οὐκ ἐλάλησεν πρὸς τινα... С древнейших евангельских кодексов встречается у **бесѣдовати** значение 'вести диалог, беседу' в соответствии с греч. ὁμιλεῖν. Ср.: **і вѣстѣ бесѣдоужшт҃ема іма . і сѣтазашшт҃ема са . і самъ іс приближи са** – Л 24,15 Зоґр, Маґ, Ас – καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν... Вместе с тем в Супрасльской рукописи имеется достаточно много примеров, где значение **бесѣдовати** подразумевает, несомненно, монологическую речь. Греческие соответствия в таких случаях – φθέγγεσθαι, λαλεῖν. Например: **егда бо то кто бесѣдоужкъ . то того азъкъ прикъмкъ** – Супр 382,6 – *Ὅταν γὰρ τὰ ἐκείνου φθέγηται τις, τὴν ἐκείνου γλῶτταν λαμβάνει; с оттенком 'манера говорить, стиль речи': **такоже бо кгда роуминъ сы лоґчитъ са сѣди . не послоушакъ отъвѣштававштаго нже не оумѣкъ тако бесѣдовати . такоже і х̄с** – Супр 382,21 – ...οὐκ ἀκούσεται ἀπολογουμένου τοῦ οὐκ εἰδότης οὕτω φθέγγεσθαι, οὕτω καὶ ὁ Χριστός.

4. В лексемах ЛСГ с корнем **-каз-** значения речи наблюдаются на фоне более древней семантики 'указывать, показывать'. Совсем не встречаются в контекстах, связанных с речевыми ситуациями, образования с префиксами **по-** и **оу-**: глаголы **показати, показовати, прѣдпоказати, оуказати**, существительные **показаник, оуказаник, оуказъ**. Эти лексемы чаще всего соответствуют греческим лексемам с корнем **-δεικ-** с основной семантикой 'указывания, показывания' (см. [8. Vol. I. S. 373; 9. С. 346; 17. Р. 347]).

В наибольшей степени с речевыми ситуациями связано употребление лексем с префиксом **съ-**. Самый частотный среди лексем с корнем **-каз-** глагол **съказати**, встречающийся почти во всех старославянских рукописях, в подавляющем большинстве случаев имеет значения 'говoreния' с различными

⁷ Ср. для псл. *kazati: "исходной является семантика 'показывать, делать знак'" [16. Вып. 9. С. 169].

оттенками 'сообщения', 'рассказывания', 'истолкования, объяснения', 'разъяснения', 'возвещения', 'наставления', 'приказания'. Например, с оттенком 'рассказывания': **и пришедъше съказаша гноу своемуу въсѣ бывъшаа** – Мт 18,31
 Мар Ас Сав - καὶ ἔλθόντες διεσάρησαν τῷ κυρίῳ ἐαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα.
 Гапаксы Супрасльської рукописи – глагол с суффиксом -ова- **съказовати**, адъективированные причастия **несъказакмъ**, **несъкажемъ**, отглагольное существительное со значением лица **съказатель** – также связаны со значением речи. Вместе с тем в старославянских рукописях фиксируется ряд случаев, когда глагол **съказати** обнаруживает исходную для лексем с корнем -каз- семантику 'указания' и может иметь значение 'указать', а также близкое ему значение 'открыть, сделать явным'. В таких случаях глагол **съказати** соответствует греч. γυνώριζειν, σημαίνειν, δεικνύναι, ὑποδεικνύναι, μνῆναι, δηλοῦν, αἰνίττεσθαι. При этом не всегда контекст однозначно указывает на наличие речевой ситуации. Например: **съказалъ ми еси пжтѣ животътнъѣ** – Пс 15,11 Син – ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς. Отглагольное сущ. **съказаник** (Супр 11, Син 1) в большинстве случаев также связано со значением речи ('повествование', 'объяснение'), однако и оно иногда обнаруживает семантику 'указания'. Ср., например, **съказаник в значении 'указание, свидетельство': се съказаник кротости тврѣдааго іуцифа** – Супр 367,5 – ταῦτα εἶρηται πρὸς ἀπόδειξιν τῆς πραότητος... Ἰωσήφ.

С другой стороны, хотя в целом для беспрефиксных лексем с корнем -каз- характерна семантика 'указывания, показывания', в определенных контекстах и у глагола **казати**, и у существительного **казаник**, и даже (хотя и редко) у глагола **наказати** и существительного **наказаник** обнаруживается значение речи. Интересен в этом смысле спектр значений глагола **казати**. Наличие значений, связанных с употреблением его в старославянских рукописях в речевых ситуациях, не нашло достаточно четкого отражения в словарях [10. D. II. S. 3; 11. С. 280], однако использование **казати** именно в данных контекстах отражает необходимые звенья в развитии семантики этого глагола от праславянского 'указывать' до старославянского 'воспитывать', 'наказывать'.

Наиболее близкое к праславянской семантике значение 'указывать' глагол **казати** имеет в контекстах, не связанных с речевой ситуацией, в соответствии с греч. δεικνύναι или ἐπιδεικνύναι. Например, 'указывать, давать знать': **или пакы кажетъ тако въ пошги вѣстаник вѣдетъ** – Супр 372,16 – ἢ πάλιν δείκνυσιν, ὅτι... Близко к значению 'указывать' значение 'показывать, выказывать'. Ср.: **такоже (и въ) съдравин троудоло(в)твѣьныи по(с)тѣшени(м)ѣ гнѣ дѣлес(ъ) показовати . (и) в(ъ в)о(лѣ)зни все трыпѣни и мълчание съ радостниж казати** – Зогр-лл 1а 9 – ὡστε καὶ ἐν ὑγεῖα τὸν κόπον τῆς ἀγάπης διὰ τῆς σπουδῆς τῶν τοῦ Κυρίου ἔργων ἐνδείκνυσθαι, καὶ... μακροθυμίαν μετὰ χαρᾶς ἐπιδείκνυσθαι. В сочетании с наречием **прѣжде** глагол **казати** имеет значение 'предвещать, быть прообразом', близкое к праславянской семантике 'делать знак' (в переносном смысле): **паче же не се тѣчнѣж имѣахъ . кже ветъхъѣ имъ въспоминааше благодѣаниа . нъ и ино большек . кже градъшгта имъ прѣжде казааше . не въ нъ образъ онъ вѣаше агньць** – Супр 417,23 – ... ἀλλὰ καὶ ἕτερον μεῖζον, ὅτι τὰ μέλλοντα προδιετύπου. Καὶ γὰρ τύπος ἦν ἐκεῖνος ὁ ὀψιός... Далее следует ряд значений глагола **казати**, связанных с употреблением его в речевых ситуациях. В ряде случаев на наличие речевой ситуации указывает употребление глагола **казати** в предложениях, вводящих прямую речь. При этом **казати** имеет значения 'указывать, разъяснять' в

соответствии с греч. δεικνύμαι, ἐνδεικνύμαι (например: **тѣгда сѣ тыи кононѣ въздѣхнѣ на на глагола и кажѣ имѣ . виднѣ кѣто вами съвадетѣ** – Супр 36,28 – **Τότε ὁ ἄγιος Κώνων κατεστέναξεν κατ' αὐτῶν λέγων καὶ δεικνύων αὐτοῖς: "Ἴδε τίς ὑμῶν κατεξουσιάζει..."**; **вплѣ же и павѣль кажѣтѣ глагола** – Супр 372,17-18 – **Τὴν δὲ κραυγὴν καὶ ὁ Παῦλος ἐνδείκνυται, λέγων: ...**), **увещевать, убеждать** в соответствии с греч. παραινεῖν (например: **онѣ же не ослабѣташе имѣ . нѣ прѣбѣывааше кажѣ и глагола . Ѡ толикоу вашемоу безоумию...** – Супр 33,26 – **Ὁ δὲ... ἐπέμενε παραινῶν αὐτοῖς καὶ λέγων: "Ὡ τῆς τοσαύτης ὑμῶν ἀνοίας...; и пристѣпнѣвъ нача мѣченикоу казати глагола . покори сѣ мене чловѣче** – Супр 61,13 – **ἐνιστάμενος... παραινεῖν ἤρξατο τὸν μάρτυρα λέγων: "Πείσθητί μοι..."**). В других случаях семантика **увещевания, убеждения** почти вплотную подходит к семантике **поучения, воспитания**, однако о наличии речевой ситуации говорит противопоставление **казати** другим глаголам. Например, при употреблении **казати** в значении **увещевать, наставлять (словами)** в соответствии с греч. παραινεῖν на речевую ситуацию указывает противопоставление глаголов **казати** и **слушати**. Ср.: **и сѣ бо кгда казааше и оучитель не слушаше . нѣ кгда никогоже бѣ кажѣшга . тѣгда свои съвѣсть разоумѣвъ** – Супр 415,3 и 4 – **Καὶ γὰρ καὶ οὗτος, ὅτε παρῆνει μὲν ὁ διδάσκαλος, οὐκ ἤκουεν: ὅτε...** При употреблении **казати** в значении **увещевать, убеждать** в соответствии с греч. νοουθετεῖν на речевую ситуацию указывает противопоставление глаголов **казати** и **оувѣщати**. Ср.: **и такоже на мнозѣ кажѣ . мола припада . кланяла сѣ . оувѣщати кго не възможе . сѣтѣживѣ си сѣ тыи** – Супр 527,14 – **Ὡς δὲ ἐπὶ πολὺ νοουθετῶν, παρακαλῶν, γονυπετῶν πείσαι αὐτὸν οὐκ ἴσχυσεν...** В ряде случаев при употреблении глагола **казати** уже нет прямых указаний контекста, что имеется в виду именно "словесное" наставление. Таким образом, семантика глагола развивается от **увещевания (словесного)** к **наставлению, поучению (не обязательно словесному)**. Ср., например, употребление **казати** в соответствии с греч. παραινεῖν: **казааше бо и и оучааше и вьсачьскы печаше сѣ имѣ** – Супр 409,23 – **ἐνουθετεῖ καὶ παρῆνει καὶ πάντα τρόπον ἐπεμελεῖτο...** Это последнее значение совсем близко подходит к значению **воспитывать** и даже **наказывать**. Пример употребления **казати** в значении **наказывать** в соответствии с греч. παιδεύειν имеется в апостольском тексте недавно найденной части Синайского евхология: **которы оубо естѣ снѣ . его же не кажѣтѣ оцѣ** – Евр 12,7 Евх-Tarnanidis (так же и в более поздних списках – в Охридском (2 раза), Слепенском (2 раза) и Шишатовском, в Христинопольском – **покажетѣ**) – **τίς γὰρ ἐστὶν υἱὸς ὃν οὐ παιδεύει πατήρ;**

Семантика **наставления, воспитания**, представленная уже в значениях бес-префиксных лексем – рассмотренного выше глагола **казати**, а также существительных **казаник** (Супр 2, Кюц 1), **казатель** (Евх-Tarnanidis 1, Супр 1), является основной для лексем с префиксом **на-** – глагола **наказати (сѣ)** (Син 4, Евх 2, Евх-Tarnanidis 1, Супр 8, Хил 1) и существительного **наказаник** (Син 5, Евх1, Кюц 2, Супр 7). Глагол **наказати** употребляется, главным образом, в ситуациях, не связанных с речью, в соответствии с греч. παιδεύειν, однако иногда из широкого контекста можно определить, что речь идет о "словесном наставлении". В этих случаях **наказати** употребляется в соответствии с греч. παραινεῖν и νοουθετεῖν. Например: **похоуливѣ же крадѣшааго о несѣтѣсти кго . и наказавѣ кго не начинати отъсѣл тацѣхѣ тѣтъбинѣ... отъпоустѣ** I – Супр 42,12

– Ἐπιμεψόμενος δὲ τῷ κλέψαντι... καὶ παραινέσας αὐτῷ μηκέτι ἐπιχειρεῖν... ἀπέλυσεν.

Таким образом анализ текстов показывает, что в контекстных значениях лексем с корнем **-каз-**, зафиксированных в старославянских рукописях, отражается процесс дифференциации лексем по значению внутри ЛСГ с этим корнем. Старославянские лексемы с префиксом **съ-** почти полностью отошли в сферу лексики со значением речи, однако в них еще “просвечивает” семантика ‘указания’. Напротив, в ряде лексем с корнем **-каз-** (**казати, казаник, наказати, наказаник**), основное значение которых базируется на более древней семантике ‘указания’, в определенных контекстах могут обнаруживаться значения, связанные со значением речи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Цейтлин Р.М. Корневые лексико-семантические группы со значениями прямыны - кривизны в древних славянских языках // Palaeobulgarica. Г. XIV. 1990. № 1. С. 91-105; Цейтлин Р.М. Сравнительная лексикология славянских языков X/XI - XIV/XV вв. (проблемы и методы) (в печати).
2. Frisk H. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I-III. Heidelberg, 1954-1972.
3. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. М., 1986-1987.
4. Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1970.
5. Holub J, Kopečný F. Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1952.
6. Skok P. Etymologijski rječnik hrvatskog ili srpskog jezika. Т. 3. Zagreb, 1973.
7. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. I. М., 1994.
8. Liddell H.G., Scott R. A Greek-English Lexicon. In 2 v. Oxford, 1925-1936.
9. Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь. В 2 т. М., 1958.
10. Slovník jazyka staroslověnského. Praha, 1968 –.
11. Старославянский словарь (по рукописям X-XI вв.) / Под ред. Р.М.Цейтлин, Р.Вечерки и Э.Благовой. М., 1994.
12. Miklosich F. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886.
13. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. В 3 т. Спб., 1893-1912.
14. Sadnik L., Aitzetmuller R. Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten. Heidelberg, 1955.
15. Dostál A. Studie o vidovém systému v staroslověnině. Praha, 1954.
16. Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд / Под ред. О.Н.Трубачева. М., 1974 –.
17. Sophocles E.A. Greek lexicon of the Roman and Byzantine periods. Leipzig, 1904.



К ЮБИЛЕЮ В. М. ЖИВОВА

Публикуемые ниже статьи авторы посвящают пятидесятилетию Виктора Марковича Живова. Их тематическое разнообразие отражает многогранность интересов юбиляра. Начав свой научный путь с теоретических и типологических работ по фонологии, в том числе по фонологии русских диалектов, В. М. Живов обращается затем к истории русского литературного языка, ставшей основной областью его исследований. В. М. Живова интересуют как внешние (культурная и языковая ситуация), так и внутренние (историческая морфология), как объективные (языковая практика), так и субъективные (лингвистические теории, языковые программы) аспекты истории русского литературного языка, роль церковнославянской традиции и отношение к ней на разных этапах развития литературного языка. В. М. Живов впервые определил и описал так называемый гибридный церковнославянский язык русского извода, оказавший в XVIII в. влияние на формирование литературных языков сербов и болгар. (Этой теме был посвящен его доклад на X Международном съезде славистов в Софии.) Будучи одним из первых и наиболее активных участников Тартуских семиотических симпозиумов и изданий, В. М. Живов получил широкую известность как автор работ по истории и типологии культуры, в частности написанных совместно с Б. А. Успенским статей по русской культуре XVIII в. Коллеги и друзья Виктора Марковича желают ему дальнейшей плодотворной научной деятельности и ждут его новых исследований и открытий.

Н. Т.



© 1996 г. ТОЛСТОЙ Н. И.

КАК НАЗЫВАЛИ СЕРБЫ СВОЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК В XVIII И НАЧАЛЕ XIX ВЕКА?

Свою яркую и как всегда богато аргументированную работу «Роль русского церковнославянского в истории славянских литературных языков» В. М. Живов начал такими словами: «В лингвистической перспективе *Slavia Orthodoxa* может быть с тем же успехом названа *Slavia Slavonica*. В период средневековья литературные языки развиваются здесь на основе единого кирилло-мефодиевского лингвистического наследия и могут при желании рассматриваться как единый литературный язык православного славянства, существующий в некоторых постоянно взаимодействующих вариантах — порою влияющих друг на друга, порою друг от друга отталкивающихся» [1. С. 49].

Описанная В. М. Живовым ситуация, а именно восприятие церковного по своему происхождению литературного языка как единого книжного языка славянства продолжалось у сербов до сороковых годов XVIII века — до поры, когда, согласно общепринятой периодизации Б. О. Унбегауна, перестала господствовать средневековая традиция и на смену ей пришел поздний русский тип церковнославянского языка вместе с архаическим типом русского литературного языка первой половины XVIII в. Это русско-церковнославянское влияние было весьма интенсивным, но и недолговечным. С 1780 г. до конца первой четверти XIX в. наблюдается двоякая ситуация: с одной стороны, это влияние как бы укрепляется, с другой — все чаще появляются смелые попытки ввести в литературу «простой» сербский язык, что и было затем осуществлено реформой Вука Караджича.

К нашему времени после монографии Б. О. Унбегауна появилась богатая литература, описывающая отмеченный период, вошли в научный обиход исследования А. Младеновича и других ученых, к числу которых решается себя причислить и автор этих строк. Тому же А. Младеновичу принадлежит небольшое по объему, но весьма обстоятельное исследование «Значение названия *славеносербский язык*», снабженное, по авторскому обыкновению, обильным фактическим материалом [2]. Тем не менее тема, упомянутая в заглавии, имеет для истории сербского литературного языка особое значение, что позволяет мне обратиться к ней еще раз и предложить некоторые наблюдения и рассуждения, направленные не на полемику с А. Младеновичем, для которой у меня нет основания, а скорее на дополнение к его материалам и доводам.

Наиболее распространенным и устойчивым названием литературного языка у сербов в отмеченный период было *славено-сербский язык*. Это название часто встречается в титульных листах книг XVIII в. и начала XIX в., так как их заглавия, согласно духу времени, были весьма многословными и подробными: пе-

мимо прочего в них обычно указывалось, на каком языке написана книга или с какого языка на какой язык она переведена. По этим данным, впервые термин *славено-сербский язык* был упомянут в 1741 г. в знаменитой для своего времени «Стематографіи» — гербовнике, включавшем гравюры 56 гербов и обозначенном как «Изображеніе оружій иллирическихъ аѹторомъ Павломъ Ріттеромъ. В' діалектѣ Латінскомъ изданное На свѣтъ, и по егѡ урядженію На Славено-Сѣрбскій Языкъ преведѣнное <...> Христофоръ Жефаровичъ Ѡвма Месмеръ. В' Вѣннѣ (1741 г.)». Последний же раз этот термин был употреблен в заглавии книги «Истинная Повѣсть о Кириллѣ и Меѡодіи и о избобрѣненіи богоданныхъ курілическихъ и славенскихъ называемыхъ писменъ составлена Еллински отъ Святаго Теофилакта Архіепископа болгарского преведена же нѣкоимъ Родолюбцемъ на простый Славено-Сѣрбскій языкъ. Въ Будимѣ Градѣ 1823». Добавление к лингвониму прилагательного «простый» свидетельствует о желании переводчика отметить, что он пользуется особым типом славяносербского языка, о котором несколько слов будет сказано ниже. Термин *славено-сербский* в чистом виде, без дополнительного определения, отмечен в издании 1817 года в заглавии сочинения Василия Дамьяновича «Вѣра Древности Славено-сѣрбскимъ языкомъ на свѣтъ издана. Въ Будимѣ Градѣ. 1817». После этого времени в заглавиях книг указывается уже исключительно сербский язык как язык автора или язык перевода. Например: «Пѣснословка, повѣсть о народу Словенскомъ изъ книге Г. Андрее Качиѣна изведена; и по образу, вкусу и глаголу Сѣрбскомъ Гаврииломъ Ковачевиѣнемъ устроена. Иждивеніемъ же Г. Іоанна Янковиѣна книгопродавца и шампара Новосадскога напечатана. У Будиму 1818». Или: «Штатистическое описаніе Сербіе (со землеописаніемъ ове землѣ) на сѣрбскій языкъ преведено и издано Стефаномъ Милошевичемъ <...> у Будиму <...> 1822».

Как видно из изложенного, срок воявания термина *славено-сербский язык* полностью совпадает с двумя обозначенными Б. О. Унбегауном периодами развития сербского литературного языка «довуковской» эпохи, т. е. до начала реформы литературного языка в духе идей и практики Вука Караджича. Термин *славяно-сербский* употреблялся во второй и третий периоды — с 1740 г. по двадцатые годы XIX в. Притом он покрывал или объединял собою все разнообразие стилей и форм литературного языка.

Достаточно трудно перечислить все примеры, цитировать все заглавия книг, вышедших в означенный период, где имелось упоминание языка, на котором написана или на который переведена книга. Общее число таких упоминаний доходит до пятидесяти, из коих к «славено-сербскому» относятся тридцать, притом половина их в книгах XVIII в., а половина в книгах первой четверти XIX в.

Для того чтобы создалось хотя бы приблизительное представление о том, какого характера и жанра были книги, снабженные указанием на язык оригинала или перевода, каковым был славяносербский язык, приведем еще несколько названий книг разных лет издания: «Проповѣдь или слово ѡ ѡсужденіи Придворнымъ всерѡссійскагѡ Императорскагѡ величества Проповѣдникомъ Гедесономъ. Въ недѣлю ѡ слѣпомъ <...> сказанное и Ради Православныхъ Сѣрбскагѡ Народа Хрїстіанъ. Изъ Рѡссійскагѡ на Славяно-Сѣрбскій азыкъ преведенное въ Новомъ Садѣ (1764)»; «Путь къ постоаннѣй славѣ і Истинному величеству <...> Изъ французскагѡ на славено-Сѣрбскій азыкъ преведенна. Во Вїеннѣ 1775»; «Идея или мужескаа и женскаа Добродѣтель повѣстнаа повенность съ нѣмецкагѡ азыка на славено-сѣрбскій преведѣннаа (Григоріемъ Терлаичемъ). Въ Вїеннѣ. 1793». В «славено-сѣрбском» издании «Идеи» Григорий Терлаич поместил «Изясненіе нѣкоторыхъ рѣчей славянскихъ» (с. 69) и «Предупоминаніе еже ѡ преводѣ», что было характерно для целого ряда сербских и болгарских изданий конца XVIII в. и первой половины XIX в. Славяносербским называл сербский литературный язык конца XVIII-го и самого начала XIX-го века и известный писатель Досифей Обрадович, писавший уже на языке, близком языку Вука Караджича и его ранних сторонников. Ему же принадлежит и перевод басен Эзопа — «Езопове и прочихъ разнихъ баснотворцевъ съ различни езика на славеносѣрбски езикъ преведене садъ први редъ съ нравоучителними полезними

изяснѣніями и наставлѣніями издате и сербском юности посвећене басне. У Лайпсигу 1788». Уже в самом заглавии книги прослеживаются черты нового сербского литературного языка и нового правописания (*посвећене басне, садъ први редъ, издате*).

Как указывают все те же титульные листы, на славяносербский язык были переведены или на нем написаны проповеди, нравоучительные, художественные и исторические произведения, календари, грамматические пособия (по латинскому, венгерскому, итальянскому языкам), жизнеописания (в том числе А. В. Суворова), руководства по статистике, гигиене, ветеринарии, кулинарии, домоводству и другим областям жизни и жизнедеятельности. Известный сербский писатель, драматург и переводчик с английского «Робинзона Крузо» и «Алексиса и Надины» (1810) Иоаким Вуич определял свой язык как «нашъ славеносербскій» или «матерный славено-сербскій языкъ» (по-сербски *матерни* значит 'родной', ср. немецк. *Muttersprache*). Викентий Люстина, автор итальянской грамматики для сербов (Вена, 1794), отмечал, что его грамматика «описана есть общимъ нарѣчѣемъ (діалектомъ) Іллуріческимъ, обыкновенно Славяносербскимъ называемъ» и что все «неудобъ разумѣваемая рѣченія» в его сочинении имеют «изъясненія... въ матернѣмъ отъ всѣхъ обще разумѣваемѣмъ языцѣ». Таким образом, славяносербский был языком книжным, языком образованных сербов, отличным от разговорного сербского языка. По этой причине у некоторых переводчиков и писателей возникло стремление приблизить славяносербский язык к народному языку, называя его при этом *простым*. Так поступил Михаил Бояджи, издавший книгу «Умная наставленія или нравоучительная правила в ползу славено-сербске дѣтице съ греческаго на простой славено-сербскій езыкъ преведена. Въ Будимѣ, 1808», и анонимный Родолюбец (т. е. патриот), преобразовавший сочинение св. Феофилакта Болгарского «на простой Славено-Сербскій езыкъ». Но это, как отмечено выше, — последнее упоминание славяносербского языка. Любопытен также редкий случай перевода с сербского народного языка на язык книжный, славяносербский. Притом в этом случае уточняется диалект и называется он *далматинским*, а сам перевод именуется «пречищением», как видно из заглавия книги, напечатанной церковным кириллическим шрифтом: «Аждая седмоглава сирѣчь описаніе седми грѣховъ смртныхъ стіхотворнымъ художествомъ устроеное и съ далматинскаго языка на Славено-Сербскій пречищено тшаниемъ Георгія Михалевича при крал. Тупографій Університ. Пешт. коллектора, у коего и продаются. Въ Будимѣ Градѣ. Печатано при Славено-Сербской и прочихъ языковъ крал. Університета Тупографій 1803. с. 267».¹

Еще один подобный случай перевода с одного сербскохорватского идиома на другой произошел с сочинением славонского писателя Матии Антуна Рельковича «Сатир» десятью годами раньше. С литературно обработанного славонского диалекта переводчик перевел текст на «просто-сербскій языкъ», который также не является простой фиксацией определенного сербского говора, хотя переводчик также происходил из Славонии, о чем свидетельствует заглавие книги:

¹ По поводу этого перевода известный сербский библиограф и ученый XIX в. С. Новакович писал: «Книга эта, как и перепечатка "Сатира" Рельковича в 1793 г., показывает, на каком низком уровне находилась тогда наша литература, если в то время кому угодно можно было сделать и напечатать "перевод с далматинского"» [3. С. 58]. Немногим более десятка лет до этого русский славист-сербист А. А. Майков, автор «Истории сербского языка по памятникам, писанным кириллицей, в связи с историей сербского народа», анализируя текст Арадской (Текелинной) рукописи Законика царя Стефана Душана (XVIII в.), отмечал, что «язык этой рукописи принадлежит переписчику, который хотел внести в народный язык церковнославянскую стихию; его язык отличается элементами позднего времени, когда сербский язык до такой степени был испорчен писателями, что его нельзя было назвать ни сербским, ни церковнославянским, и его обобщенно называли славяно-сербским» [4. С. 37—38]. На это высказывание А. А. Майкова обратил внимание А. Младенович [2. С. 100]. Все же следует сказать, что дело не в «низком уровне литературы того времени» и не в испорченности сербского языка писателями. Уровень был достаточно высок, а писатели не портили сербский литературный язык, а создавали его. Дело в переходном периоде конца XVIII в. и начала XIX в., дело в определенной свободе нормы, которая создавала конкуренцию норм, что было, впрочем, характерно, может быть, в меньшей мере, и для русского литературного языка XVIII в.

«САТѢРЪ или дивїи човекъ. У пѣрвой части, пѣва на стїхови славѣнцемъ а у другой Части славѣнаць ѿпѣва у стїхови Сатѣру Г. Антонїемъ Рѣлковичемъ сочинень, превѣденъ же на просто-сѣрбскїй ѣзыкъ Стефаномъ Раичемъ, Учителемъ долно-осѣчке юности иживенїемъ благороднаго господина Александра ѿ Коичъ. Въ Вїеннѣ <...> 1793».

В обоих случаях путем «перевода» либо «облагораживался» язык, либо приближался к весьма неустойчивой литературной норме, но известен и третий случай, когда текст с славяносербского переводился на литературный язык «вуковского» типа, т. е. на язык, почти лишенный церковнославянизмов. Правда, этот случай, внимательно рассмотренный А. Младеновичем [2], произошел почти полвека спустя после появления двух упомянутых выше, и он относится к переводу стихотворения Анастасия Стойковича «Стихи каковымъ образомъ любовь у браку сохранили можно» (1800 г.), сделанному Вукашином Радишичем в 1844 г. — «Начин којим се у браку љубов чува. Спев од Анастасїа Стојковића, списан 1800, на славеносрпском, а сад преведен на српски језик» (в книге «Голубица с цветом књижевства српског». У Београду, 1843—1844, V, с.115-126).

В некоторых случаях язык назывался просто «простым», что напоминает ситуацию в западнорусских землях в XVI—XVII вв., где в ту пору функционировала «проста мова», наряду с другими идиомами письменного языка. Так, вышедшие в самом начале XIX в. книги по физике и болгарской истории были озаглавлены: «Фвсїка простымъ языкомъ списана за родъ Славенно-Сербскїй Афанасїемъ Стойковичемъ, свободныхъ художествъ и фїлософїи Доктора и Іенскаго естествоиспытателнаго содружества члена <...> Въ Будимѣ. 1801» и «Исторїа славено-болгарскаго народа изъ Г. Раича Исторїе и нѣкихъ историческихъ книгъ составлена и простымъ языкомъ списана за сынове Отечества Атанасомъ Нешковичемъ. Въ Будимѣ 1801». Однако чаще встречается термин «прѣстїй сѣрбскїй ѣзыкъ», употреблявшийся в конце XVIII в. и зафиксированный в Священной истории для малолетних детей (перевод с русского, 1793), в нравоучительной книге для детей (перевод с немецкого, 1797), в Молитвенной книге кесаря Иосифа (перевод с немецкого, 1794) и в пьесе Эммануила Янковича «Благодарни синь. Сеоска весела игра у едномъ дѣйствїю ставлѣна на просто Сербски. У Лаипсїгу. 1789».

Были, естественно, и случаи, когда название «славено-сербскїй языкъ» применялось к простому разговорному сербскому языку, о чем свидетельствовал и сам переводчик. Так, в книге «Цвѣтъ добродѣтели преведено съ греческаго на славено-сербскїй языкъ Викентїемъ Ракичемъ. Будимъ 1800» в предисловии написано: «Допаде ми ова книжица у руке <...> допала ми се <...> да хоће бити весьма полезна юности <...> за кое нисамъ поштедїо труда превести ю на нашъ простїй языкъ» (Попала мне эта книжечка в руки ... понравилась мне ... будет весьма полезна юным ... и я не пожалел труда и перевел ее на наш простой язык). В этом отрывке к славяносербскому можно отнести только слова «весьма полезна» и «юность». Впрочем, приведенный пример свидетельствует о некоторой неустойчивости и нечеткости разграничения описываемых терминов, что вполне понятно для рассматриваемого переходного периода в истории литературного языка у сербов.

Немногочисленны случаи, когда переводчики называли свой язык просто сербским. Все они относятся к концу XVIII в. и началу XIX в. и связаны с литературой специального характера. Таковы «Поучителный Магазинъ за дѣцу къ Просвѣщенїю разума и исправлѣнїю сердца ѿ Госпожи Марїи ле Пренсъ де Бомонтъ сочинѣнь а сада Славенносербске ради юности съ нѣмецкаго на сербскїй языкъ преведенъ Авраамомъ Мразовичемъ. Въ Вїеннѣ ч. I — 1787, ч. II — 1793»; «Римляни у Шпанїи изъ Списанїа Ватсона Англичанина преведено на Сербскїй языкъ черезъ Тюкели отъ Савы съ примѣчанїями и краткимъ додаткомъ. <...> Въ Будимѣ градѣ <...> 1805»; «Численица или наука рачуна Изясненїями, Правилами, Примѣрами и Наставленїями, по новѣйшему образу од инострани Езика на Србски собрата <...> В' Будимѣ, 1809»; «Штатїстїческое описанїе Сербїе (со землеописанїемъ ове землѣ) на сербскїй языкъ преведено и издано Стефаномъ Ми-

лошевичемъ. У Будиму, 1822». Единственный пример, относящийся к шестидесятым годам XVIII в., представляет собой любопытный курьез. Книжечка объемом в восемь страниц, носящая заглавие «Сѣтованіе наѣченнаго младаго челоѣка изъ Русскога на Сербскій азыкъ преведено ѿ З. О. въ Новомъ Садѣ. 1764», принадлежит действительно З. О., т. е. Захарію Орфелину, но она сочинена самим Захаріем Орфелином, и то, что это перевод, — не более чем мистификация. Кстати, это единственный случай для рассматриваемого периода, когда русский язык назван *русскимъ*, а не *россійскимъ*.²

Курьезно выглядит название «древній сербскій языкъ» применительно к бытовашему в то время литературному языку. Оно было употреблено в книге: «Плутарха Хиროнойскаго дѣлце о Воспитаніи Дѣтей, на древній сербскій языкъ преложилъ Иованъ Рукославъ, Родомъ Сербъ, отечествомъ же Угринь. Въ Будинѣ <...> 1808». Очевидно, Рукослав был сторонником архаического «славенско-го» языка и потому окрестил свой язык древнесербским. Но были и авторы, вернее переводчики, которые считали, что они переводят на «славенскій языкъ», что видно из следующих книжных титулов: «Велізаріи гѣдина Мармонтель Академіи французскаго азыка члена изъ французскаго на славенскій азыкъ преведень (Павломъ Юлинцемъ). Въ Виеннѣ. 1776»; «Краткаа Сербліи, Рассіи, Босны и Рамы Кралеѣвствъ ИСТОРИА по плану Вилхелма Гуѣри и Іоанна Грав и по иныхъ Англезовъ устроенаа и изъ 55 тома общественнаа исторіи изатаа и съ нѣмецкаго на славенскій азыкъ преведенаа и краткими примѣчаніями изасненаа Іоанномъ Райчемъ архимандритомъ Въ Виеннѣ 1793»; «Ода На воспоминаніе втораго Хрѣтѣва пришествіа по ѡбразѣ пѣсны Лѣва премѣдраго Царя Греческаго, Еллінски Стіхами по Алфавитѣ Сложеннаа: А на славенски Гѣдиномъ Парѣнѣномъ епіскопомъ приведеннаа Стіхами же Славенскими Захаріемъ Орфелиномъ <...> Оустроенаа код Димитріа Теоодіа 1763»; «Благонравіе или Книжица ко украшенію нравовъ юношескихъ стѣлѣ полезнаа. Съ Еллинскаго на славенскій діалектъ въ ползѣ и употребленіе славено-сербскихъ отроковъ преведена Димитріемъ Николаевичемъ Дарварь. Виенна 1786»; «Фулактирион тис ѣвхис Хранилище Душы Преведенное изъ греческаго на славянскій азыкъ Викентіемъ Ракичемъ <...> Напечатано же Въ Венеціи <...> 1800»; «Зерцало христіанское содержащее мысли спасителныя и увѣщанія душеполезная и нужнѣйшая всякому христіанину желающему познати Христіанское свое житіе и евангелскую истину. Преведено съ греческаго на славянскій языкъ въ ползу Славяно-сербского народа Дмитріемъ Николаевичемъ Дарварь <...>. Въ Будимѣ, 1801»; «Реніа Іоанна Донатъ Латинскій съ проводомъ Славенскимъ, ради употребленія славено-сербской, латинскому языку обучающейся юности. изданъ въ 1765».

По сути дела «славенскій языкъ» не отличался от «славено-сербского языка», если не считать, что из-за относительной свободы нормы славяно-сербского языка почти каждое сочинение имело свои отличия, даже если сочинения принадлежали одному автору. Об этом мне уже приходилось писать [6]. Можно добавить к сказанному, что под «славенским» понимался прежде всего архаический стиль или «высшій слог» русского литературного языка XVIII века. Так, например, уже упоминавшийся выше Захарій Орфелин в своем «Вѣчномъ Календарѣ» (Въ Виеннѣ, 1783) писал, что «славенскимъ языкомъ наричется *звѣзда хвостая*, а по-сербски *звѣзда ренатая*». Этот вопрос уже рассматривался В. П. Гудковым [7], и это дает мне право не обсуждать его здесь.

Термин *славено-сербскій* возник по модели терминов *славяно-россійскій* и *славяно-болгарскій*, распространившихся в XVIII веке довольно широко. Чтобы понять употребительность термина *славено-сербскій*, надо учитывать, что он мог относиться не только к языку, но и к народу, юношеству, к отдельным ли-

² В XVIII в. в Сербии престиж русской книги и русской духовной и светской литературы был очень высок. Из боязни впасть в соблазн унии предпочитали покупать русские богослужебные книги, а на некоторых из них ставилось место издания Москва, хотя печатались они в Венеции, как справедливо указывал Г. Михайлович [5].

цам. В тех же сербских книгах XVIII века легко обнаружить определения такого рода: «Словенно-Сербскаго и валахійскаго Народа Митрополить Павелъ Ненадовичъ» (в предисловии к рымникскому изданию Грамматіки Мелетія Смотрицкого, 1755); «Архієп^скопъ и Мѣтрополить Славено-Сѣрбскій Павелъ Ненадовичъ» («Ода на воспоминаніе втораго Хр^стова пришѣствіа», 1760); «Славено-Сербское Юношество» («Новѣйшія славянскія прописи», 1776); «...изданое Иоакимомъ Вуичемъ Славено-србскимъ писателемъ» («Новоизобретеное и благоустроеное Училище...», 1823) и т. п. После первой четверти XIX в. термин *славено-сербский* вышел из употребления, но им все же успел воспользоваться Вук Караджич, издавший в 1814 году свою «Малу прстонародню славеносерпску пѣснарицу».

Пятнадцать лет тому назад, в 1980 г., известный американский славист, знаток сербского XVIII века Александр Албиянич рассматривал взгляды отдельных сербских авторов XVIII в. и первой половины XIX в. на сербский литературный язык [8]. В итоге своего рассмотрения он выделил четыре группы авторов, вернее, четыре типа взглядов на языковую ситуацию и на сохранение церковнославянской традиции. К первой группе он отнес авторов, считающих необходимым толковать малопонятные и темные церковнославянские выражения и фрагменты текста простым языком (И. Раич и В. Ракич), ко второй группе — лиц, принимающих церковнославянский язык как свой язык науки, художественного выражения и чистоты, необходимой для литературной речи (В. Луштина); к третьей группе — писателей, считающих, что следует писать на народном, на родном языке, а не на церковнославянском (Э. Янкович, А. Дошенович), и наконец, к четвертой группе — деятелей, занимавших среднюю позицию, полагавших, что литературный язык должен представлять собой смесь церковнославянского и народного языка (А. Стойкович, П. Соларич).

Отметим, однако, что эти взгляды были почерпнуты в основном из предисловий и пояснений к переводам и к тексту, предлагаемому читателю. Так, высказывание Иована Раича было помещено в его сборнике «недѣльныхъ» (воскресных) и праздничных поучений (1793), а В. Ракича — в его «Проповѣдяхъ» (1809). Мнение В. Луштинина излагалось в его «Грамматикѣ италіанской» (1794), а Э. Янковича — в его переводе комедии Карло Гольдони «Торговцы» (1787). А. Дошенович высказал свое отношение к языку в своей «Численице» (1809), т. е. руководстве по арифметике, а А. Стойкович — в развлекательной книге «Кандоръ или откровеніе египетскихъ тайнъ» (1800) и П. Соларич — в книге «Ключиѣ» (1804).

Во многих случаях поэтому речь шла не столько о языке вообще, сколько об избранном для конкретной книги и конкретного жанра стиле. Естественно, что проповеди требовали толкования «темных» мест Священного Писания, а комедия не могла быть переведена на книжный и возвышенный «славенскій» (церковнославянский) язык. Такой сугубо книжный язык не был нужен и для практической арифметики (хотя веком раньше в России он прекрасно послужил А. Магницкому), а для развлекательного и познавательного чтения грамотных и образованных читателей вполне подходило компромиссное решение сочетания двух стихий — книжной и народно-разговорной, решение, к которому к началу XIX в. уже пришел русский язык, служивший для многих сербов образцом.

Таким образом, для объяснения языковой ситуации и названий сербского литературного языка «довуковского» периода следует учитывать систему жанров, которая так же, как и язык, находилась в конце XVIII и в самом начале XIX в. в интенсивном развитии³. Наконец, безусловно, параллельно с развитием жанров и самого литературного языка, проходившим под влиянием многих факторов, в том числе и переводной литературы, и эволюции русского литературного языка того времени, происходила и конкуренция еще малоустойчивых и различных норм литературного языка. Этому вопросу в свое время я уделил внимание

³ О более раннем периоде становления системы сербских литературных жанров см. [9].

[6] и сейчас не буду повторяться. Скажу только, что эта конкуренция, как и все развитие сербского литературного языка XVIII века, шла еще в рамках сильно изменившегося кирилло-мефодиевского наследия, в условиях активного взаимодействия литературно-языковых вариантов единой литературной традиции, о которой писал В.М.Живов, пока не наступил «вукровский» период, период столь резкого отталкивания, что вся многовековая традиция оказалась разрушенной. До этих же пор первая часть композитов *славяно-российский, славяно-болгарский, славено-сербский* свидетельствовала о культурно-языковом единстве православного славянского мира.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Живов В. М. Роль русского церковнославянского в истории славянских литературных языков // Актуальные проблемы славянского языкознания. М., 1988. С. 49—98.
2. Младеновић А. Значење назива «Славеносрпски језик» // Младеновић А. Славеносрпски језик. Нови Сад, 1989. С. 94—100.
3. Новаковић С. Српска библиографија за новију књижевност. 1741—1867. У Биограду, 1869.
4. Майков А. А. История сербского языка по памятникам, писанным кириллицей, в связи с историей народа. М., 1857.
5. Михаиловић Георгије Др. Српска библиографија XVIII века. Београд, 1964.
6. Толстой Н. И. Конкуренция и сосуществование норм в литературном языке XVIII века у сербов // Толстой Н. И. История и структура славянских литературных языков М., 1988. С.186—193.
7. Гудков В.П. О «славенском» языке Захария Орфелина // Вестник Московского университета. Филология. М., 1973. № 3. С. 46—51.
8. Албијанић А. Мишљења појединих аутора у XVIII и првој половини XIX века о српском књижевном језику пре вукове стандардизације // Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд, 1980. С. 131—140.
9. Толстой Н. И. Отношение древнесербского книжного языка к старославянскому языку // Толстой Н. И. История и структура ... С. 164—173.



© 1996 г. ТОЛСТАЯ С. М.

МАГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ОТРИЦАНИЯ В САКРАЛЬНЫХ ТЕКСТАХ

В настоящих заметках речь идет не о грамматических и не о логических свойствах и функциях отрицания, а о том, что можно назвать прагматикой отрицания [1], о том, с какими целями употребляются отрицательные конструкции в сакральных фольклорных текстах — заговорах, заклинаниях, оберегах, проклятиях и т. п. Поскольку эти тексты отличаются повышенной «иллокутивной силой» — они не просто должны воздействовать на действительность, но этим воздействием каждый раз решается вопрос жизни и смерти, — постольку и отдельные компоненты этих текстов, обычно вполне нейтральные, прагматически не маркированные, попадая в столь сильное поле, приобретают способность «заряжаться» и становятся одним из инструментов воздействия на положение вещей в мире. Подобные, выходящие за рамки грамматики прагматические функции могут приобретать, например, такие грамматические категории, как число, род, время глагола, некоторые синтаксические конструкции, в частности, перечислительная, и др. (о грамматическом роде существительных в этом аспекте см. [2, 3]). Отрицание при этом может превращаться в особый речевой акт или особый магический прием, сознательно используемый для достижения определенной, чаще всего защитной, цели.

Прежде чем рассмотреть несколько таких прагматических функций отрицания, необходимо сказать, что тексты, о которых здесь идет речь, отличаются особенной насыщенностью отрицательными конструкциями, что объясняется их преимущественно охранительным назначением и связанной с этим необходимостью противодействовать вредоносным и злокозненным силам. Ср., например, белорусский заговор, содержащий 11 отрицаний: «К кароўцы саджуся, нікога не баюся — ні змея-чарадэйніка, ні змяі-чарадэйніцы. Я ім камянем зубы павыбью, а пяском вочы засыплю, штоб чародэйнік і чарадэйніца к маёй скаціны не падышлі, у маёй скаціны малака не ўзялі: ні ў полі, ні ў доме, ні на дарозе, ні на раду, ні на хаду» [4, № 103]. Естественно, что в других текстах, например, в так называемых благопожеланиях, доля отрицательных конструкций будет значительно меньше. Все это, конечно, не значит, что в заговорах и заклинаниях отрицание не используется в своих обычных грамматических функциях и в своем основном значении «неверно, что», но и такие «нейтральные» случаи отрицания нередко приобретают здесь устойчивые культурные коннотации мифологического характера.

Первая, наиболее общая и наиболее важная функция отрицания в заговорах

Толстая Светлана Михайловна — д-р филол. наук, зав. отделом этнолингвистики и фольклора Института славяноведения и балканистики РАН.

и заклинаниях — это магическое уничтожение злых сил: болезни, порчи, колдовства. Отрицание этих сил понимается как их уничтожение или устранение. В явной форме это выражено в текстах, которые прямо адресованы этим силам и содержат отрицание при предикате: «Урок и спуд, тут тебе не ходить, сердца не знобить» [4, № 906]; «(к звиху) Тут табе не бываць, тут табе не гуляць і рабе божай Ганне касцей не ламаць, гарачай крыві не разліваць, сэрца не знабіць, белага цела не пушыць, не таргаць, не калоць, не балець, а навек занямець» [4, № 523] и т. п. Здесь прямо звучит повеление «не бывать», и, таким образом, общее значение отрицания «неверно, что» сменяется значением «пусть не будет этого, не бывать этому». Но эту же функцию и семантику могут иметь и отрицания, формально не относящиеся к виновникам бед, а относящиеся к другим компонентам текста, даже к помощникам и защитникам, к локативным, временным атрибутам и др. Вот примеры общего отрицания-уничтожения через отрицание места: «...Гад-змья Шкурлупея... ня будзець вам памесця нігдзе — ні ў грудзі, ні ў нары, ні на сухапуці. У грудзі я цябе агнём спяку, у нары перуна заб'ю, на сухапуці вадой заллю...» [4, № 307]; «Я, раб божи, я цябе выпрашаю, я цябе высылаю із касці, із машчэй, із ясных вачэй, із буйнай галавы, із рацівага сэрца, із у ўсіх жыл, із у ўсіх палусустаў, штоба раб божи балець перастаў» [4, № 707]. Во втором примере имеет место семантическое отрицание, его формальным носителем является глагол *высылаю*, значение которого можно расшифровать как «делаю так, чтобы тебя не было (в перечисленных локусах)». Другой способ уничтожения — отрицание времени, т. е. как бы вытеснение злой силы из временной структуры бытия: «...і на гэту пару вячэрнай і утрэннай зары не бываць ні маладзіком, ні сходам» [4, № 741]; «Ідзіце, кароўкіны ўроцы, на мхі, на балоты, на ніцыя лозы каменне гладаць і вадү хлібаць, каб у кароўкі ўроцам не бываць ні ў маладзіку, ні ў віташку, ні ў круглым гадку. Уроцы, уроцы, гарыце на агні. Амін.» [4, № 702].

Подобные формулы отрицания-уничтожения создают как бы отрицательную рамку всего текста. Абсолютный характер отрицания подчеркивается часто употребительными в заговорах и заклинаниях перечислительными конструкциями, которые представляют собой не что иное, как развернутые перечни, соответствующие по своей совокупной семантике абсолютным отрицательным словам *нигде, никогда, никакой, никто*. В белорусском заговоре «от сглаза» содержатся такие перечни самого разного свойства — цветовые, локативные, семейно-родовые, временные, астрономические, анатомические, зоологические и т. п.: «Царыца-вадзіца, ... абмой і ісцалі рабу гэту нядужнаю — ад першага вока аднавокага, і ад карага, і ад ярага, і ад белага і ад шерага, ад стрэчнага, ад пулярэчнага, ад падзіўнага і пасьмешнага, ад падумнага і пагляднага, ад прыгаворнага і наброднага; ...ад вадзянога і сухавейнага, ... і светавога, і агнявога, і гаравога, і палявога; ці схода, ці маладзіка, ці падпоўня; ад часіны, ад хвіліны, і дзённага, і ночнага, і ранняга, і вячэрняга, і паўночнага, і паўдзённага; ... ці панскага, ці цыганскага, ці дякоўскага, ці жыдоўскага; ці мушчынскага пад вяном, ці хлапецкага пад шапачкай, ці дзявоцкага пад завіткай, ці ўдовіна, ці ўдаўцова, ці дзядава, ці бабіна, ці маткіна, ці братава, ці сястрына, ці дзядзькіна, ці цёткіна, ці ад старых старыкоў, ад старых старушак, ад ведзьмінскіх і чараўніцкіх... Выходзіця вы, зглаз-уроки, з раба гэтага нядужнага, з буйнай галавы, з белага ліца, з ясных вачэй, з чорных бравей, з слухавых вушэй, з беявых наздрэй, з рацівага сэрца, з сільнага жывота, з чорнай печані, з балага лёгкага, з пальчыкаў, з сустаўчыкаў, з русых кос...» [4, № 872]. Такого рода конкретные «индуктивные» перечни, вероятно, обладают большей магической силой отрицания-уничтожения, чем соответствующие «абсолютные» слова и выражения; именно они служат гарантией полного устранения опасности. Вместо «индуктивных» перечней могут употребляться в тех же контекстах эквивалентные им по содержанию двучленные антитетические конструкции типа «суженый и не суженый», «горы и доли», «живое и мертвое», сербск. «знамо и незнамо», «венчано и невенчано» и т. п.

Вторая функция отрицания в заговорах и подобных им сакральных текстах — обозначение «того света». Здесь уже нет отрицания-уничтожения, но есть отрицание как знак «обратности». Все, что характерно для земного мира, мира жизни, имеет свой отрицательный, обратный коррелят в мире потустороннем, который фигурирует в заговорах и заклинаниях как локус, куда изгоняются болезни и прочие злые силы. Способ их обезвреживания в данном случае состоит в том, что они локализируются в мире «со знаком минус», не соприкасающемся с земным миром. Стандартные признаки иного мира — небытие, неявление, недействие, нелокусы, невремя и т. д. В сербском заговоре градовая туча отсылается «в пустую гору Галилею, где солнце не светит, где дождь не идет, где ветер не дует, где нет детишек, нет скотинки, нет козлят, нет ягнят, нет поросят и т. д.» [5, № 605], а демонические существа «бабицы», вредящие роженицам и новорожденным, изгоняются на мифическую «Калевскую гору», где не только нет признаков земной жизни («петухи не поют, люди не гомонят, дети не плачут, козы не блеют»), но и нарушены, «перевернуты» все установления человеческого бытия: «там девушка от брата ребенка родила, без попа его крестила, без мира его миром помазала, без повойника повила» [5, № 134]. В белорусском заговоре от бешенства тот свет описывается так: «Я тебе хлеб нагавару од шалёнага собакі і кусакі. І шалёных сабак зганю я за шчырыя бары, за цёмныя лясы, за мхі, за балоты, за гнілыя калоды і за лютыя воды, а дзе людзі ня ходзяць і зьверы ня бегаюць, і пціцы ня лятаюць; там ня слышна ні кароўскага рыку, ні пяхуовага крыку — там ім прападаць, шалёным сабакам і кусакам, і назад не ўзварачацца» [4, № 432]. В другом подобном заговоре тот свет — это мир, где «і сонца не грэець, і месяц не свеціць, і зьвёзды не глядзяць» [4, № 443]. Но чаще всего встречаются описания того света как места, лишённого звуков жизни, молчашего, немого, «где петух не кукарекает, где собака не лает, где кошка не мяучет, где коровы и быки не мычат, где овцы не блеют, где церкви нет, и колокольного звона не слышно» [5, № 94].

Отрицательные перечни, создающие образ иного мира, могут быть более или менее подробными; возможны и обобщенные формулы типа сербской «Иди туда (на галилейскую реку), где церкви нет, где попы не читают... где нигде ничего нет» [5, № 102, то же № 606]. Часто используется также имплицитное, семантическое отрицание, содержащееся в таких характеристиках, как молчание, пустота, неподвижность.

Еще одна, третья, функция отрицания обнаруживается в формулах, которые можно назвать «формулами отречения». Это очень типичная для заговоров и заклинаний фигура, которая связана с коммуникативными особенностями сакральных текстов, а именно с тем, что отправитель этих текстов, т. е. лицо, произносящее заговор, не является и не считает себя автором текста и даже настоящим его исполнителем (так же, как не считает себя «автором» сопровождающего текст магического действия). Знахарь, шептун хорошо сознает свою заместительную, посредническую роль между неким высшим божеством или потусторонней силой и своим пациентом, с одной стороны, и тем злом, которое он изгоняет, с другой. Многие восточнославянские заговоры кончаются формулой типа украинск. «Не я говорю, сам Господь говорить: я з словами, а Бог с помоччю» [6, № 8350] или «Баба з річчю, Бог з помоччю» [6, № 801]. Аналогичные концовки имеются и в белорусских заговорах: «Баба з рачамі, а Гасподзь Бог з помаччу; не я знаю — Гасподзь зная, маць Прачыстая святым сваім духам падыхая, на стану сустаўляя» [4, № 801]. Не только слова, но и сопровождающие их действия приписываются Богу: полесска. «Нэ сама я прыступаю, а сам Господь прыступае, бородывочки забирае, расилае по мохах, по болотах, по пушчах, по нэтрах, на шырокі стэп, на сухі дуб» [7]; «Не я зачэрчаю, не я загаварую — зачэрчая, загаваруя сам Господзь Бог Ісус Хрыстос і Прасвятая маці Багародзіца са ўсімі святымі ангаламі і архангаламі; яна зачэрчая і загаваруя і ўсіх пад зубамі чарвякоў у раба божыя вымарывая» [4, № 597]; «Не я гавару — Гасподзь, не мая

сила — гасподня, не мой дух, а гасподні» [4, № 906]. То же в польском заговоре: «Nie swoją mocą, tylko Boską mocą, Najświętszej Panny i wszystkich świętych pomocą» [8, С. 274]. Кроме Бога и Богородицы, истинным целителем и спасителем может быть святой: «Не сама собою помогаюсь — св. Михайлом-Рахайлом, Божим угодничком, помощничком. Помоги, пособи!» [9]. Наконец, целителем может быть и мифический персонаж, как бабушка Соломонида в русском заговоре от бессонницы: «Парю-парю рев-полуношницу. Не я тебя жарю, не я тебя парю; парит, жарит бабушка Соломонида с лёгкими руками, с добрыми делами, на сон, на угомон, на доброе здоровье» [10].

Это отречение от своих действий и слов и передача их чаще всего Богу, но также и Богородице, реже — святым, нередко поддерживается начальными формулами обращения к Богу за помощью в деле заговаривания, например, «Господы мылостывый! Поможы мени, Матерь Божа, од нежду (грудницы) шептаты...». Затем идет обращение к самой болезни: «Неждыде-неждыдище! и витряный, и прозирный, и часовой, и минутный, и хлопьячий, и дивчачый, и чоловичый, и жыночый...». А далее — формула отречения: «Сам Господь вызвав и выкылав ангалив на помич посылав» [8, С. 251].

Во многих заговорах, однако, произносимые слова оставляет за собой лекарь, тогда как само действие этих слов отдается Богу или Богоматери, например, «Я з словам, а Божа маць у помачы» или «Маі словы, а божэнны дух» [4, № 684], «Я з духам, словам, а Гасподзь на помач» [4, № 899] и т. п. Богу, таким образом, отдается «дело», «думы» и иногда «дух» («не мой дух — божы» — [4, № 1196]), хотя чаще «дух» остается за исполнителем заговора: «Ад Бога помач, а мой — дух» [4, № 1096, 1097], «Гасподня помач, а я з сваім духам» [4, № 1207, 1209], «Ад Госпада Бога помач, а ад мене дух лёгкі» [4, № 925] и т. п.

«Формулы отречения» характерны не только для заговоров, но и для обрядовых приговоров и ритуальных диалогов, причем верховным субъектом совершаемых действий оказывается в них не только Бог, Богородица, святые, но и сакральные предметы, символизирующие магическую силу. В Полесье в рождественский сочельник хозяин брал миску с кутьей, выходил во двор, обходил хату и стучал в стену. Из хаты спрашивали, кто там. Он отвечал: «Сам Бог». В другом полесском селе хозяйка спрашивала из хаты: «Хто там стукае?», а хозяин отвечал со двора: «Сам Бог стукуняе». Этот тип диалога с «отречением» известен и в других районах Белоруссии и Украины. У русинов Пряшевщины хозяин в доме стучал плугом и бороной, а хозяйка из чулана спрашивала: «Хто там дуркоче?» Хозяин отвечал: «Сам пан Бог вечерати хоче». В этих ритуалах инсценируется приход на рождественскую трапезу Бога (которого нередко приглашают на ужин специальными формулами; см. [11]), подобно тому как в заговорах инсценируется божественное лечение. Кроме того, в этой апелляции к Богу можно видеть способ сакрализации всей обрядовой ситуации. Так же, вероятно, можно трактовать и случаи «отречения» в пользу предметов. Широко известен приговор, произносимый в Вербное воскресенье при ритуальном бытье освященной веткой вербы, ср. полесск. «Не я бью, верба бье. За тыждень Великдень. Будь здорова, як вода, расти, як верба». На Псковщине при отправлении свата к невесте его били поясом со словами: «Не я бью, удача бьет!» [12]. В подобных случаях очевидно желание сакрализовать действие битья и сообщить ему желаемую силу воздействия на объект.

Наконец, четвертая функция отрицания — быть знаком черной магии. Так, в целях порчи произносят молитву «Отче наш», добавляя к каждому слову отрицание» «Не отче, не наш и т. д.». Точно так же стандартному зачину русских заговоров «Стану я, раб божий (имярек), благословясь, пойду перекрестясь, из избы дверями, из двора воротами, выйду в чистое поле...» соответствует анти-зачин с отрицанием: «Стану... не благословясь, пойду, не перекрестясь, из избы не дверьми, из двора не воротами и т. д.». В известной книге Гальковского приводится следующий любопытный текст завещания отца сыну (XVIII в.) с предостережением против обращения к волхвам и шептунам и с упоминанием

«отрицательного письма»: «Аще, сыне мой, найдет на тя какая беда или болезнь тяжка, не моги ты призывать к себе какова колдуна или шептуна, дьявольскою силою помогающаго. И аще от таковых станет ти что давати ясти или пити, отнюдь не приеми. Или кто от какия-либо болезни, а наипаче от трясовичныя, напишет какое отрицательное письмо и велит тебе съести, аще и сожженное, отнюдь не яждь» [13].

Таким образом, отрицание в сакральных текстах можно считать магическим приемом, разновидностью «языковой магии» (ср. также этимологическую магию [14]; табуирование, магию имени и именованья и др.), используемой при контактах с нечистой силой и потусторонним миром в защитных целях. Этим языковым магическим приемом в акциональном коде культуры соответствуют ритуальные действия по символическому уничтожению или изгнанию нечистой силы (путем сжигания, потопления, разрывания на части и т. п. символизирующих ее предметов). Отрицанию придается также смысл «обратности», оно становится маркером потустороннего мира, и в этом своем значении оно находит параллель в магических действиях по переворачиванию предметов [15].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Antas J.* O mechanizmach negowania. Wybrane semantyczne i pragmatyczne aspekty negacji. Kraków, 1991.
2. *Толстой Н. И.* Мифологизация грамматического рода в славянских народных верованиях//Историческая лингвистика и типология. М., 1991. С. 91—98.
3. *Топорков А. Л.* Из наблюдений над функциями категории рода в этнодиалектных текстах//Славянский и балканский фольклор. Вып. 7. Верования. Текст. Ритуал. М., 1993.
4. *Замовы.* Мінск, 1992. Серия «Беларуская народная творчасць».
5. *Раденковић Љ.* Народне басме и бајања. Ниш, Приштина, Крагујевац, 1982.
6. *Номис М.* Українські приказки, прислів'я і таке інше. СПб, 1864.
7. *Полесский архив Института славяноведения и балканистики РАН, М.*
8. *Ветухов А.* Заговоры, заклинания, обереги и другие виды народного врачевания, основанные на вере в силу слова. (Из истории мысли)//Русский филологический вестник. Варшава, 1906. Т. 55.
9. *Романов Е. Р.* Белорусский сборник. Вып. 5. Заговоры, апокрифы и духовные стихи. Витебск, 1891. С. 15.
10. *На путях из земли Пермской в Сибирь.* М., 1989. С. 284.
11. *Виноградова Л. Н., Толстая С. М.* Ритуальные приглашения мифологических персонажей на рождественский ужин: формула и обряд//Малые формы фольклора. М., 1994. С. 166—197.
12. *Морозов И. А., Толстой Н. И.* Бить//Славянские древности. Этнолингвистический словарь/Под ред. Н. И. Толстого. М., 1995. Т. 1. А — Г. С. 177—180.
13. *Гальковский Н. М.* Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Харьков, 1916. Т. 1. С. 247.
14. *Толстой Н. И., Толстая С. М.* Народная этимология и структура славянского ритуального текста//Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988. С. 250—264.
15. *Толстой Н. И.* Переворачивание предметов в славянском погребальном обряде//Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Погребальный обряд. М., 1990. С. 119—128.



© 1996 г. ПЕТРУХИН В. Я.

ДРЕВНЕРУССКОЕ ДВОЕВЕРИЕ: ПОНЯТИЕ И ФЕНОМЕН

Термин «двоеверие» традиционно употребляется в современной науке для обозначения «синкретического» мировоззрения русского средневековья, сочетающего христианскую идеологию с пережитками язычества. Сам по себе этот «синкретизм» не представляет собой ничего специфически «древнерусского»: достаточно сравнить данные о борьбе с «язычеством», относящиеся к эпохе христианизации варварской Европы, приводимые в работах А. Я. Гуревича [1. С. 109 и сл.; 2. С. 43 и сл.], с этнографическим описанием календарных обычаев народов той же Европы в XIX — начале XX в. [3], чтобы убедиться не только в типологическом сходстве «пережитков» язычества у восточных славян и других европейских народов, сохранявшемся на протяжении тысячелетней истории христианства, но и усмотреть в этих пережитках единые — античные и даже древнеевропейские истоки. Проблема заключается в том, насколько адекватно сам термин может отражать «раздвоенность» древнерусской культуры, и существовало ли, наряду с христианским, «языческое мировоззрение русского средневековья» (по формулировке Б. А. Рыбакова)?

Этой проблеме в разных ее аспектах посвящены статьи двух историков русской культуры — филолога В. М. Живова [4] и археолога А. В. Чернецова [5]. В определенном смысле эти статьи дополняют одна другую: Чернецова интересует, прежде всего, реальность внехристианского культурного комплекса в мировоззрении и материальной культуре русского средневековья, Живова — реальность «дуализма» древнерусской культуры, степень ее отличия от западноевропейской культуры, для которой календарные действия не были кощунственными и не требовали церковного покаяния, как на Руси [4. С. 53].

На первый взгляд, эта дуальность вполне очевидна; в приводимом А. В. Чернецовым примере двоеверия новгородский архиепископ Геннадий обличает в послании 1488 г. попа и дьяка, которые дали некоему крестьянину крест-тельник из «древа плакун» с изображением половых органов — от этого амулета крестьянин зачах. Однако «двоеверия» здесь не больше, чем в обычаях снимать крест или не совершать христианские обряды («не благословясь — не перекрестясь») при произнесении заговоров и т. п. — речь, скорее, должна идти об «антиповедении» в рамках единой и вполне христианской культуры. Проблема заключается в том, насколько «кощунственным» осознавали свое поведение те, кто изготавливал амулет — наверняка и поп, и дьяк считали себя столь же добрыми христианами, как и те священники, что принимали участие в календарных обрядах русских крестьян нового времени (ср. [4, С. 52; 6. С. 300—303]). Другое дело — книжник Геннадий, который повсюду усматривал гнездящуюся ересь и преследовал ее

Петрухин Владимир Яковлевич — д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

методами испанской инквизиции (включая и религиозные наветы): но и тот обличал создателей амулета как еретиков, но не как язычников или двоеверцев.

Здесь уместно напомнить, что сам термин «двоеверие», книжный по происхождению, первоначально не означал христиан, сохраняющих языческие обряды. Он был употреблен в поучении Феодосия Печерского — «Слове о вере христианской и латинской» (1069) — в отношении христиан, которые колебались в выборе между греческим и латинским обрядами [7]; эти различия ощущались чрезвычайно остро в древнерусской книжности в первые десятилетия после схизмы [8]. Очевидно, однако, что это значение термин «двоеверец» сохранял на протяжении всей средневековой эпохи: ср. запрет носить детей на молитву к «варяжскому (фрязскому) попу» — вести себя «аки двоверци» — в памятниках XVI в. [9. С. 184]. Вероятно, термин восходит к кормчим книгам и представляет собой кальку с греческого [10. С. 112].

Понятие «двоеверие» связывается с собственно идолопоклонством в другом древнерусском поучении — «Слове некоего христороубца и ревнителя по правой вере». Его исследователь Е. В. Аничков [б. С. 127—138] предполагал, что первая редакция «Слова» составлена в середине XI в., правда, без специальных текстологических аргументов. Вместе с тем существенно, что в первоначальной редакции «двоеверно живущими» объявляются «попы и книжники», не соблюдающие церковных предписаний, прежде всего, касающихся трапезы. Здесь нет еще речи ни о язычестве, ни об иноверии «двоеверцев». Они оказываются слугами «бесов» и «кумиров» как нарушители канона, в соответствии с духом апостольских посланий, цитируемых в «Слове» (в «идолослужении» обвинялись и исполнители традиционных свадебных обрядов и т. п.) [б. С. 102, 266]. Зато во вставках редактора безымянные кумиры получают имена древнерусских языческих богов: двоеверцы «веруют в Перуна, и в Хърса и в Сима, и в Ръгла, и в Мокошь, и в вилы» [б. С. 374]. Список богов воспроизводит в усеченном виде летописный перечень божеств Владимирова пантеона: князь поставил в Киеве «Перуна [...] и Хърса, Дажьбога, и Стрибога и Симарьгла, и Мокошь» [11. С. 56], причем летописный *Симарьгл* в «Слове» раздвоился на *Сима* и *Ръгла*¹. Эта вставка не могла появиться ранее начала XII в. — времени составления Повести временных лет: не ранее этого времени и термин «двоеверие» обретает свое «языческое» содержание. Но и это содержание имеет чисто книжный характер — форму глоссы, комментария к основному тексту. Едва ли при этом редактор действительно имел в виду, что «попы и книжники» продолжают верить в языческих богов.

Вместе с тем подобные конструкции стали характерны для древнерусской книжности: в поучениях латыняне и двоеверцы объявлялись врагами истинной веры худшими, чем еретики, иудеи и язычники (эллины), их культы приравнивались к религиям прочих иноверцев. Отсюда возникает некоторый синкретический образ «чужой веры» вообще. Древнерусские книжники могут говорить о «Хорсе-жидовине» и «еллинском старце Перуне» [13. С. 227]. Естественно, такие конструкции далеки от реалий древнерусской жизни (ср. [14]). Насколько реальным был конфликт двух вер, действительно ли «страна, где вспыхивали мятежи волхвов, а в княжеской среде в течение веков сохранялся культ рода и земли, долгое время сверху донизу была двоеверной» [15. С. 223]?

Действительно, события первого века истории христианства на Руси, казалось бы, демонстрируют очевидность конфликта двух религий — старой и новой, язычества и христианства. Яркий пример тому — появление волхва в Новгороде и восстание волхвов в Ростовской и Белоозерской землях в 1071 г. В Новгороде прельщенный волхвом народ хотел убить епископа — церковного иерарха поддержали лишь князь Глеб и дружина, все же «люди» стали на сторону волхва. В Ростове и Белоозере, на периферии Древнерусского государства, во время неурожая волхвы возмущали народ, обвиняя «лучших жен» в том, что они

¹ Эта зависимость «Слова христороубца» от летописи не учитывается в последней работе, посвященной Симарглу [12].

прячут снедь, и при помощи магических действий демонстрировали спрятанное восставшим. Летописец приписывал их магическую власть — как и власть других волхвов — помощи бесов [11. С. 116 и сл.], расправившийся с волхвами воевода Янь Вышатич разоблачил их как служителей сатаны. Этот конфликт, однако, происходил в экстремальных условиях² — насколько конфликтными были отношения государства и народа в период христианизации?

Конечно, летописное повествование о том, что киевляне с радостью принимали крещение в 988 г., противоречит другим, более привычным для историка сообщениям о крещении огнем и мечом, и даже последующему тексту Нестора о плаче, которым сопровождали новообращенные своих детей, отправляемых на учение китам. И вместе с тем, разительные перемены в древнерусской культуре XI в. свидетельствуют о том, что ситуацию конфликта старой и новой веры нельзя понимать упрощенно, как конфликт новой государственной идеологии и традиционной народной культуры.

Прежде всего, следует учитывать массовый археологический материал, свидетельствующий о необратимых переменах в духовной культуре всего населения Древней Руси. На рубеже X и XI вв. обычай кремации умерших повсюду сменяется обрядом ингумации. Эти перемены затрагивают не только городские некрополи, где языческий обряд погребения под курганом исчезает сразу после крещения, но и сельскую глубинку, где курганный обряд сохраняется, но умерших уже хоронят, а не сжигают. Показательно, что «правильный» христианский обряд — ингумация в могильных ямах головой на запад — распространяется в первую очередь в пределах Русской земли в узком смысле — княжеском домене в Среднем Поднепровье, с центрами в Киеве, Чернигове и Переяславле, там, где возникли в XI в. первые русские митрополии. В других районах христианизация обряда была замедленной — сначала умерших стали хоронить не в могилах, а на поверхности земли («на горизонте») под курганами: с XII в. распространяется обряд погребения в могильных ямах, а к концу этого столетия начинают исчезать курганные насыпи.

Такая эволюция обряда — важнейшее свидетельство того, что христианские идеи, связанные с представлениями о посмертном будущем и спасении души распространяются среди населения древней Руси не насильственным путем. В меньшей степени христианизация затрагивала общинные обряды — календарные и семейные, связанные с «посюсторонним» бытием [17]: эти обряды — «пиры и игрища» — и были главным «предметом обличения» в древнерусских поучениях против язычества и были основанием для обвинения в «идолопоклонстве» и двоеверии [6].

Е. В. Аничков усматривал в основе этих культов «сельскохозяйственную религию, обращающуюся непосредственно к стихиям, т. е. к самой природе»: «боги тут не при чем» [6. С. 299]. В современной культурной антропологии таким образом различаются магия и религия: «религия — форма очеловечения мира, придания ему антропоморфных черт и свойств: религия связана с „олицетворением“ этих признаков и наделянием ими божеств. Магия же — как бы „оприродивание“ человека, который в себе обнаруживает качества всего остального мира и воспринимает себя как органическую его частицу» [1. С. 163]. «Магическое» и «религиозное» отношение к миру взаимно дополняли друг друга во всякой традиционной культуре. Теистические религии отделяли себя от всякого рода «магизма», приравнивая к нему любое «иноверие»: «латинские» обряды для Феодосия были сродни идолопоклонству (поклонению небу и земле). Термин «двоеверие» оказывался, таким образом, включенным в систему противопоставления «истинной веры» и иноверию, и традиционной магии — систему, свойственную «религиозному ригоризму» древнерусских книжников [4. С. 55].

² Опасность этих экстремальных условий для процесса христианизации осознавали уже первые деятели русской церкви. Ср. «Молитву» митрополита Илариона: «Не попускай на ны скорби, и глада, и напрасных смертей [...]. Да не отпадут от веры нетвердии верою» [16. С. 597; ср. 6. С. 121, 306].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981.
2. Гуревич А. Я. Средневековый мир: Культура безмолвствующего большинства. М., 1990.
3. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы/Под ред. С. А. Токарева. М., 1973—1983.
4. Живов В. М. Двоеверие и особый характер русской культурной истории//*Philologia slavica*. К 70-летию академика Н. И. Толстого. М., 1993. С. 50—59.
5. Чернецов А. В. Двоеверие: Мираж или реальность?//Живая старина. 1994. № 4. С. 16—19.
6. Аничков Е. В. Язычество и древняя Русь. СПб., 1914.
7. Поньрко Н. В. Эпистолярное наследие древней Руси. XI—XIII. СПб., 1992. С. 16—18.
8. Живов В. М. *Slavia Christiana* и историко-культурный контекст «Сказания о русской грамоте»//Русская духовная культура/Под ред. Луиджи Магоротто и Даниелы Рицци. Тренто, 1992. С. 71—126.
9. Словарь русского языка XI—XVII в. М., 1977. Т. 4.
10. Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.). М., 1990. Т. 3.
11. Повесть временных лет. М.; Л., 1950. Ч. 1.
12. Вишняк К. Т. Из исследований праславянской религии. 1: новгородское *Ръгль* и ведийское *Rudra*//Этимология, 1991—1993. М., 1994. С. 23—31.
13. Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века)//Успенский Б. А. Избранные труды. М., 1994. Т. 1. С. 219—253.
14. Васильев М. А. «Хорс жидовин»: древнерусское божество в контексте проблем *Khazago-Slavica*//Славяноведение. 1995. № 2. С. 12—21.
15. Прохоров Г. М. Внутренняя динамика древнерусской культуры или Надсознание Древней Руси//Русская духовная культура. С. 211—232.
16. Митрополит Иларион. Слово о законе и благодати//ПЛДР. XVII в. М., 1994. Кн. 3.
17. Петрухин В. Я. Начало этнокультурной истории Руси. М., 1995.



© 1996 г. ГИППИУС А.А.

**"РУССКАЯ ПРАВДА" И "ВОПРОШАНИЕ КИРИКА"
В НОВГОРОДСКОЙ КОРМЧЕЙ 1282 г.
(К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ
ДРЕВНЕГО НОВГОРОДА)**

Из оригинальных древнерусских памятников, входящих в состав Новгородской Кормчей 1282 г.¹ (ГИМ, Син.132, далее — НК) наиболее исследована в языковом отношении "Русская правда" (далее — РП). Доступный в фототипическом воспроизведении [2] и лингвистическом издании Е.Ф.Карского [3], древнейший список РП неоднократно становился предметом монографического описания [3, 4, 5], а в специальных работах по истории русского языка он всегда цитируется именно как текст "Русской правды", не смешиваясь с другими текстами НК. Особое внимание лингвистов именно к РП вполне понятно и объясняется ее исключительностью как памятника, в котором восточнославянская языковая стихия выступает в относительно чистом виде, за небольшими исключениями свободном от церковнославянизмов. В этом качестве РП неоднократно сопоставлялась с переводными юридическими памятниками, в частности — в пределах самой НК — с "Законом судным людям" [6 — 9]. Сопоставление это оказалось весьма плодотворным, наглядно продемонстрировав сосуществование в Древней Руси двух последовательно противопоставленных традиций языка права — собственно древнерусской, восходящей к дохристианской эпохе, и церковнославянской, усвоенной с переводами византийской юридической литературы.

Настоящая статья посвящена сопоставлению РП с другим ее "соседом" по НК — "Вопрошанием Кирика" (далее — ВК)². Памятник этот, в отличие от РП, не особенно избалован вниманием исследователей. Хотя значение ВК как источника по истории русского языка хорошо известно, оно до сих остается лингвистически не изданным, а многочисленные

Гиппиус Алексей Алексеевич — научный сотрудник ИСБ РАН

¹ Точная датировка рукописи остается проблематичной, предлагались и другие варианты: 1276—1280 гг., 1280—1281 гг., 1284—1291 гг. (см. обзор проблемы: [1. С.223—224]).

² В НК и других списках памятник озаглавлен: *Се мсть въпрашаниа Кюрнкова же въпраша кп(с)па новгородско (так!) Нифонта и ннѣхъ* (л.518). Далее текст ВК цитируется по рукописи, но с указанием номера статьи согласно разделению текста в издании А.С.Павлова [9]. Буквы К,С,И при номере статьи отсылают соответственно к трем частям памятника — вопросам Кирика, Саввы и Ильи.

примеры из него нередко скрываются в литературе под обезличивающей ссылкой на НК в целом.

Напомним в общем виде содержание памятника. Вопреки названию, ВК представляет собой в действительности результат соединения нескольких текстов, принадлежащих разным авторам, но объединенных общим происхождением, тематикой и композицией. Основу памятника составили беседы на темы канонического права, ведшиеся среди новгородского духовенства во второй четверти XII в. Три новгородских священника — Кирик, Савва и Илья — обращались по затруднявшим их вопросам пастырской практики к архиепископу Нифонту (1130—1156) и другим авторитетным иерархам и, получая от них ответы, записывали их.

Из русских памятников НК ВК лингвистически наиболее близко РП. Близость эта определяется как относительно незначительным содержанием церковнославянизмов в языке ВК, так и присутствием в обоих памятниках большего, по сравнению со всеми остальными текстами НК, числа диалектных древненовгородских черт. Очевидны и различия: язык РП может быть, вслед за А.А.Зализняком [10] определен как "стандартный древнерусский" с незначительной примесью диалектного и церковнославянского элемента; ВК же демонстрирует один из наиболее ярких образцов списанного В.М.Живовым [11] "гибридного церковнославянского" с его характерным механизмом "пересчета" не книжных элементов в книжные по ограниченному набору релевантных признаков.

Распространенное в литературе (см. особенно [12, 13]) представление языковой ситуации Древней Руси в виде единого лингвофункционального континуума, простирающегося между двумя полюсами — восточнославянскими диалектами и церковнославянским языком канонических богослужебных текстов, предполагает трактовку "стандартного древнерусского" и "гибридного церковнославянского" как смежных идиомов, следующих друг за другом ступеней в иерархии уровней языковой коммуникации. Как мы постараемся показать, сопоставляя РП и ВК, соотношение этих форм письменного языка в средневековом Новгороде было в действительности более сложным. За их внешней близостью скрывается глубокое различие и даже, в известном смысле — противоположность. Хотя это соотношение так или иначе проявляется на всех языковых уровнях, мы ограничим свое сопоставление выборочным анализом морфологических данных, как наиболее обозримых в рамках небольшой статьи и одновременно достаточно показательных в плане общей характеристики языка двух памятников.

Лингвистическая характеристика любого текста, написанного или переписанного в Новгороде, предполагает рассмотрение его в двойной перспективе: в плане соотношения противопоставленных церковнославянских и общедревнерусских черт, с одной стороны, и диалектных древненовгородских и "стандартных" древнерусских — с другой. Соотношение наших памятников в первом из этих аспектов достаточно очевидно. В морфологии ВК церковнославянские элементы составляют довольно значительный пласт, хотя и выступают почти всегда наряду с противопоставленными древнерусскими. В основном такое варьирование наблюдается там, где морфологическая с синхронной точки зрения оппозиция имеет фонетические корни, обусловливаясь различной рефлексацией в южно- и восточнославянских диалектах одних и тех же праславянских сочетаний. Из морфологических и морфонологических церковнославянизмов этого круга в ВК представлены:

- 1) формы именного, местоименного и адъективного склонения на-а,

противопоставленные др.-рус. формам на *-ѣ* и инновациям на *-и* (в именном склонении 6 форм на *-а* при 26 на *-ѣ* и *-и*: до земла К9, стна (Р.ед.) К61, не(д)ла (Р.ед.) К57, бца (Р.ед.)К97, птица (Р.ед. притяжат. прилагательного) К86, шпитеьма (Р.ед.) И5; в местоименном и адъективном склонениях соотношение в пользу цсл. форм — 18:11);

2) формы действительных причастий с суффиксами *-ущ*, *-ищ* 18 при 34 формах с суффиксами *-уч*, *-ищ*, причем имеет место следующее распределение: цсл. суффиксы закреплены за полными причастиями и косвенными падежами кратких (волащеюу, волащам К44, спашоу К50, слоужаща К66, всего 14 из 18 примеров), тогда как формы именительного падежа (фактически — деепричастия) выступают в др.-рус. оформлении);

3) инфинитивы на *-ци*: (на)рѣци К3, К94, пострици(са) К8 (2х), леци К78, въврѣци К78 (при 9 др.-рус. формах на *-чи*);

4) чередование *т* с *щ* в формах глагола *хотѣти*: (въс)хоцѣть К10, 29, С18, 22(2х), И13, 20(2х) (др.-рус. формы отсутствуют);

5) форма им. падежа личного местоимения 1-го лица *азъ* (К12, 18, 51, 87, С18, при только одном *азъ* К50).

Из собственно морфологических церковнославянизмов, бывших таковыми уже в раннедревнерусскую эпоху, можно назвать форму местоимения в *сѣѣ* (местн.) К6, безличное отрицание *нѣсть* (К59, 65, И20 при более обычном *нѣтоу(ть)* К1, 47, 49, 58, 59 и др., всего 21 раз) и архаические формы действительных причастий прошедшего времени от глаголов на *-и* (*осквѣрньшюся* К2, *створша* К5, *схраншмъ* К30, *рожши* К42, *осквѣрньшимъса* К46, при семи формах с суффиксом *-и*: *коупивъ* К3, *молвивше* К4, *творивъ* К58, *поустивъше* К8, *поустивъ* 82, *родивъши* С2, *разломивъше* И12)³.

Что же касается противопоставлений между древнерусским и церковнославянским в области грамматических категорий, то их состав в раннеписьменную эпоху остается предметом дискуссий. По этой причине не будем сейчас касаться статуса простых претеритов в языке ВК, требующего специального анализа. Более или менее надежно к грамматическим церковнославянизмам ВК можно отнести лишь формы косвенных падежей действительных причастий.

Церковнославянские черты в морфологии древнейшего списка РП, как известно, единичны и на общем фоне смотрятся исключениями. Фактически они исчерпываются тремя неоднократно приводившимися примерами: *без всякоа свадьбы* 616, *свободнааго* 621, *азъ* 625⁴. Примеры эти, однако, заслуживают некоторого комментария, так как демонстрируют три совершенно разные возможности проникновения в текст, в целом выдержанный в одном языковом ключе, генетически инородных элементов. Наиболее тривиальный случай представляет нестяженное окончание *-ааго*, которое можно рассматривать как случайно сорвавшееся с пера писца,

³ Тот факт, что архаические формы явно тяготеют к косвенным падежам, то есть ведут себя подобно формам на *-ущ*, *-ищ*, подтверждает правомерность трактовки их в языке эпохи создания оригинала ВК как церковнославянизмов.

⁴ А.М.Селищев [5. С. 131] относил к числу церковнославянизмов РП также старые членные формы прилагательных на *-аго*, *-ѣи*, *-ѣмь*. Однако за последние годы представление о статусе этих форм в древнерусскую эпоху изменилось, так как выяснилось, что в древненовгородском диалекте они сохранялись, по крайней мере, до начала XIII в. (см.: [14. С.220–224]). Следует полагать, что и "стандартному" варианту древнерусского языка XI–XII вв. эти формы были в какой-то мере свойственны (см.: [15]).

набившего руку в переписке церковной книжности⁵. Кажется между тем далеко не случайным, что в Р.ед.жен. местоименного склонения цсл. флексия выступает там, где окончание пришлось на перенос: *всако|а*. Во всех остальных случаях (см. примеры ниже) односложную флексию *-ои* находим в середине строки. Употребив ее и в данном случае, писец вынужден был бы перенести на новую строку одиночное *и*, не обозначающее слога. Между тем, использовав двусложную цсл. флексию, он получил возможность перенести слово по всем правилам⁶. Здесь, таким образом, цсл. форма вполне закономерна, но, появляясь в тексте в силу чисто технических причин, она целиком принадлежит его графической оболочке.

Иначе – с третьим примером. Цсл. форму местоимения находим в статье 85, регламентирующей порядок использования холопа в качестве свидетеля. Допустимое лишь в крайнем случае, такое использование должно сопровождаться произнесением истцом следующей фразы, обращенной к обвиняемому и декларирующей, что подлинным субъектом обвинения является не холоп, а сам истец: *по сего речн кмлю тѧ, нъ азъ кмлю тѧ, а не холопъ* ("по показаниям этого (холопа) я обвиняю тебя. Но это я обвиняю тебя, а не холоп"). На *азъ* в данном случае падает логическое ударение, и цсл. форма явно призвана подчеркнуть противопоставление *я - холоп*. Вся фраза представляет собой перформативный речевой акт, и в этом отношении употребление *азъ* здесь перекликается с его использованием в формуле *се азъ...* древнерусских грамот (ср. "это я..." в переводе). Такая функциональная нагрузка книжной формы возможна лишь в языке, в целом свободном от церковнославянизмов; следовательно, и этот факт лишь оттеняет общий характер языка древнейшего списка РП. Ср. вполне нейтральное использование той же формы в ВК: *а дроугымъ азъ вороню К12, азъ же слышахъ, идохъ к нему...* К51 и др.

Из противопоставленных диалектных древненовгородских и стандартных древнерусских форм рассмотрим следующие явления: 1) оппозицию флексий *-е/-ъ* в им.ед *о*-основ, 2) оппозиции флексий *-ѣ* / *-ы* в твердом и *-ѣ* / *-и* в мягком вариантах *а*- и *о*-склонений, 3) оппозицию односложной и двусложной флексий Р.ед.жен. членных прилагательных и местоимений. В каждом из этих пунктов соотношение двух текстов складывается по-разному.

"Флагман" древненовгородской морфологии, знаменитое *-е* в номинативе *о*-склонения, представлено в ВК несколькими примерами. Принятые за описки издателем памятника А.С.Павловым, три таких примера были проникательно опознаны А.А.Шахматовым [17]. Два из них выступают в статье К37. На вопрос Кирика, где в настоящее время находится "крест честный" (т.е. крест, на котором был распят Иисус), Нифонт излагает предание, согласно которому крест не дошел Ц(с)рѣгра(д), *кгда обрѣтене, възнесѣся на нб(с)а*. Третий пример обнаруживается в цитируемом Кириком тексте канонического правила: *Аще кто вѣрне ксть и възвѣситъся ...* (К18).

Специального рассмотрения заслуживает еще один пример, в котором, по-видимому, выступает та же диалектная флексия. Имеем в виду словоформу *оуне* в статье С5, в публикации А.С.Павлова переданной

⁵ Писец, переписавший основную часть РП, написал и первые 200 листов рукописи, на которых нестяженные флексии встречаются достаточно часто.

⁶ Симметричный этому прием в сфере цсл. книжности представляет спорадическое использование на конце строки вост.-слав. полногласия, как более удобного для переноса [16].

следующим образом: "А штрокомъ дан крестъ цѣловати, рассмотривъ, какъ ти грѣхъ воудеть, и коуангельк , и мощи, и дороу дати, не велми Шлоучаетьса оуне причащенья " [10. С.52–53]. Как именно понимал данное место А.С.Павлов, неясно, но в любом случае при такой пунктуации последняя фраза, содержащая интересующую нас словоформу, оказывается никак не соединена с предыдущей и таким образом "повисает в воздухе". Иначе толковал данную статью И.И.Срезневский, в словаре которого она цитируется в виде следующей выдержки: *куангельк, и мощи, и дороу дати не велми Шлоучаетьса, оуне причащенья*. При этом компонент *оуне* И.И.Срезневский трактует как предлог со значением "кроме" [18. Т.3. С.1226]. С такой интерпретацией также невозможно согласиться. Во-первых, указанное значение, регулярно выражаемое в древнерусских текстах предлогом *развѣѣ*, приписывается *оуне* лишь на основании данного контекста и никакими другими примерами не поддерживается. Во-вторых, при таком членении текста, синтаксическая структура первой части фразы оказывается совершенно аномальной. Для глагола *отъшлоучатиса* словарями зафиксированы только три типа употребления: он может управлять родительным падежом без предлога или с предлогом *отъ* или вообще не иметь при себе дополнения. Предполагаемое пунктуацией И.И.Срезневского управление инфинитивом для данного глагола не засвидетельствовано.

Синтаксис статьи становится, между тем, вполне прозрачен, если сдвинуть запятую в публикации А.С.Павлова на одно слово влево, рассматривая компонент *дати* не как инфинитив, управляющий формой В.ед. *дороу* (управляющий ею глагол в действительности — *дан* в начале статьи), а как целевой союз, хорошо известный из берестяных грамот, где он встречается в основном в форме *дать*, отражающей утрату конечного гласного [19. С.161]. Такая интерпретация подтверждается чтением "особой" редакции ВК (см. о ней ниже), в которой *дати* соответствует простое *да* [20. С.4]. Последняя фраза представляет собой, следовательно, целевое придаточное: *дати не велми Шлоучаетьса оуне причащенья*. И в этом случае *оуне* не может быть трактовано как предлог: как уже говорилось при глаголе *отшлоучатиса* возможен лишь предлог *отъ*. Теоретически это могла бы быть форма компаратива *оунии*, *оуне* "лучше" ("пусть лучше не слишком отдалается от причастия"). Однако, судя по словарю Срезневского, данная лексема имела ярко выраженную книжную окраску, встречаясь в основном в южнославянских переводах с греческого, а из оригинальных древнерусских сочинений — исключительно в произведениях киевской литературной традиции, отражающих высокую степень освоения их авторами образцовых церковнославянских текстов ("Повесть временных лет", "Житие Феодосия Печерского", "Чтение о Борисе и Глебе", "Киево-Печерский патерик"). В произведениях, в меньшей степени ориентированных на канонические образцы, и в некнижных древнерусских текстах, данное значение регулярно выражается прилагательным *лоучши* и наречием *лоуче*. В самом ВК эти компаративы встречаются восемь раз (К6, 69, 77, 97, С8, 10(2х), 20); один раз находим и *оуне*, но этот единственный случай (К94) приходится на цитируемый Кириком текст церковного канона, что весьма характерно. На этом фоне видеть в *оуне* статьи С5 компаратив явно не приходится. Остается единственный выход: признать в данной словоформе диалектную форму И.ед.муж. прилагательного *оунъ* "юный". Перевод всей статьи будет в таком случае следующий: "А отрокам давай

⁷ В своем первоначальном виде этот союз встретился пока, кроме данной статьи ВК, лишь в грамоте N745, первой половины XII в.

целовать крест, смотря по тому, что за грех у него, и Евангелие, и антидор (давай), чтобы юноша не слишком удалялся от причастия". Таким образом, в рассмотренном контексте диалектный союз соседствует с диалектной флексией, что и являлось препятствием для его адекватной интерпретации.

В РП окончание И.ед. *-е* в твердом *о*-склонении отсутствует. Недавно, однако, В.Б.Крысько, реконструирующий эту флексию в древненовгородском и для мягкого варианта *о*-склонения, привел как древнейший и наиболее яркий пример этого окончания указанную в свое время Е.Ф.Карским [3. С.6], а затем основательно забытую, форму И.ед. *моуже*, выступающую в статье 29 РП: *оже придець крѣвавъ моуже* 617 об. [21]. С такой интерпретацией трудно согласиться. Во-первых, один раз написание *моуже* находим в РП в форме В.ед., где оно явно появляется в силу чисто графических причин в окружении многочисленных же: *оже кто оубьеть жююу то тѣмъ же соудомъ соудити акоже и моуже. оже воудеть виновать...* 621 об. Во-вторых, в самом начале РП представлена зеркальная ситуация: замена *ь* на *ѣ* в союзе *аже*, выступающем в близком соседстве со словоформой *моужь*: *ажь оубьеть моужь моужа* 615. Наконец, главный аргумент против морфологической интерпретации данного написания обнаруживается при обращении к рукописи, в которой приведенный текст располагается весьма необычно. Начальное *Ѡ*, как инициал, вынесено на поле. Первая строка имеет вид *жепридецькрѣвавъ*. Следующую строку писец по ошибке также начал с *же*, видимо, машинально повторив начало предыдущей строки. Чтобы исправить ошибку, слог *моу* он приписал к строке слева на поле, под инициалом *Ѡ*, случай, уникальный во всем списке. Написание *моуже*, таким образом, возникло из-за недосмотра писца, и видеть в нем морфологический новгородизм нет никаких оснований. Можно утверждать, следовательно, что, в отличие от ВК, в РП окончание *е-* в И.ед. *о*-склонения вообще не представлено.

Диалектные формы твердого *а*-склонения на *-ѣ*, противопоставленные стандартным формам на *-ы*, выступают в ВК в Р.ед. *женѣ* С21 (толико *женѣ не достонть* (причащать)) и И.мн. *крохотѣѣ* К64 (*платъ иже лежитъ на трапезѣ съгвѣтъи в немже крохотѣѣ*). Стандартная флексия представлена в этих формах соответственно 28 и 15 примерами. Диалектное *-ѣ* в соответствии со стандартным *-и* находим в двукратном *рожанѣѣ* К33 и *въ силѣѣ* К87 (см. там же форму В.ед. *силѣѣ*) при соответственно 20 и 7 случаях употребления стандартных флексий. Похожую картину представляет и РП. Здесь в Р.ед. твердого *а*-склонения на 20 примеров со стандартным *-ы* приходится 2 примера с диалектной флексией: *полъ грѣнѣ* 624об., 625об. В ИВ.мн. окончание *-ѣ* встретилось лишь в счетной форме 3 *грѣнѣ(е)* (623об., 625), (при 16 примерах со стандартной флексией); вне сочетаний с числительными выступают (13раз) только стандартные формы. В ДМ. мягкого *а*-склонения содержание диалектных форм на *-ѣ* несколько больше, чем в ВК (*въ тажѣ* 621, *въ дачѣ* 626об. при 7 стандартных формах); зато в М.ед. мягкого *о*-склонения употребляется исключительно стандартная флексия *-и* (13 раз). В целом, таким образом, в этой группе распределение стандартных и диалектных форм в обоих памятниках примерно одинаково и характеризуется спорадическим употреблением диалектных флексий на фоне господства стандартных.

Иная картина наблюдается в Р.ед.жен. местоименного и адъективного склонений, где в древненовгородском диалекте, в отличие от стандартного древнерусского, рано установилась односложная флексия (см. [14. С.221]). В ВК она представлена лишь двумя примерами: *из нѣкотори заповѣди* К74, *из лѣвон* (руки) С12. Полностью господствуют двусложные

флексии, выступающие как в цел. (8х), так и в др.-рус. виде (К83, праздник недѣли К57, дружок просфогурты К99, и до третьекк (недели) К1, ис правок роукты (2х) С12). Между тем в РП употребляются почти исключительно формы с односложной флексией: матери свокн 622, одним матери 622об., оу которон татьвты 69, первой женты (2х)622, ѿ бортьной земли (2х)622об., ѿ роленной земли 622об. Единственное исключение (всакога 616) было объяснено выше. Таким образом, в данном пункте к стандартному древнерусскому ближе уже не РП, как это было в случае с -е в номинативе, а РП.

Итак, если в плане противопоставления общедревнерусских и церковнославянских элементов соотношение двух памятников складывается вполне однозначно, то в трактовке морфологических новгородизмов общая закономерность не прослеживается: в одном случае более консервативным оказывается ВК, в другом – РП, в ряде пунктов оба текста ведут себя примерно одинаково. Для объяснения этой довольно противоречивой картины обратимся к сравнению самих текстов, которое проведем с нескольких непересекающихся точек зрения.

Место создания. Вопрос о месте составления Пространной редакции РП остается до конца не выясненным. Ряд исследователей (М.Н.Тихомиров, Черепнин) связывали происхождение памятника с Новгородом. Однако, согласно более распространенной точке зрения (С.В.Юшков, А.А.Зимин, Я.Н.Шапов и др.), основу пространной Правды составил киевский текст (обзор проблемы см. [22]). Бесспорен, однако, общерусский характер записанного законодательства, что с лингвистической точки зрения важнее того, где именно произошла его письменная фиксация. ВК, напротив, хотя и получило общерусское распространение, возникло в Новгороде, наполнено местными реалиями и, так сказать, "новгородоцентрично". Хотя само название Новгорода в тексте не упоминается (что и естественно: для новгородцев это был просто "город"), новгородская точка зрения ощущается постоянно, в частности – в референции местоимений и указательных наречий. См., например, в К89: *А смердъ дѣла помолвнхъ, иже по селомъ живутъ, а покаютьса оу насъ...* (т.е. у новгородских попов); в К19: *достоитъ ли попоу свокн женѣ молитва творити всака, или въ селѣ, или сдѣ* (т.е. в Новгороде). Ср. также в К9 – реплика домового священника Нифонта по поводу употребления в пищу молозива: *гадъть, рѣ(ч), в городѣ семь мнози* (что следует понимать как "в нашем городе", ср. англ. in this city, in this country).

Место включения в Кормчую. Неновгородская РП была, по убедительному предположению Я.Н.Шапова, включена в состав Кормчей в Новгороде, что было связано с особым государственным строем Новгородской республики, при котором юрисдикция архиепископа распространялась и на светские дела, в других древнерусских землях не подлежавшие ведению церкви [1. С.223]. Между тем ВК, как однозначно свидетельствуют текстологические данные, вошло в состав Кормчей не в Новгороде, но, скорее всего, в Киеве, в 1260-х годах, на первом этапе создания Кормчей русской редакции. Причем прежде, чем попасть в Новгород, эта редакция подверглась очередной обработке во Владимиро-Суздальской Руси [1. С.183, 185, 207–209]. В составе НК, следовательно, до нас дошел новгородский список новгородского памятника, однако успешшего уже побывать в инодиалектной среде и, надо думать, испытать на себе ее воздействие.

Принадлежность традиции. Как известно, РП в языковом отношении наследует дохристианскому обычному праву восточных славян. Хотя и дошедшая до нас в составе церковных юридических кодексов, она

генетически не связана с книжной, и вообще — письменной традицией. Согласно известному высказыванию А.А.Шахматова в письме к К.Гетцу, "письменная передача закрепила готовый, обработанный устный текст: кодификация произошла в живой речи, а не на письме" (цит. по: [3. С.20]). ВК, хотя и имеет устную основу, принадлежит церковнославянской книжной традиции, занимая свое место среди других образцов жанра канонических вопросов и ответов, представленного в кормчих целым рядом переводных памятников (см. [1. С.179]).

Место в традиции. В системе древнерусских не книжных текстов РП выполняет роль центра, ядра, вокруг которого группируются другие тексты. Как общегосударственный законодательный кодекс, она задает образец, по которому могут строиться правовые тексты более частного характера, вроде Смоленской грамоты 1229 г. или дошедшего в списке 1263 г. договора Новгорода с немцами 1198 г. ВК в рамках церковнославянской книжной традиции представляет собой, напротив, явление сугубо периферийное. Замечательной особенностью "Вопрошания" является его черновой характер. Кирик, как он сам это подчеркивает, делал записи для себя, фиксируя по разным поводам мнения собеседников, и в первую очередь — своего просвещенного владыки, с которым находился в весьма близких и неофициальных отношениях. Записи едва ли предназначались для "публикации" и даже не всегда воспринимались самим Кириком как прямое руководство к действию. Показательно в этом отношении замечание Кирика (К38) относительно сведений, записанных им со слов "Клима" (по-видимому, митрополита Климента Смолятича): *Се же написахъ не тако творити все то, нъ разума ради, ци коли са что таково пригодитъ.* С этим связано и другое различие. Как текст, обладающий высшей степенью официальности, РП в принципе имперсональна. ВК же, в силу своего частного характера, несет на себе сильнейший отпечаток индивидуального авторства (это относится в первую очередь к тексту самого Кирика и в меньшей степени — к вопросам Саввы и Ильи). Как отмечал исследовавший памятник С.И.Смирнов, "в духовной письменности киевского периода трудно указать памятник, который бы так рельефно рисовал своего автора со стороны его мирозерцания, как Вопрошание рисует Кирика, новгородского духовника половины XII в." [23. С.109]

Структура текста. Как всякий юридический текст, РП обладает жесткой структурой, основу которой составляет пара предложений, из которых первое — придаточное — описывает определенный казус, а второе — главное — применяемую санкцию. В пределах этой структуры возможно некоторое варьирование, однако лишь в весьма ограниченных пределах. Степень клишированности текста, таким образом, весьма высока. Структура "казус — санкция" присутствует и в ВК, которое, как и РП, складывается из статей, предписывающих применение определенных норм в определенных случаях. Однако, в отличие от статей РП, статьи ВК не просто трактуют тот или иной казус, но описывают конкретную ситуацию общения, в которой происходило его обсуждение.

Основная композиционная форма ВК — диалог. В элементарных случаях он сводится к однократному обмену репликами (вопрос — ответ), вводимыми аористами *рѣхъ* (прашахъ) и *рече*, образующими "коммуникативную рамку" статьи. См., например К86: *А кже, рѣхъ, кровь рывью ѣмъ? — Пѣтоу вѣды, рече, развѣ животныхъ крѣве и птица.* ("Я спросил: а как насчет того, что мы едим рыбью кровь? — Не беда, сказал он, только кровь животных и птичью нельзя"). В других случаях диалог приобретает более развернутые формы, что проявляется как в увеличении числа реплик, так и

в расширении комментария. Характерный пример такого диалога представляет статья С18: *Аще кто придетъ ко мнѣ на покаянникъ, не азѣ ли, владыко, повелѣти ко иному попоу ити? — И ре(ч): аже начнешь оуправлати, а не примешь, грѣхъ ксть. И рѣхъ: азъ гроуѣши, несмыслѣши. И ре(ч): онъ к тобѣ възхоцеть все исповѣдати, любѣ тѣ, а ко (и)ному не поидеть, любо всего не исповѣсть, оусрамлѣ сѣ. Нъ аще и свѣтъ боудешь, и чудеса творити начнеши, и мертвѣга искрешати, а за то ти ити въ моукоу, аже не примешь его. Аще ли прикмѣ, а не оуправшишь, то тако же, а онъ безъ грѣха. И много о томъ поскорѣхъ къ нему. — О немже, ре(ч), не рекоу ти боле, тако то ти преже рекохъ. И оударихъ предъ нимъ челомъ. И велѣше: аже хытръ, и послѣ ко иному съ любовью: покаянникъ во волно ксть*⁸.

В подобных спонтанных беседах, разворачивающихся на страницах ВК, находят себе место и сомнения спрашивающих в правильности полученного ответа, и эмоциональный всплеск раздраженного владыки, и его неспособность полностью удовлетворить казуистическое любопытство "вопрошателей". Все это делает текстовую структуру ВК чрезвычайно разнообразной по сравнению с РП, текст которой принципиально монологичен, лишен всякой спонтанности, традиционен и клиширован.

Противопоставленные по всем рассмотренным признакам, ВК и РП оказываются, таким образом, своего рода текстами-антиподами, что и находит выражение в различном отношении к церковнославянским элементам, с одной стороны, и к диалектным древненовгородским — с другой. В первом отношении картина достаточно ясна. Церковнославянизмы ВК абсолютно нейтральны и органичны его природе как книжного памятника, будучи одновременно проявлением принадлежности текста книжной традиции и знаком этой принадлежности. Церковнославянизмы РП, напротив, составляют внешний налет, являясь издержкой включения некнижного по своей природе памятника в книжный кодекс.

Что же касается оппозиции диалектных и стандартных черт, то здесь в разных пунктах положение определяется разными факторами. Особняком стоит Р.ед.жен. местоименного и адъективного склонений, где, как мы видели, большую близость к древнерусскому стандарту проявляет ВК. Замечательно, однако, что эта большая близость обнаруживается как раз там, где "стандартный древнерусский" в его новгородском "изводе" адаптировался к местному диалекту, усвоив односложную флексию *-oi*. Она последовательно проведена, в частности, в официальных договорах Новгорода 60-х годов XIII в., в которых другие морфологические новгородизмы вообще отсутствуют [см. 11. Р.124–125]. "Стандартная" флексия *-oѣ* за двумя исключениями (сѣок лл.20, 66) отсутствует и в первой, относимой к концу XIII в. части Синодального списка Новгородской I летописи (СС Н1Л) — памятнике, по языку наиболее близком ВК. Таким образом, среди оригинальных новгородских текстов ВК оказывается по данному пункту в изоляции. Между тем в пределах НК в изоляции оказывается уже РП с ее полным отсутствием двусложных флексий (ср. наличие их, помимо ВК, также в слове Кирилла Туровского: *ноужнѣгѣ работѣ* 605, анонимном святительском поучении: *оу соворноѣ церкви, великѣгѣ ноужѣ* 587, Летописце патриарха Никифора и др. текстах). Совершенно ясно, таким образом, что в

⁸Попутно обратим внимание на характерное распределение в процитированном фрагменте форм *рѣхъ* и *рекохъ*, представляющее известный интерес для оценки функционального статуса форм аориста в раннедревнерусский период. Форма нового сигматического аориста появляется (единственный раз во всем тексте!) в самом диалоге, тогда как архаическая форма *рѣхъ* последовательно выступает в его литературном обрамлении.

данном случае специфическое соотношение РП и ВК объясняется тем несколько парадоксальным обстоятельством, что новгородская РП была включена в Кормчую в Новгороде, а новгородское ВК — за его пределами. Соответственно, если окончание *-oi* в РП восходит, вероятно, к новгородскому списку, послужившему непосредственным оригиналом для писцов НК, то *-oŭ* в ВК есть все основания относить на счет владимиросудзальского (или, если идти еще дальше — южнорусского) протографа основной части рукописи. Данная позиция, таким образом, не характерна в плане соотношения двух текстов в рамках собственно новгородской языковой ситуации.

Значительно более показательное положение в И.ед. *o*-склонения, где формы на *-e*, представленные сразу четырьмя примерами в ВК, в РП полностью отсутствуют. Язык РП как общерусского законодательного свода должен был быть изначально чист от диалектного элемента, и в данном случае сохранил эту чистоту и в новгородском списке, оказавшись абсолютно непроницаемым для "главного" морфологического новгородизма. Между тем ВК ведет себя в данном отношении как текст, имеющий а) новгородское происхождение и б) черновой, неофициальный характер. Формы на *-e*, которые в пределах НК обнаруживаются лишь в ВК и таким образом характеризуют его как текст, могут быть по этой причине с большой вероятностью возведены к оригиналу памятника. В них естественно видеть прямое проявление его устной диалогической основы. Можно сказать, что древненовгородский языковой элемент также органичен текстовой природе ВК, как и элемент церковнославянский, отражая, однако, другой аспект этой природы.

На это можно возразить, что в отличие от цел. элементов диалектные формы занимают в ВК весьма скромное место. В процентном отношении они, как и в РП, должны рассматриваться, скорее, как отступление от нормы, чем как ее принадлежность. Применительно к списку 1282 г. так, вероятно, и следует считать. Не приходится, однако, сомневаться в том, что оригинал ВК представлял собой текст со значительно более яркой диалектной окраской, чем дошедший до нас его древнейший список. Судьба ВК в древнерусской письменности оказалась довольно необычной. Возникнув как ряд неупорядоченных черновых заметок, оно вскоре получило признание как авторитетное руководство по вопросам духовнической практики. Уже архиепископ Илья-Иоанн (1166–1186) в своем Поучении (1166) ссылается на "устав блаженного Нифонта", в котором большинство исследователей видят ВК. "Это значит, — пишет С.И.Смирнов, — что в частных записях ответов новгородского владыки духовниками он (Илья — А.Г.) видел как бы официальное произведение самого иерарха" [23. С.108]. Переписка воспринятого таким образом текста в составе канонических сборников неминуемо должна была повлечь за собой "окнижение" его языка. В этом отношении важнейшим рубежом в истории памятника явилось включение его в Кормчую. Оно не могло не сопровождаться редакторской обработкой, призванной сгладить черновой характер текста и хотя бы отчасти привести его язык в соответствие с принятыми книжными нормами. Учитывая это, а также то, что включение в Кормчую произошло за пределами Новгорода, новгородизмы списка 1282 г. трудно воспринимать иначе как случайно сохранившиеся "остатки былой роскоши".

О том, что включение памятника в Кормчую действительно сопровождалось его редактированием, свидетельствует так называемая "особая" редакция ВК, встречающаяся, в отличие от "обычной" редакции, не в

кормчих, а в сборниках канонического содержания. Опубликованная С.И.Смирновым по трем спискам XVI в. и им же исследованная с литературной точки зрения [20. С.1–27], "особая" редакция до сих пор мало обращала на себя внимание лингвистов. Между тем значение ее велико не только для установления критического текста памятника, но и для реконструкции его первоначального языкового облика. Составитель "особой" редакции предпринял попытку систематизации текста "Вопрошания", сгруппировав его статьи по тематическим рубрикам. Представляя собой, таким образом, решительную переработку памятника в композиционном отношении, "особая" редакция, как это продемонстрировал С.И.Смирнов [20. С.265–267], сохраняет значительное число первоначальных чтений, сокращенно или с искажениями переданных "обычной" редакцией. Составитель "особой" редакции явно располагал текстом ВК, значительно более близким оригиналу памятника, чем тот, который в XIII в. был включен в Кормчую. В силу этого "особая" редакция местами сохранила диалектный колорит оригинала, утраченный "обычной" редакцией⁹.

Этот диалектный колорит проявляется в "особой" редакции уже на фонетическом уровне, которого мы до сих пор не касались только потому, что в списке 1282 г. ВК, как и РП, демонстрирует полное отсутствие ярких фонетических новгородизмов (за исключением, разумеется, обычной для новгородской письменности мены *ц* и *ч*). Замечательна в этом отношении статья К68, трактующая вопрос о причащении "блудящих отроков". В "обычной" редакции статья начинается следующим вопросом Кирика: Рѣхъ: лѣзѣ ли, владъико, люво си шдиною дати имъ причащаньк, съблюдше добрѣ м дниш, аще и кромѣ говѣнья, не гадоуче мѣсѣ, ни медоу пыочи, и ѿ блуда, ать тако не помрутъ, гроувъ (в других списках: дроутъши) и ѿтнюдь не причащальса. Смысл вопроса достаточно ясен: Кирик спрашивает Нифонта, можно ли, при соблюдении определенных условий хоть раз причастить отроков, а то некоторые могут так и умереть без причастия, так как вообще никогда не причащались. В списках "особой" редакции в соответствии с ѿтнюдь "обычной" читаются варианты *квхѣ* и *вхѣ*. С.И.Смирнов попытался объяснить этот "странный вариант", связав его с греч. *εὐχή*, "молитва" [20. С.267]. Однако предполагать в данном случае грецизм нет оснований — в рамках нынешних представлений о древненовгородской фонетике загадочное *вхѣ* объясняется чрезвычайно просто: перед нами вариант хорошо известного по говорам [24] и представленного, начиная с XVII в., также в письменных текстах [25] наречия *овсе* (ср. литературное *вовсе*), но только без рефлекса третьей палатализации. *Овьхѣ* и *отънюдь* должны были соотноситься в Новгороде как синонимичные разговорное и книжное наречия. Чтение "особой" редакции явно восходит к "авторскому" тексту Кирика. Невозможно представить, чтобы в процессе переписки книжное наречие было сознательно заменено на его разговорный синоним; столь же маловероятно и случайное проникновение в текст варианта, дважды —

⁹ Забегая вперед и предвзяв анализ лексической стороны ВК, приведем пример, наглядно иллюстрирующий характер работы этого редактора. В своем стремлении придать тексту более официальный вид, он, в частности, исключил из него практически все демунитивы, в избытке присутствовавшие в оригинале ВК. Так, во фразе из статьи К13, описывающей порядок причащения больных: *вложн часткѣ в потирцѣ вонже винца вли* [20. С.20] редактор педантично заменил *часткѣ* на *часть*, *потирцѣ* на *потирь* и *винца* на *вина*. Поведение редактора вполне понятно: широкое употребление демунитивов является, как известно, характерной приметой неформальной речи, и в тексте, претендующем на официальный статус, им не место. Ср. полное отсутствие этой категории лексики в РП.

лексически и фонетически — маркированного как диалектный. Обратная замена, между тем, кажется вполне естественной на фоне общей тенденции постепенного окнижения языка памятника. Тот факт, что в данном случае диалектная форма была сохранена переписчиками "особой" редакции, связан, очевидно, с тем, что она осталась ими непонятой и даже, возможно, была принята (как позже — исследователем памятника) за незнакомый грецизм, получив начальное *к-* по образцу пар типа *опитѣмьѧ/кпитѣмьѧ*. Вероятно, в оригинале ВК имелись и другие яркие фонетические новгородизмы, которые, однако, были опознаны как таковые и заменены на их стандартные соответствия¹⁰.

Из морфологических новгородизмов списка 1282 г. часть обнаруживается на тех же местах и в списках "особой" редакции, где находим, в частности, форму *оунѣ* в С5 и *крохотцѣ* в К64. Эти совпадения симптоматичны как свидетельство того, что в списке 1282 г. соответствующие формы не привнесены переписчиком, но восходят к оригиналу. Замечательно также, что в соответствии с *дружок просфоры* К99, в списках "особой" редакции читается *друзѣи просфурѣ* [20. С.21]. В этой паре диалектных флексий особенно показательна первая. В XVI в., к которому относятся списки "особой" редакции, окончание *-ѣи* было уже, безусловно, мертвой формой: судя по данным берестяных грамот, оно уже к концу XIV в. полностью уступило место флексии *-ои* [19. С.142]. Здесь, следовательно, оно восходит к оригиналу не моложе этого времени. Скорее всего, в тексте XII в. имело место варьирование цел. форм и диалектных на *-ѣи* (*-ѣѣ*), подобное тому, которое наблюдается в СС Н1Л, в части, охватывающей события XII в.

Еще одну яркую черту к морфологической характеристике ВК добавляет статья К82 "особой" редакции, которая в Кормчей 1282 г. читается так: *А оже Ѡ попа или Ѡ дьякона попадыѧ створитъ прелюбы? — А поустивъ ю, ре(ч), държати свои санъ*. В "особой" редакции ответ Нифонта на этом не заканчивается, но имеет весьма энергичное продолжение: *а она ходоачи хотѧ по торговн лежы* ("а она, гуляя, пусть хоть на торгу валяется"). Это добавление, не прошедшее "цензуры" редактора Кормчей из-за своей слишком откровенной изобразительности, в лингвистическом отношении представляет двойной интерес. Замечательно, во-первых, характерное для разговорной речи экспрессивное употребление императива. Ср. аналогичный пример еще в одном ответе Нифонта (К84): *аще и мертвыѧ , ре(ч), възкрешаи, не можетъ попомъ быти* ("пусть он хоть мертвых воскрешает — не может быть попом"). Редкое в древнерусской книжной письменности, подобное эмоциональное употребление императива встречается, однако, в берестяных грамотах. Ср. в грамоте N370: *а лежи ни Ѡ ного ни Ѡкзды да* ("а сиди и не смей от него отъехать!" (см. интерпретацию этого текста [19. С.204])).

¹⁰ В этом отношении показателен следующий факт. В Поучении новгородского архиепископа Ильи-Иоанна (1166, список XV в.) трижды встречается диалектная форма *льга* (в сочетании *нѣльга*, см. примеры [18, II, с.64]) без эффекта третьей палатализации, известная также из статьи 1128 г. СС Н1Л. В ВК это слово выступает только в стандартном древнерусском оформлении: (*нѣ*) *лѣѣ* К28, 68, 95, С18, И6. Поучение Ильи — памятник, во многих отношениях близкий ВК и непосредственно с ним связанный: скорее всего, именно Илья (до своего избрания на кафедру — священник церкви св. Власия) и был автором третьей части ВК. Последовательность, с которой в Поучении употребляется диалектная форма, делает вероятной и присутствие ее в оригинале ВК.

Нас, однако, больше интересует сейчас словоформа по торговле, по своему уникальная в письменности русского Северо-Запада: с флексией Д.ед. *-ови* в собственно новгородских памятниках выступают исключительно одушевленные существительные, в псковских иногда также неодушевленные, но только *jo*-основы (*по ручьєви, по крове*). Слово *тѣр҃гъ* этимологически относится к *и*-основам, и употребление его с данной флексией следует, очевидно, рассматривать как архаизм, еще одно свидетельство уже отмечавшегося исследователями для древненовгородского диалекта частичного сохранения деклинационной самостоятельности старого *и*-склонения [26, 27]. В некоторое противоречие с такой интерпретацией вступает, однако, тот факт, что в древнейшей части СС НІЛ *тѣр҃гъ* четыре раза выступает в форме Д.ед. с флексией *-у* (*по тѣр҃гоу* л. 12, 81об., 104об., 113 об.) В этом расхождении можно было бы усмотреть обычное проявление морфологической вариативности, однако возникает вопрос: чем обусловлено именно такое распределение флексий между летописью и рассматриваемой статьей ВК? Возможный ответ на этот вопрос подсказывает наблюдение А.А.Шахматова, заметившего, комментируя употребление флексии *-ови* в белорусском языке, что "в одном из пинских говоров с формами дательного на *-ови* соединяется оттенок *п р е з р е н и я* и *н е г о д о в а н и я*" (*разрядка моя - А.Г.*) [28]. Поразительное совпадение описанных эмоций с теми, которые обнаруживают себя в ответе Нифонта, наводит на предположение: не связано ли и в данном случае сохранение архаичной флексии с особым экспрессивным характером фразы? Если это так, рассмотренный пример демонстрирует замечательное сочетание экспрессивного разговорного синтаксиса с экспрессивной же морфологией. Понятно, что только неофициальный характер и диалогическая структура ВК сделали возможным отражение в нем данной стороны разговорной речи. В клишированном монологическом тексте РП этот языковой пласт в принципе не мог найти отражения.

Подведем некоторые итоги. В целом на морфологическом уровне ВК (особенно, каким оно реконструируется для этапа, предшествовавшего включению памятника в Кормчую) отличается от РП одновременно систематическим употреблением церковнославянских форм и более широким допущением черт живой диалектной речи. Таким образом, по сравнению с РП ВК выступает как текст со значительно более широким "лингвистическим диапазоном". Такое соотношение двух памятников (а оно, заметим, наблюдается и на лексическом и синтаксическом уровнях, здесь не рассматривавшихся) явно отражает некоторое общее положение вещей. Отношения, аналогичные тем, которые связывают между собой РП и ВК, могут быть выявлены и при сопоставлении новгородских договорных грамот XIII в. с первой частью СС НІЛ. И здесь мы в одном случае встретимся с запретом (еще более строгим, чем в РП) на диалектные черты и отсутствием (за исключением формулы *се азъ*) морфологических церковнославянских форм, а в другом — с систематическим употреблением элементов обеих категорий.

Можно заключить, таким образом, что соотношение в древненовгородских письменных текстах общедревнерусских и церковнославянских элементов не было напрямую увязано с соотношением в них диалектных и "стандартных" черт. Пропорции тех и других регулировались разными факторами. Систематическое употребление церковнославянских форм или его отсутствие определялось вхождением или невхождением текста в сферу книжной культуры. Последовательность же проведения в тексте нормативных языковых характеристик (стандартных древнерусских и/или церковнославянских) зависела от места, занимаемого текстом в системе

соответственно книжной или некнижной письменности. Чем дальше от центра, чем меньше степень официальности текста, чем менее регламентирована следованием жанровому канону его структура, тем более условным и непоследовательным становится "пересчет" разговорных форм в формы письменного языка. В этой ситуации "стандартный древнерусский" – язык РП и договоров, и "гибридный церковнославянский" – язык ВК и летописи – естественно рассматривать как функционально полярные идиомы. Первый выступает как наиболее официальная и потому достаточно строго нормированная форма некнижного языка, сильно ограничивающая спектр используемых языковых средств; второй – как язык книжной периферии, демонстрирующий предельную для древнерусской письменности степень лингвистической гетерогенности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Шапов Я.Н.* Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI–XIII вв. М., 1978.
2. Правда Русская. Под ред. Б.Д.Грекова. Т.3. Факсимильное воспроизведение текстов. М., 1963.
3. *Карский Е.Ф.* Русская правда по древнейшему списку. Л., 1930.
4. *Обнорский С.П.* Русская Правда как памятник русского литературного языка // Известия АН СССР, серия VII. Отделение общественных наук. 1934. N 10. С.749–776.
5. *Селищев А.М.* О языке "Русской Правды" в связи с вопросом о древнейшем типе русского литературного языка // Селищев А.М. Избранные работы. М., 1968. С.129–146.
6. *Унбегаун Б.* Язык русского права // В.О.Unbegaun. Selected Papers on Russian and Slavonic Philology. Oxford, 1969.
7. *Matejka L.* Diglossia in the Oldest Legal Code of Novgorod // Papers in Slavic Philology. 1. In Honor of James Ferrell. Ed. V.Stolz. Ann Arbor, 1977. P.186–197.
8. *Живов В.М.* История русского права как лингво-семиотическая проблема // Semiotics and the History of Culture. In Honor of Jurij Lotman. Columbus, 1988 [UCLA Slavic Studies, vol.17]. P.49–54.
9. Русская историческая библиотека. Т.6. Памятники древнерусского канонического права. Ч.1. Памятники XI–XV вв. Под ред. А.С.Павлова. 2-е изд. СПб., 1908. С. 22–62.
10. *Зализняк А.А.* О языковой ситуации Древнего Новгорода // Russian Linguistics, 1987. Vol.11. N2/3. P.126.
11. *Живов В.М.* Роль русского церковнославянского в истории славянских литературных языков // Актуальные проблемы славянского языкознания. М., 1988. С.54–55.
12. *Shevelov G.* Несколько замечаний о грамоте 1130 г. и несколько суждений о языковой ситуации Киевской Руси // Russian Linguistics, 1987. Vol.11. N2-3. P.178.
13. *Шапир М.И.* Рец. на кн.: Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). München, 1987 // Russian Linguistics, 1989. Vol.13. P.271–309.
14. *Зализняк А.А.* К изучению языка берестяных грамот // Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1985 гг.). М., 1993.
15. *Гунпиус А.А.* Морфологические, лексические и синтаксические факторы в склонении древнерусских членных прилагательных // Исследования по славянскому историческому языкознанию. Памяти профессора Г.А.Хабургаева. М., 1993. С.80.
16. *Кандаурова Т.Н.* Случаи орфографической обусловленности слов с полногласием в памятниках XI–XIV вв. // Памятники древнерусской письменности. М., 1968. С.7-18.
17. *Шахматов А.А.* К истории звуков русского языка. VII. // Известия ОРЯС АН. Т.8. 1903. С.323.
18. *Срезневский И.И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб., 1893–1903. Т.1–3.
19. *Зализняк А.А.* Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок 1976–1983 гг.). М., 1986.

20. *Смирнов С.И.* Материалы для истории древнерусской покаянной дисциплины // ЧОИДР. 1912. Кн. 3. Отд. II.
21. *Крысько В.Б.* Общеславянские и древненовгородские формы Nom. Sg.Masc. о-склонения // Russian Linguistics, 1993. Vol. 17. P.138–139.
22. Российское законодательство X–XI вв. В девяти томах. Т.1. Законодательство Древней Руси. М., 1984. С.42–43.
23. *Смирнов С.И.* Древнерусский духовник. М., 1913.
24. Словарь русских народных говоров. Вып. 22. Л., 1987. С.302.
25. Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 12. М., 1987. С.227.
26. *Зализняк А.А.* Поправки и замечания к чтению ранее опубликованных берестяных грамот // Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1985 гг.). М., 1993. С.177.
27. *Крысько В.Б.* Категория одушевленности в древненовгородском диалекте // Славяноведение, 1993, N3. С.77.
28. *Шахматов А.А.* Историческая морфология русского языка М., 1957. С.260.



ТЕКСТОЛОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ ЛЕКСИКИ: ВОСТОЧНОБОЛГАРСКАЯ ЛЕКСИКА В ДРЕВНЕРУССКОМ МСТИСЛАВОВОМ ЕВАНГЕЛИИ

Исследование этапа формирования русской редакции церковнославянского языка предполагает восстановление исходных языковых и орфографических систем тех инославянских рукописей, с которыми знакомились первые древнерусские писцы. Без этого невозможно адекватно описать процессы последующей адаптации этих систем, завершившиеся в XIII—XIV вв. сложением на Руси собственных норм книжного языка [1]. Поэтому древнерусские рукописи раннего периода принципиально могут быть использованы для реконструкции правописания и языка их несохранившихся южнославянских оригиналов. Орфографические и морфологические параметры южнославянского пласта ранних древнерусских рукописей в общих чертах известны [2], в то время как лексический аспект проблемы остается наименее изученным. При этом известно, что ранние восточнославянские списки могут сохранять южнославянский лексический состав своих оригиналов, не русифицируя его [3].

О наличии восточноболгарского (преславского) пласта в древнерусских списках Евангелия стало известно благодаря усилиям болгарских ученых [4—6]. Однако закономерности употребления этой лексики в древнерусских списках не вполне ясны. Установлено, что восточноболгарские лексемы в них не вытесняют полностью первичный кирилло-мефодиевский пласт, а сосуществуют наряду с ним, делая евангельский текст этой редакции в высшей степени вариативным в лексическом отношении. В евангельских списках, на и б о л е е последовательно отражающих преславскую редакцию, исходные кирилло-мефодиевские варианты заменены восточноболгарскими в 65—75% всех возможных случаев. На этом основании был сделан вывод о том, что преславские книжники не ставили себе целью кардинально изменить первоначальную лексическую основу кирилло-мефодиевского перевода Евангелия, а стремились лишь обновить и расширить его словарный состав [6].

Если это действительно так, то необходимо реконструировать критерии, на основании которых преславские справщики определяли, в каких именно случаях оставить кирилло-мефодиевские лексемы без изменения, а в каких заменить их восточноболгарскими. Однако данная задача может решаться лишь в том случае, если будет доказано, что кирилло-мефодиевская и преславская лексика сосуществуют в о д н о р о д н о м тексте, имеющем непротиворечивую текстологическую историю. Это важно потому, что в некоторых рукописях распределение первичных и вторичных лексем может зависеть от структуры текста и объясняться м е х а н и ч е с к и м соединением в одном списке (даже если он написан одной рукой)

разных по происхождению частей с различной лексической нормой. Так, в древнерусском Архангельском евангелии 1092 г. преславская лексика присутствует исключительно во второй части рукописи (Л. 77—175), а в среднеболгарском Добромировом евангелии XII в. — только в тексте М 12.1 — Л 1.15 (Л. 8 об. — 30 петербургской части) [5—7].

Целью проведенного мною исследования¹ было проследить, каким образом сосуществуют кирилло-мефодиевские и преславские варианты в отдельно взятом списке — в древнерусском полноапракосном Мстиславовом евангелии (далее — Мст), написанном до 1117 г. Особое внимание было уделено выяснению того, не является ли данный список компилятивным в своей основе и не прослеживается ли в нем зависимость в употреблении инновационной лексики от литургического членения текста. Из работ болгарских ученых было известно, что эта рукопись относится к числу списков евангельского текста, в которых восточноболгарская лексика представлена наиболее последовательно.

За основу был взят список преславских лексем Т. Славовой, содержащий 125 исходных кирилло-мефодиевских слов и их восточноболгарских соответствий [6]. С помощью словоуказателя к изданию Мстиславова евангелия [9] были определены все без исключения случаи употребления в Мст первичных и вторичных лексем по каждой из 125 позиций списка Т. Славовой. Установленные таким образом места евангельского текста сверялись с данными, приведенными в работе Т. Славовой, попутно исправлялись неточности этой публикации. Все показания словоуказателя Мст проверялись непосредственно по тексту издания, что позволило исправить неточности словоуказателя. Для каждого словоупотребления интересовавших меня лексем фиксировалось апракосное чтение (перикопа), в котором оно представлено. Особое внимание было уделено проверке данных повторяющихся полноапракосных чтений Мст, которая позволила не только восстановить пропуски в словоуказателе, но и установить те вторичные соответствия исходной кирилло-мефодиевской лексике, которые не попали в список преславских лексем Т. Славовой.

По изданию греческого новозаветного текста Г. фон Зодена, снабженному исключительно большим и подробным критическим аппаратом [10], были установлены греческие соответствия (включая вариативные) для каждого случая употребления всех рассматриваемых лексем. Затем из собранного таким образом материала были отобраны все места текста, в которых соотнесенные в парах славянские лексеммы имеют одинаковые греческие соответствия. Для этого из материала были устранены те случаи, в которых исходные и вторичные лексеммы славянского текста имеют разные греческие соответствия. Так, при рассмотрении пары **ЯЗЫЛЬ** — ἔθνος — **СТРАНА** из всех случаев употребления в Мст обеих лексем устранялись те места текста, в которых лексема **ЯЗЫКЪ** соответствует ὄλῳσα, а лексеме **СТРАНА** — χωρα, περίχωρος, μέρος.

Таким образом было отобрано примерно 2700 случаев употребления в Мст соотнесенных кирилло-мефодиевских преславских лексем по всему списку Т. Славовой. Этот материал, адекватно отражающий лексическую вариативность Мст, и послужил основой для написания данной статьи.

Нередко пары образуются не отдельными соотносимыми словами, а целыми группами однокоренных лексем с каждой стороны. Например, слова **РАЗХЪТИТИ, ХЪШТЪНИЦЪ, ХЪШТЪНИКЪ** заменяются соответственно на **РАЗГРАБИТИ, ГРАБЛЪНИЦЪ, ГРАБИТЕЛЬ**. В подобных случаях все однокоренные образования рассматривались в единой группе, а не разбивались по лексемно, как это делала Т. Славова. В результате число позиций в списке кирилло-мефодиевских и преславских соответствий сократилось со 125 до 103 при том же объеме материала. Такое укрупнение рассматриваемых единиц основано на априорной убежденности в том, что замены типа **РАЗХЪТИТИ** →

¹ Предварительные выводы были опубликованы ранее в [8]. Окончательные результаты были сообщены на VI Международном коллоквиуме по староболгаристике (Баня, 27 августа — 8 сентября 1994 г.).

→ **РАЗГРАБИТИ, ХЪШТѢНИЮ** → **ГРАБЛЮНИЮ, ХЪШТЬНИКЪ** → **ГРАБИ-ТѢЛЬ** осуществлялись в тексте одновременно и параллельно и потому составляют одно соответствие, а не три. При работе с материалом я не нашел случаев, противоречащих этой априорной посылке.

Подсчеты показали, что в Мст кирилло-мефодиевские варианты заменены преславскими в 41% всех возможных случаев. Но не все восточноболгарские лексемы ведут себя в этой рукописи одинаково.

С одной стороны, в Мст не обнаружено некоторых преславских вариантов, представленных в списке Т. Славовой (в скобках приводятся их порядковые номера по этому списку): **ШИЮ** (22), **ПРЪЛЪСТЪ** (57), **ПРЪПЛОУТИ** (87), **ОБОУТЪЛЬ, ОБОУВЪ** (94), **ПЪТАТИ СѦ** (108). Кирилло-мефодиевские соответствия этих лексем в евангельском тексте малочастотны.

С другой стороны, значительное количество восточноболгарских слов полностью вытеснили первичные варианты во всех возможных контекстах. Поэтому в Мст отсутствуют следующие лексемы первоначального перевода (в скобках приводятся их порядковые номера по списку Т. Славовой): **АРХИДИНАГОГЪ** (5), **ВРЪТЪПЪ** (11), **ВРЪТИШТѢ** (12), **ВЪСКРИЛИЮ, КРАИ** (17), **ГЕБНА** (23, 24), **ДОСТОЯНИЮ** (27), **ДРАГЪМА** (28), **ИСКРЪНИИ** (41), **КРИНЪ** (52), **СКИНИЯ** (53), **ЛѢПТА** (55), **ПАРАСКЕВЪГИ** (76), **ПОРФИРА, ПРАПРЪДЪ** (80), **СКЪЛАЗЪ** (97), **СКЪДЪЛЬ, ПОКРОВЪ** (99), **СЪЧѢТАТИ** (109), **СИКАМИНА, СИКОМОРИЯ** (111), **ТЕКТОНЪ** (113), **ТРЪХЪТЬ** (115), **ХИТОНЪ** (119). Все эти лексемы в кирилло-мефодиевском евангельском тексте также малочастотны. В обоих случаях Мст не знает вариативности по указанным выше лексическим параметрам.

Лексическая вариативность проявляется в Мст во всех остальных случаях, когда в этой рукописи представлены как кирилло-мефодиевские лексемы, так и их преславские эквиваленты. Ниже в тексте статьи они цитируются (в целях экономии места — без греческих соответствий) вместе с порядковыми номерами по списку Т. Славовой. В результате работы оказалось, что преславские лексемы распределены по тексту Мст крайне неравномерно. При этом выделяются четыре различных типа их дистрибуции в рукописи. Рассмотрим каждый из них отдельно.

1. Первый тип дистрибуции имеют такие восточноболгарские лексемы, которые представлены не во всем тексте Мст, а лишь в определенных циклах апракосных чтений (перикоп): они отмечены в циклах Пятидесятницы, «нового лета» и поста, а также в некоторых чтениях месяцеслова, но полностью отсутствуют в циклах Пасхи, Великой недели и 11 воскресных евангелий. При этом их кирилло-мефодиевские эквиваленты в большем или меньшем количестве встречаются абсолютно во всех циклах апракосных чтений.

Распределение по циклам чтений Мст преславских вариантов данного типа дистрибуции и их кирилло-мефодиевских соответствий показано в табл. 1. Она состоит из столбцов, каждый из которых посвящен одной из приводимых ниже пар кирилло-мефодиевских и преславских корреспонденций. Нумерация столбцов совпадает с нумерацией пар конкурирующих вариантов в приводимом ниже списке и в списке Т. Славовой. Каждый столбец состоит из двух колонок — правой (обозначены литерой а) и левой (обозначены литерой б). В правых колонках указывается количество употреблений лексем первоначального перевода по группам апракосных чтений, в левых колонках — аналогичная характеристика для восточноболгарских вариантов. Пары кирилло-мефодиевских и преславских соответствий расположены в таблице не в порядке их номеров по списку, а ранжированы по частотности употребления. Табл. 1 начинается столбцом 2, правая колонка которого посвящена лексеме **АМИНЪ** первоначального перевода, а левая — ее восточноболгарскому соответствию **ПРАВО**. Далее следуют столбцы, посвященные менее частотным преславским лексемам первого типа дистрибуции. В таблице представлены не все исследованные варианты,

Циклы чтений	Номера лексических соответствий											
	2		124		106		79		116		62	
	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б
Пасха	51	—	4	—	51	—	6	—	8	—	—	—
50-ца — пост:												
буд	2	29	1	19	51	12	5	6	16	7	—	3
сб	4	6	3	3	7	1	—	1	5	1	—	1
вс	2	8	1	4	12	1	—	3	11	1	—	—
Великая нед.:												
утр	6	—	2	—	11	—	—	—	2	—	—	—
лит	13	—	5	—	4	—	—	—	2	—	3	—
стр ев	9	—	—	—	15	—	2	—	3	—	1	—
Месяцеслов	3	10	4	4	45	1	2	1	16	1	2	—
Воскресные ев.	6	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Всего:	96	53	22	30	199	15	15	11	63	10	6	4

Таблица 2

Циклы чтений	Номера лексических разночтений											
	4		43		89		103		50		35	
	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б
Пасха	5	—	52	—	18	—	37	—	—	—	35	—
50-ца — пост:												
буд	2	36	9	16	27	14	2	17	2	7	2	5
сб	—	2	6	3	7	4	2	1	1	3	1	—
вс	3	1	2	—	6	3	1	2	—	—	3	3
Великая нед.:												
утр	4	1	—	—	3	6	—	2	1	—	2	—
лит	25	—	10	2	8	—	12	—	3	1	—	1
стр ев	26	—	18	7	4	2	11	1	1	—	3	—
Месяцеслов	—	5	12	7	26	4	9	6	—	3	7	—
Воскресные ев.	1	—	1	—	—	—	3	—	—	—	1	—
Всего:	66	45	110	35	99	33	77	29	8	14	54	9

имеющие в Мст тот же тип распределения, а лишь наиболее частотные и показательные:

2. АМИНЪ — ПРАВО

124. **БЪЗЫКЪ, БЪЗЫЧЪНЪ, БЪЗЫЧЪНИКЪ — СТРАНА, СТРАНЪНЪ.**

106. **(ПО)БЪЛАТИ, ПОБЪЛАТИ — (ОТЪ)ПОУСТИТИ, ПОУШТАТИ.**

79. **ОНЪ ПОЛЪ — ОНА СТРАНА.**

116. **ТЪКЪМО — ТЪЧИЪ.**

62. **МЪЪВА, МЪЪВИТИ ѿ ПЛИШТЬ, ПЛИШТВЪВАТИ.**

Приведенные в табл. 1 преславские лексемы полностью отсутствуют в циклах Пасхи, Великой недели и 11 воскресных евангелий, в которых представлены

исключительно кирилло-мефодиевские варианты. Чтения именно этих циклов, согласно выдвинутому ранее предположению [11, 12], могли составлять первоначальный славянский перевод Евангелия, который, таким образом, мог быть значительно короче краткого апракоса. Тем более, что краткий апракос сам обнаруживает признаки компиляции [13].

В указанных циклах чтений все преславские варианты, имеющие дистрибуцию первого типа (24 лексемы), представлены в 44% всех возможных случаев. При этом важно, что между чтениями на будние дни недели, с одной стороны, и субботными и воскресными чтениями, с другой, не наблюдается значимых различий в удельном весе восточноболгарских лексем. Для чтений на будние дни он составляет 46%, для субботных и воскресных чтений — соответственно 39 и 38%. В месяцеслове эти преславские варианты употреблены лишь в 15% всех возможных контекстов.

2. Второй тип дистрибуции в Мст представляют преславские лексемы, которые полностью отсутствуют лишь в пасхальном цикле, где встречаются только их кирилло-мефодиевские соответствия. Во всех последующих циклах чтений вторичные варианты сосуществуют с первичными. В табл. 2 представлены наиболее частотные и показательные лексемы этого типа распределения:

4. **АРХИЄРЄИ, АРХИЄРЄОВЪ — СТАРЪИШИНА ЖЬРЬЧЬСКЪ, СТАРЪИШИНА ЖЬРЬЦЪ, ЖЬРЬЦЪ.**

43. **ИЮДЪИ, ИЮДЪИСКЪ — ЖИДОВИНЪ, ЖИДОВЬСКЪ.**

89. **РАДИ — ДЪЛЪА.**

103. **СЪВЪДЪТЕЛЬСТВОВАТИ, СЪВЪДЪТЕЛЬСТВО, СЪВЪДЪНИКЪ, СЪВЪДЪТЕЛЬ — ПОСЛОУШЬСТВОВАТИ, ПОСЛОУШЬСТВО, ПОСЛОУХЪ.**

50. **КОНЬЧИНА — КОНЬЦЪ.**

35. **ЖИВОТЬ, ЖИВОТЬНЪ — ЖИЗНЬ.**

Несмотря на то, что преславские лексемы второго типа дистрибуции встречаются в Мст не только в циклах Пятидесятницы, «нового лета» и поста, но и в чтениях Великой недели, все же между этими двумя группами чтений существуют значительные различия. Если в чтениях от Пятидесятницы до Великой недели все восточноболгарские варианты данного типа дистрибуции (23 лексемы) употреблены в 54% всех возможных контекстов², то в чтениях самой Великой недели — только в 28%, что в два раза меньше. В месяцеслове инновационные варианты встречаются в 31% всех возможных случаев.

Столь большая разница в количестве преславских лексем в циклах Пятидесятницы, «нового лета» и поста, с одной стороны, и в чтениях Великой недели, с другой, говорит о том, что проникновение в текст Мст этой инновационной лексики не было единым и единовременным процессом.

3. По крайней мере у четырех восточноболгарских слов зафиксирована третья разновидность дистрибуции, когда в циклах от Пятидесятницы до Великой недели они представлены лишь в чтениях на будние дни и отсутствуют в субботных и воскресных, в которых встречаются только кирилло-мефодиевские варианты. В иных апракосных циклах эти инновационные лексемы, показанные в табл. 3, также отсутствуют:

84. **(ПРЪ)ЛЮБОДЪАНИКЪ (СЪ)ТВОРИТИ, ПРЪЛЮБЫ СЪТВОРИТИ, ЛЮБОДЪИСТВО ТВОРИТИ — ЛЮБОДЪАТИ.**

34. **ЖЕНИХЪ, ЖЕНИХОВЪ — ЖЕНАИ СЪ.**

36. **ЖИВОТЬ, ЖИВОТЬНЪ — ЖИТИКЪ.**

38. **И — ТИ.**

В табл. 3 отсутствует колонка 38а, поскольку союз И необычайно часто встречается во всех без исключения апракосных чтениях, что делает бессмысленными какие-либо подсчеты.

² Для чтений на будние дни этот показатель равен 60%, для субботных и воскресных чтений — соответственно 45 и 36%.

Циклы чтений	Номера лексических различий						
	84		34		36		38
	а	б	а	б	а	б	б
Пасха	—	—	4	—	35	—	—
50-ца — пост:							
буд	6	5	1	4	2	3	8
сб	2	—	4	—	1	—	—
вс	2	—	—	—	3	—	—
Великая нед.:							
утр	—	—	—	—	2	—	1
лит	—	—	4	—	—	—	—
стр ев	—	—	—	—	3	—	—
Месяцеслов	—	—	—	—	7	—	—
Воскресные ев.	—	—	—	—	1	—	—
Всего:	10	5	13	4	54	3	9

4. Наконец, четвертый тип дистрибуции наблюдается у 11-ти преславских лексем, которые сосуществуют с вариантами первоначального перевода абсолютно во всех циклах апракосных чтений, включая пасхальный. Распределение этих восточноболгарских слов в Мст не зависит от структуры апракосного текста. Все лексемы этого типа приводятся ниже в списке:

74. **ОТЬ) ПОУЌТИТИ (СА), ОТЬ) ПОУШТАТИ (СА), ОТЬ) ПОУШТЕНИКЪ — ОСТАВИТИ, ОСТАВЪАТИ (СА), ОБСТАТИ, ОСТАВЪАНИКЪ.**

32. **ЇДИНЪ, СТЕРЪ — НЪКЪИИ.**

107. **СЪНЪМИШТЕ — СЪБОРИШТЕ, СЪБОРЪ.**

18. **ВЪСКРЪШАТИ, ВЪСКРЪСИТИ, ВЪСКРЪСНАЖТИ, ВЪСКРЪШЕНИКЪ, ВЪСКРЪСЕНИКЪ — ВЪСТАВИТИ, ВЪСТАТИ, ВЪСТАВЪАТИ, ВЪСТАНИКЪ.**

98. **О) СКРЪБЪТИ, ПРИСКРЪБЪНЪ, СКРЪБЪ — ПЕШТИ СА, ПЕЧАЛОВАТИ СА, ПЕЧАЛЬНЪ, ПЕЧАЛЬ.**

54. **КЪНИГЫ — ПИСАНИКЪ.**

118. **ОУТРО — ЗАОУТРА.**

21. **ДЪВА КРАТЫ, ТРИ КРАТЫ; ВЪТОРИЦЕЖ и т. п. — ВЪТОРОКЪ, ТРЕТИКЪ.**

112. **ТАИ — ОТАИ.**

102. **СЪБЪРАТИ (СА), СЪБИРАТИ (СА) — СЪВЪКОУПИТИ (СА).**

9. **ДВЪРЪНИКЪ, ДВЪРЪНИЦА — ВРАТАРЪ.**

В табл. 4 представлены лишь наиболее частотные и показательные вторичные лексемы и их кирилло-мефодиевские соответствия.

В собранном материале было обнаружено еще 15 преславских лексем, для которых невозможно однозначно определить тип распределения в тексте — первый или второй. Как и варианты обоих этих типов дистрибуции, они полностью отсутствуют в пасхальном цикле, в котором представлены исключительно их кирилло-мефодиевские соответствия, и встречаются в чтениях Пятидесятницы, «нового лета» и поста, где они сосуществуют с лексемами первоначального перевода. Однако в чтениях Великой недели евангельский текст не предусматривает контекстов, в которых могли бы встретиться первичные или вторичные варианты. В дальнейших рассуждениях будем у с л о в н о относить эти восточноболгарские лексемы к первому типу.

Теперь уместно отметить, что перечисленные в начале статьи преславские

Циклы чтений	Номера лексических различий											
	74		32		107		18		98		54	
	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б
Пасха	2	8	8	3	1	4	10	4	3	4	7	2
50-ца — пост:												
буд	8	56	4	33	—	25	21	19	1	10	1	4
сб	8	9	2	6	—	9	5	1	1	1	—	—
вс	10	10	3	12	2	2	7	5	1	2	—	1
Великая нед.:												
утр	—	6	1	2	1	2	3	5	—	—	1	1
лит	2	6	—	4	—	1	2	5	4	2	4	5
стр ев	1	4	—	—	2	1	1	3	—	7	—	5
Месяцеслов	8	14	1	12	3	13	6	7	1	2	—	2
Воскресные ев.	2	1	2	—	—	—	5	7	1	—	4	—
Всего:	41	114	21	72	9	57	60	56	12	28	17	20

Таблица 5

Циклы чтений	Типы дистрибуции			
	тип 1	тип 2	тип 3	тип 4
Пасха	—	—	—	45%
50-ца — пост	51%	60%	< 69%	64%
Великая нед.	—	34%	—	56%
Месяцеслов	21%	35%	—	64%
Воскресные ев.	7%	—	—	45%
Количество лексем:	39	43	4	11

лексем, которые полностью вытеснили в Мст варианты первоначального перевода, также неравномерно распределены в этом списке. Евангельский текст не предусматривает их употребления в пасхальном цикле и в воскресных евангелиях. В чтениях же от Пятидесятницы до Великой недели представлено 56 словоупотреблений (в чтениях на будние дни — 37 словоформ, в субботних и воскресных чтениях — соответственно 6 и 13 словоформ), в то время как в чтениях самой Великой недели — только 21 словоформа, т. е. более чем в два раза меньше. В месяцеслове слова этой группы зафиксированы 8 раз. Как видим, эти лексем распределяются в Мст точно так же, как и преславские варианты второго типа дистрибуции, поэтому в дальнейших рассуждениях они условно рассматриваются вместе.

Итак, рассмотренные Т. Славовой лексем имеют в Мст один из четырех типов дистрибуции. Логично предположить, что варианты, имеющие одинаковый тип дистрибуции, проникали в текст этого списка одновременно и параллельно. В таком случае существует принципиальная возможность определять группы лексем, образующие в тексте синхронные пласты, по формальному признаку — по типу их дистрибуции в тексте. Та же характеристика позволяет судить и об относительной хронологии возникновения в конкретном списке текста синхронных лексических пластов. Чтобы продемонстрировать эту возможность, представим результаты проведенного исследования в обобщающей табл. 5.

Самый ранний пласт могут составлять инновации с наиболее узким распространением в тексте. В рассмотренном материале это 4 лексемы, имеющие в Мст дистрибуцию третьего типа. Они могли проникнуть в текст лишь до создания полного апракоса, который лег в основу рукописей Мстиславского круга. В противном случае невозможно объяснить, почему анонимный писец вводил в текст эти вторичные лексемы лишь в чтениях на будние дни циклов Пятидесятницы, «нового лета» и поста и не делал этого во всех остальных чтениях полного апракоса, в которых он оставлял в неприкосновенности варианты первоначального перевода.

Самый новый пласт могут образовывать инновационные лексемы с наиболее широким распространением в тексте. В данном случае это 11 слов четвертого типа дистрибуции. Можно предполагать, что они проникали в текст Мст уже после компоновки исходного полноапракосного списка, поскольку в их распределении не наблюдается зависимости от литургического членения текста.

В отношении этих 14(3+11) лексем есть основания сомневаться в их преславском характере в том смысле, что они проникали в полноапракосный текст Мст соответственно до и после большинства остальных вторичных лексем, которые Т. Славова характеризует как преславские.

Абсолютное большинство инновационных лексем, имеющих в Мст дистрибуцию первого и второго типов, делит полноапракосные чтения этого списка на две большие группы — чтения пасхального цикла, Великой недели и 11 воскресных евангелий, с одной стороны, и чтения циклов Пятидесятницы, «нового лета» и поста, с другой. Лексемы первого типа дистрибуции полностью отсутствуют в первой группе чтений и наличествуют во второй. Преславские варианты второго типа дистрибуции, полностью отсутствуя в пасхальном цикле и в воскресных евангелиях, употребляются в чтениях Великой недели в два раза реже, чем в циклах Пятидесятницы, «нового лета» и поста. Такое распределение основного корпуса преславских лексем вскрывает компилятивный характер представленного в Мст полноапракосного текста и позволяет думать, что они проникли в него в момент создания того полноапракосного списка, который лег в основу рукописей мстиславского круга.

О том, что компилятивный характер имеет не само Мстиславово евангелие, как предполагает Т. Славова [6], а одна из более или менее отдаленных предшествовавших рукописей, говорят два факта. Во-первых, это наличие в Мст инновационных лексем, которые распределены в его тексте равномерно и, следовательно, проникли в него уже после компиляции. Во-вторых, это многократно отмеченные текстологические различия, наблюдаемые между чтениями пасхального цикла и всем последующим текстом в некоторых восточно- и южнославянских списках — в Юрьевском евангелии 1119—1128 г., в евангелии № 6 РГАДА, в Вукановом евангелии ок. 1200 г. и др. [6; 14—16].

Здесь уместно отметить, что наличие в Мст двух основных типов дистрибуции несомненных преславских лексем способно объяснить странный на первый взгляд факт, что во второй части Архангельского евангелия, в которой достаточно полно представлена восточноболгарская лексика, полностью отсутствуют некоторые преславизмы (в том числе такие частотные как **ПРАВО**, **СТАРЪШИНА** **ЖЪРЪЧЪСКЪ**), хотя их кирилло-мефодиевские соответствия встречаются в этой части рукописи регулярно. Это может объясняться похожим (но не идентичным) неоднородным распределением преславских вариантов в том полноапракосном списке, с которого была переписана вторая часть Архангельского евангелия, подобным тому, что наблюдается в Мст.

Таким образом, компилятивность полного апракоса как типа книги представляется вполне вероятной. Но на основе какого текста был составлен этот служебный тип Евангелия? Традиционно считается, что полноапракосное Евангелие возникло на основе краткого апракоса. Однако с этим положением не вполне согласуются данные о распределении преславской лексики в Мст. В циклах Пятидесятницы, «нового лета» и поста чтения на будние дни противопоставлены субботным и

воскресным чтениям в распределении всего 4-х лексем третьего типа дистрибуции, что в принципе может быть свидетельством возникновения полного апракоса на основе краткого. Однако абсолютное большинство преславских вариантов противопоставляет чтения пасхального цикла, Великой недели и 11 воскресных евангелий чтениям циклов Пятидесятницы, «нового лета» и поста, как будничным, так и субботним и воскресным. Есть основания полагать, что таким образом в основе Мст просматривается служебный текст, более короткий, чем краткий апракос, который мог содержать лишь чтения пасхального цикла, Великой недели и 11 воскресных евангелий, реконструированный другим методом на ином материале [11, 12]. Не исключено, что тот же короткий текст лег в основу и краткоапракосного Евангелия, которое само обнаруживает следы компиляции [13].

Итак, распределение преславской лексики в Мст может быть объяснено следующим образом. Первоначальный славянский текст служебного Евангелия, заключающий в себе лишь чтения пасхального цикла, Великой недели и 11 воскресных евангелий, не содержал восточноболгарской лексики. Впоследствии этот текст был дополнен чтениями циклов Пятидесятницы, «нового лета» и поста. Для этого был использован список четвероевангелия преславской редакции. В результате такой компиляции лишь вновь добавленные чтения характеризовались наличием преславских лексем. На этом этапе истории текста кирилло-мефодиевские варианты и их восточноболгарские соответствия находились в отношениях дополнительной дистрибуции, встречаясь в различных по происхождению частях текста. В Мст такое распределение сохраняется у 39 преславских лексем (первый тип дистрибуции) и их кирилло-мефодиевских вариантов. В процессе многократного переписывания такого компилятивного текста писцы, привыкшие в циклах Пятидесятницы, «нового лета» и поста употреблять вслед за рукописью-оригиналом восточноболгарскую лексику, по инерции распространяли ее на последующие чтения Великой недели. Следы такой вторичной экспансии прослеживаются не у всех преславских слов, а примерно у половины (второй тип дистрибуции). Естественно, что писцы распространяли эту лексику лишь на чтения, расположенные после вторичных циклов (т. е. на чтения Великой недели), а не до них (пасхальный цикл, в который она таким образом проникать не могла). Иными словами, инновации распространялись писцами от начальных чтений в последующие по ходу рукописи, а не в обратном направлении, что вполне естественно. Та часть преславской лексики, которая вторично распространялась писцами на чтения Великой недели, в Мст фиксируется в них в два раза реже (34%), чем в исходных циклах Пятидесятницы, «нового лета» и поста (60%), образуя вторичный «наносной» слой. При этом переписчики распространяли на чтения Великой недели не все преславские лексемы, а примерно половину, поэтому их общий удельный вес в этих чтениях оказался в пять раз меньше, чем в циклах, исконно содержавших восточноболгарские варианты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Живов В. М. Проблемы формирования русской редакции церковнославянского языка на начальном этапе // Вопросы языкознания. 1987. № 1. С. 49—53.
2. Дурново Н. Н. Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка // Ужнслоненски филолог. Къ. 4. 1924. С. 72—94; Къ. 5. 1925—1926. С. 893—117; Къ. 6. 1926—1927. С. 11—64.
3. Славова Т. Архангелското евангелие от 1092 година като извор за историята на българския и руския език // Съпоставително езикознание. 1990. № 1. С. 38—40.
4. Добрев И. Гръцките думи в Супрасълския сборник и втората редакция на старобългарските богослужбени книги // Български език. 1978. № 2. С. 89—98.
5. Добрев И. Текстът на Добромировото евангелие и втората редакция на старобългарските богослужбени книги // Български език. 1979. № 1. С. 9—21.
6. Славова Т. Преславска редакция на Кирило-Методиевия старобългарски евангелски превод // Кирило-Методиевски студии. София, 1989. Кн. 6. С. 15—129.
7. Славова Т. Преславски следи в лексиката на Архангелското евангелие // Език и литература. 1984. № 1. С. 11—20.
8. Темчин С. Ю. Восточноболгарская лексика в тексте Мстиславова евангелия // Историческое развитие

языков и методы его изучения. Тезисы межвузовской конференции (Свердловск, 25—27 октября 1988 г.). Свердловск, 1988. Ч. 2. С. 107.

9. Апракос Мстислава Великого/Под ред. Л. П. Жуковской. М., 1983.
10. Soden H. F., von. Die Schriften des Neuen Testaments in ihrer ältesten erreichbaren Textgestalt hergestellt auf Grund ihrer Textgeschichte. Göttingen, 1913. B. 2: Text mit Apparat.
11. Темчин С. Ю. О возможности реконструкции объема и состава текста первого славянского перевода с греческого//Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1987. № 6. С. 46—50.
12. Темчин С. Ю. Дистрибуция глагольных разночтений в древнейших славянских списках Евангелия и объем первоначального перевода//Исследования по глаголу в славянских языках: История славянского глагола. М., 1991. С. 9—41.
13. Темчин С. Ю. Было ли краткоапракосное Евангелие первой славянской книгой, переведенной с греческого//Исследования по славянскому историческому языкознанию: Памяти профессора Г. А. Хабургаева. М., 1993. С. 13—29.
14. Жуковская Л. П. Юрьевское евангелие в кругу родственных памятников//Исследования источников по истории русского языка и письменности. М., 1966. С. 54.
15. Врана Ј. Вуканово еванђеље//Српска Академија наука и уметности. Посебна издање. Књ. 404. Одељење литературе и језика. Књ. 18. Београд, 1967. С. 6—8.
16. Десподова В. Карпинското евангелие и неговото место меѓу словенските полни апракоси//Slovo. 1986. Sv. 36. С. 174.



© 1996 г. ГАЛЬЧЕНКО М. Г.

ДАТИРОВАННЫЕ НОВГОРОДСКИЕ РУКОПИСИ КОНЦА XIV — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XV в. И ПРОБЛЕМА ВТОРОГО ЮЖНОСЛАВЯНСКОГО ВЛИЯНИЯ

Эпоха конца XIV — первой половины XV в. привлекает внимание исследователей древнерусской письменности с прошлого столетия до настоящих дней, поскольку она является особым переходным периодом, когда в значительной степени изменяется облик и правописание древнерусских рукописных книг: на смену уставу и «старшему» полууставу приходит «младший» полуустав, наблюдаются заметные инновации в графике и орфографии (в частности, входят в употребление знаки акцентуации, запятая, точка с запятой, изменяются правила употребления ряда графем, начинают использоваться некоторые графемы, не употреблявшиеся в древнерусских рукописях XIII—XIV вв.). Эти изменения большинство исследователей, начиная с А. И. Соболевского, связывают с так называемым вторым южнославянским влиянием на Русь в указанный период [1. С. 8]. В то же время, причины, характер и результаты данного явления по-разному оцениваются исследователями, до сих пор оно вызывает острые дискуссии.

В нашей предшествующей работе «Книгописание в Спасо-Андрониковом монастыре и проблема второго южнославянского влияния на Русь в конце XIV—XV вв.» мы подвергли сомнению точку зрения ряда исследователей, в том числе Д. Ворты и Л. П. Жуковской [2; 3], отрицающих само существование южнославянского влияния на Русь в конце XIV—XV вв. и пытающихся объяснить изменения, происходившие в древнерусской письменности, архаизацией и грецизацией. На основании анализа датированных рукописей, созданных в Спасо-Андрониковом монастыре, мы пришли к выводу, что одной архаизирующей тенденцией писцов невозможно объяснить инновации в графико-орфографических системах писцов ряда рукописей рассматриваемого периода, в том числе спасо-андрониковских Златоструя 1407 г. (БАН, 33.16.15) и Евангелия тетр с предисловием и толкованиями Феофилакта Болгарского 1416 г. (ГИМ, Чертк. 42/256), не говоря уже об изменениях в почерках, явно носящих отпечаток влияния почерков южнославянских рукописей (особенно это относится к Евангелию тетр 1416 г.) [4. С. 59—69]. Этот вывод особенно наглядно иллюстрирует сопоставление упомянутых рукописей со Спасо-Андрониковским Изборником 1403 г. (ГИМ, Син. 275), правописание которого в значительной степени ориентировано на орфографию его непосредственного оригинала — Изборника 1073 г. и практически лишено следов второго южнославянского влияния. Архаизирующие тенденции писцов Изборника 1403 г. привели к созданию такой графико-орфографической системы, которая существенно от-

личается от систем древнерусских рукописей, отражающих второе южнославянское влияние, таких, как Евангелие тетр 1416 г., прежде всего отсутствием знаков акцентуации и таких строчных знаков, как запятая и точка с запятой, отсутствием смещения юсов и написаний с буквой ь вместо ъ на конце слов. Расстановка акцентных знаков, употребление юсов и еров в таких рукописях явно восходят к среднеболгарским образцам. В отличие от Л. П. Жуковской, мы не считаем термин «второе южнославянское влияние» в древнерусской письменности «неправильным» [3. С. 146]: на наш взгляд, он вполне адекватно отражает реальные процессы, происходившие в древнерусской книжности конца XIV—XV вв. Появление «южнославянизмов» в рукописях этого периода, как показало наше исследование, не является просто результатом механического копирования написаний южнославянских оригиналов (которое в известной степени наблюдалось на протяжении всей истории древнерусской письменности у не самых квалифицированных писцов). Сознательное употребление писцами ряда «южнославянизмов» было продемонстрировано при анализе графики и орфографии писцовых записей спасо-андриковских и некоторых других рукописей данного периода. Проведенное исследование графики и орфографии спасо-андриковских и некоторых других северо-восточных рукописей конца XIV — первой половины XV в., имеющих точную дату, не позволяет нам согласиться с утверждением Л. П. Жуковской, что «новые особенности русской письменной культуры (...) складывались веком позднее, т. е. во 2-й половине не XIV, а XV в. и захватывали XVI в.» [3. С. 145]. Этот вывод был сделан Л. П. Жуковской в результате наблюдений над графико-орфографическими особенностями псковских и некоторых новгородских Прологов конца XIV—XVI вв., особенно их писцовых записей.

Среди исследователей древнерусской письменности и культуры бытует мнение, насколько нам известно, никем отчетливо не выраженное и не аргументированное, что второе южнославянское влияние в рукописях новгородско-псковского региона проявляется с более позднего времени, чем в северо-восточных памятниках. Такое мнение разделяли и мы [4. С. 44—45]. Однако проведенное нами в 1994—1995 гг. исследование двенадцати новгородских рукописей, имеющих точную дату (к сожалению, не все датированные новгородские рукописи этого периода изучены — такая работа предполагается в дальнейшем), показало, что данное представление о новгородской письменности нуждается в определенной корректировке.

В ряде новгородских рукописей конца XIV — первой четверти XV в., в частности, Апостоле 1391 г. (РНБ, Пог. 26), Минее 1398 г. (БАН, 34.7.5), Каноннике 1411 г. (РНБ, Соф. 399), Стихираре 1424 г. (ГИМ, Син. 887), Минее служебной на ноябрь-декабрь 1425 г., действительно, почти нет следов второго южнославянского влияния. Как легко заметить, все указанные рукописи содержат традиционные для древнерусской письменности богослужебные тексты. Обе Минеи отражают Студийский, а не новый для Руси этого периода Афонско-Иерусалимский устав [5. С. 82—85; 6. С. 90—94]. В то же время, имеются новгородские рукописи конца XIV — первой половины XV в., в почерках и графико-орфографических системах которых выявляются признаки второго южнославянского влияния. Анализ этих рукописей и посвящена настоящая статья.

Древнейшей из датированных новгородских рукописей, в графике и орфографии двух из трех писцов которой отражается второе южнославянское влияние, является Тактикон Никона Черногорца, написанный в монастыре на Лисичьей горке в 1397 г. (РНБ, Ф п. I 41). Он написан на 222 листах пергамента размером в 1⁰ старшим («русским») полууставом в основном трех почерков (кроме них, в рукописи имеются вкрапления еще двух почерков). Первым, наиболее архаичным почерком, выполнена датирующая запись в конце книги на л. 222 и киноварные заголовки во всей рукописи. Остальной текст написан вторым и третьим писцами, почерки которых чередуются в среднем через каждые два-три листа, причем смена почерков обычно наблюдается в пределах одного листа и даже столбца текста.

Графико-орфографическая система первого писца Тактикона Никона Черно-

горца в основных чертах характерна для древнерусских рукописных книг XIV в., эпохи, предшествующей периоду второго южнославянского влияния: первый писец не употребляет знаков акцентуации, а также таких строчных знаков, как запятая и точка с запятой, регулярно употребляет монограф *ѷ* после букв согласных (лигатуры *Ѹ* мы у него не встретили), пишет *ѹ* в соответствии с (ja). Первый писец не употребляет букв «юс большой» (*ж*), букву «зело» использует только в числовом значении (эта буква имеет у него типичное для древнерусских рукописей XIII—XIV вв. перевернутое справа налево начертание). Проявление второго южнославянского влияния в области орфографии у первого писца можно видеть только в изредка встречающихся у него написаниях с *жд* в соответствии с праславянским **dj*, например: *прежѣ* 213а, но чаще этот писец в соответствии с **dj* пишет *ж*, что обычно для древнерусских рукописей XIII—XIV вв.: *оуѣтверженьи* 122г, *осуѣжуются* 146а и т. п.

В отличие от первого писца Тактикона, у второго и третьего писцов в области графики и орфографии отмечается ряд особенностей, в которых можно видеть проявление второго южнославянского влияния, хотя и они еще во многом следуют традициям древнерусской письменности XIII—XIV вв.

Традиции древнерусской письменности XIV в. проявляются, в частности, в том, что второй и третий писцы, как и первый, регулярно употребляют монограф *ѷ* после букв согласных, а диграф *оу* — в начале слов и после букв гласных. Написания с лигатурой *Ѹ* встречаются у них крайне редко (например: *Ѹгажѣати* 9г у второго писца). Как правило, второй и третий писцы употребляют букву «зело» в числовом значении, только один раз у третьего писца нам встретилось написание *истѣѣли* (sic) 107в с начертанием буквы «зело», повернутым справа налево. В. Н. Щепкин указывал, что буква «зело» начинает использоваться для обозначения звука (z) в древнерусских рукописях под влиянием графики болгарских рукописей [7. С. 130].

Основные писцы Тактикона Никона Черногорца 1397 г. обычно не употребляют букву «юс большой». Только в одном случае третий писец рукописи написал «юс большой», в начертании которого, этого, как нередко в древнерусских рукописях конца XIV — начала XV в., соединены особенности начертаний *ж* и *л*: *жже во ѿ краше*^н и *питни мокроты боюся* 83б. Данное написание отражает смешение юсов, характерное для болгарских рукописей XIII—XIV вв.: *ж* здесь написан вместо *л*. По-видимому, данное написание отражает особенности орфографии болгарского протографа. Чаще, однако, смешение юсов в протографе отражается в рассматриваемой рукописи опосредованно, в виде написаний с *л* и *ѹ* вместо *ю*, *ѷ* и наоборот, например: *непщюю*, *творѣ* (наст. вр., 1 л. ед. ч.) 180а у второго писца, *надею же съ* (прич.) 214а у второго писца. Такие написания обусловлены тем, что у древнерусских писцов буква *ж* ассоциировалась с теми фонемами, которые они регулярно обозначали буквами *ѷ*, *ю*, а буква *л* — с фонемами, обозначавшимися буквами *ѹ*, *л*. Написания оригинала со смешением юсов требовали от писцов особого внимания и проверки собственным произношением, что в некоторых случаях они могли забыть сделать. Впрочем, подобные ошибки в рассматриваемой рукописи сравнительно редки.

У второго писца рассматриваемой рукописи встречаются написания с буквой *ѣ* вместо *л*, а после букв исконно мягких согласных: *произволѣюще* 132б, *испльнѣющаю* 17б и т. п. Такие написания также, очевидно, связаны с болгарским протографом. В начале рукописи подобные написания отмечаются заметно чаще, чем в конце. У третьего писца *ѣ* в соответствии с (a) почти не встречается.

Написания с буквой *ь* вместо *ѣ* на конце слов, предлогов и приставок (не после мягких согласных) изредка встречаются как во втором, так и в третьем почерке: *предложивъ* 2б, *не възъпоминающихъ* 211а II, *проповѣдавъ* 83б, *бѣсовъ* 82в III. Появление таких написаний тоже может быть обусловлено влиянием южнославянского протографа.

Как у второго, так и у третьего писца лисицкой рукописи наряду с обычными для древнерусских рукописей XIV в. написаниями сочетаний «редуцированный + плавный» в корнях слов, отражающими прояснение этих редуцированных (первѣи 2а, должень 18а II, держащи 326, исполнѣти 22а III и т. п.), имеются написания данных сочетаний с буквами ъ, ь после р, л, как в южнославянских рукописях: пльнѣ прил., Д. ж. 17а, Фкрѣмльѣми 176, възрѣжаниа 186 II, въ зрѣцалѣ 1216 III. У третьего писца такие написания редки, а у второго в начале рукописи они встречаются значительно чаще, но во второй ее половине практически исчезают у обоих писцов.

О том, что данная книга могла иметь даже не отдаленный южнославянский протограф, а непосредственный южнославянский оригинал, говорит сообщение писцовой записи на л. 222, что рукопись Тактикона Никона Черногорца была принесена игуменом Лисицкого монастыря Илларионом со Святой горы, и по повелению новгородского архиепископа Иоанна с нее в Лисицком монастыре был сделан список, которым и является рассматриваемый памятник (в лѣтѣ ѿ. ѿ. ѿ. при кнѣ великомъ васильи дмитриѣви всемъ руси. при мотрополитѣ (sic) киприѣнѣ всеа руси. при архіеписѣ новгородскомъ иваннѣ. списана въ книга снѣ стѣи никонѣ. въ великомъ новгородѣ. къ стѣи вѣѣ чѣтному ѿ ржѣтву на лисичью горку. повелѣниемъ того же архіеписѣ новгородской иванна. вѣнеслѣ во баше снѣ книги стѣи никонѣ. изъ стѣи горы. игуменъ ларионѣ. того же монастыря. а тогда игуменьствующю варламу оученику его. а писали снѣ книги. два калугера. ѿковѣ. да пуминѣ. к. дннн. въ славу б. ѿ. н пречѣтнѣи его мѣри влѣччѣ нашей вѣи чѣтному ѿ ржѣтву. аминь.). Таким образом, наличие в рассматриваемой нами лисицкой рукописи спорадических «южнославянизмов» вполне закономерно. Однако некоторые «южнославянские» особенности правописания входят в графико-орфографическую норму второго и третьего писцов Тактикона, активно усваиваются ими, а не просто механически копируются. К числу таких особенностей относится, в частности, употребление буквы а после букв гласных в соответствии с (ja) у второго и наиболее часто — у третьего писца, например: оканаа, держащаа 35а, съединенѣа II, невъвозможаа 112а, подаати 214а, съ сандалѣми 81а III.

Второй писец рассматриваемой рукописи нередко употребляет і перед буквами гласных: влѣтѣю, на сѣхѣденѣе, вареннѣа 176, тѣчѣю 1606, ѿ стѣи 1806 II; у третьего писца такие написания единичны: прѣемла 220а. Написания с «и-десятеричным» (і) перед буквами гласных становятся нормативными для писцов древнерусских рукописей со времени второго южнославянского влияния; раньше эта буква употреблялась главным образом на конце строки для экономии места. В рассматриваемой рукописи «и-восьмеричное» (и) встречается перед буквами гласных еще значительно чаще, чем «и-десятеричное» (і), в отличие от более поздних рукописей, в которых в указанной позиции пишется преимущественно или почти исключительно «и-десятеричное» (і), например, новгородской Минеи служебной на ноябрь 1438 г.

В соответствии с праславянским *dj второй и третий писцы Тактикона часто пишут жд, что характерно для древнерусских рукописей эпохи второго южнославянского влияния: принужаѣми 9а, тужаѣ 96 II, прежаѣ 3а, б III и т. п. В рассматриваемом памятнике написания с жд в соответствии с *dj входят в орфографическую норму писцов (впрочем, встречаются у них и традиционные для восточнославянских рукописей написания с ж в соответствии с *dj, например: виж 906 II, оубужше же са 2016 III и т. п.). О нормативности написаний с жд для писцов Тактикона свидетельствует ряд допущенных ими гиперкоррективизмов, например: подражавах 1206, раздражаючи 86а III.

Из строчных знаков, кроме обычной для древнерусских рукописей точки, основные писцы Тактикона употребляют запятую, особенно часто — второй писец. Третий писец начинает использовать этот знак приблизительно с 60-х листов

рукописи. Как отмечал В. Н. Щепкин, запятая приходит в русское правописание в качестве знака правописания со вторым южнославянским влиянием [7. С. 131].

Из знаков акцентуации, появляющихся в древнерусских рукописях в результате второго южнославянского влияния, в рассматриваемой рукописи употребляется кендема (имеющая вид двух наклонных параллельных черточек) преимущественно над односложными словами. Третий писец использует данный знак очень часто, а второй начинает употреблять его приблизительно с л. 160. По нашим наблюдениям, в древнерусских рукописных книгах конца XIV — начала XV в. из всех акцентных знаков наиболее рано и регулярно начинает использоваться именно кендема над односложными словами. Возможно, этот знак был быстро усвоен древнерусскими писцами потому, что он, выделяя односложные слова, облегчал словоделение при чтении. Другие акцентные знаки в Тактиконе практически не употребляются, встречаются лишь единичные написания с ними у третьего писца.

Подавляющее большинство древнерусских рукописных книг, имеющих в своей основе южнославянские протографы, сохраняют в своей графике и орфографии какие-то следы их правописания. Это наблюдается и задолго до второго южнославянского влияния. При этом, как показал Н. Н. Дурново, древнерусские писцы XII—XIV вв. не копировали в точности графику и орфографию южнославянских протографов, а руководствовались главным образом характерными для своего времени и своей книгописной традиции нормами правописания [8. С. 73]. Как было показано выше, писцы лисицкого Тактикона Никона Черногорца 1397 г. в значительной степени следовали традициям древнерусского правописания XIV в. и не стремились в точности передавать орфографию болгарского протографа. Однако мы считаем вполне возможным говорить об отражении в данной рукописи второго южнославянского влияния потому, что некоторые «южнославянские» орфографические особенности уже вошли в правописную норму второго и третьего писцов этой рукописи, а именно написания с жд в соответствии с *dj, написания с а в соответствии с (ja), употребление запятой и кендемы (особенно у третьего писца). Употребление і перед буквами гласных в середине строки становится допустимым (наряду с традиционным использованием буквы и в этой позиции) в графико-орфографической системе второго писца. Интересно, что в лисицком Тактиконе 1397 г. «южнославянизмы» используются писцами регулярнее, чем в спасо-андриковской рукописи «О постничестве» Василия Великого (ЦМиАР, КП 952), написанной в промежутке от 1393 до 1407 гг., а, по мнению Б. М. Клосса (устное высказывание), в 1402—1407 гг., также имевшей в своей основе южнославянский протограф [4. С. 3—17; 9]. В спасо-андриковской рукописи те «южнославянские» особенности орфографии, которые уже вошли в норму лисицких писцов, находятся еще на периферии нормы, принятой основным писцом.

Существенно, что Тактикон Никона Черногорца несомненно был написан носителями новгородского диалекта, а не писцами, пришедшими в Новгород из других центров, о чем свидетельствуют написания с буквой ц вместо ч и наоборот, особенно многочисленные у второго писца (например, *клячѣтъ*^с 9а, *члвѣцъская* 10а, *сиче* 9б II; *вторичею* 152а III) и мена букв *ѣ-н*, также наиболее частая у второго писца (*долготерпини ѣ* 10а, *срич*^ч 101а, *до зди* 207а II; *правѣлѣ* 130а III).

В графико-орфографической системе другой лисицкой рукописи конца XIV в. — Паренесисе Ефрема Сирина с прибавлениями (РНБ, Ф. 1. 202) также отмечаются некоторые особенности, связанные со вторым южнославянским влиянием. Писец этой рукописи Савва систематически пишет букву «зело» в слове *зѣло* (начертание данной буквы выглядит как s, перевернутое справа налево), употребляет запятую; в данной рукописи иногда встречаются написания с буквой а после букв гласных (*Окаѣнни* 65б, *днѣволъ* 70в, *вѣдѣлъ* *ѣсть* 150а, *вѣпнѣхъ* 170г, *нереѣ* 225г — в писцовой записи и т. п.), изредка отмечаются написания с жд в соответствии с *dj (прежде 123а) и знаки акцентуации.

Из всех известных нам новгородских рукописей рассматриваемого периода наиболее яркое проявление второго южнославянского влияния наблюдается в лисицкой Лествице с дополнениями 1431 г. (РГБ, Рум. 200), где, кроме регулярного употребления запятой, акцентных знаков, жд в соответствии с *dj, буквы а после букв гласных, і перед буквами гласных в середине строки, написаний корневых сочетаний «редуцированный + плавный» с буквами ь, ъ после р, л, отмечаются частые (особенно в первой половине книги) написания с «юсом большим», меной юсов, с ѣ в соответствии с (а) (эти особенности характерны для среднеболгарских рукописей, одна из которых, вероятно, являлась протографом лисицкой Лествицы). Следует отметить, что «южнославянизмы» имеются в данной рукописи не только в основном тексте, но и в очень коротких писцовых записях, а также в одной, очевидно, русской по происхождению, дополнительной статье к Лествице, включающей толкования непонятных для русских читателей слов. В этой статье мы встречаем и «юс большой», и мену юсов, и написания с ѣ в соответствии с ('а).

По мнению А. Г. Боброва, Лисицкий монастырь был «проводником» второго южнославянского влияния в Новгороде, отличаясь от других новгородских культурных и книгописных центров [б. С. 98]. Вполне возможно, что более раннее, чем в других новгородских рукописях, появление «южнославянских» особенностей в графике и орфографии лисицких рукописей обусловлено особыми традициями данного монастыря, поддерживавшего контакты с Афоном и непосредственно оттуда узнавшего новый для русских земель конца XIV в. Афонско-Иерусалимский устав, практика которого отражена в Тактиконе Никона Черногорца 1397 г. [б. С. 90].

Обращает на себя внимание также характер тех текстов, которые содержат указанные выше древнейшие новгородские рукописи со следами южнославянского влияния — это аскетические сочинения. По нашим наблюдениям, именно в рукописях, содержащих аскетические сочинения, и особенно такие, которые были неизвестны на Руси ранее конца XIV — начала XV в., наиболее рано и интенсивно проявляются признаки второго южнославянского влияния. Древнейшей рукописью с заметными на графико-орфографическом уровне проявлениями второго южнославянского влияния является написанная русским писцом в Константинополе Диоптра инока Филиппа 1388 г. (в которой регулярно употребляются запятая, точка с запятой, некоторые акцентные знаки, употребляется лигатура Ѣ в середине строки, буква а нередко пишется после букв гласных, «и-десятеричное» — перед буквами гласных не только на конце строки, встречаются «южнославянские» написания сочетаний редуцированных с плавными в корнях слов, написания с жд в соответствии с *dj).

По мнению А. А. Турилова (устное сообщение), второе южнославянское влияние на Руси собственно и начинается с интенсивного переписывания древнерусскими, чаще всего монастырскими, писцами аскетических сочинений, переводы которых были выполнены в XIV в. южными славянами (нередко на Афоне). Вначале это влияние обнаруживается главным образом на уровне текстов, но очень скоро начинает сказываться в области графики, орфографии, а затем и почерков, в результате чего устав и старший полуустав сменяется младшим и многие древнерусские писцы приблизительно с середины десятых годов XV в. начинают копировать южнославянское (почти исключительно болгарское) правописание или усиленно подражают ему. Наши исследования полностью подтверждают эту гипотезу.

Служебные Миней 1438—1441 гг. были созданы для Софийского собора по заказу новгородского архиепископа Евфимия. Все они написаны типичным младшим полууставом, в орфографические нормы их писцов входит ряд «южнославянских» особенностей правописания. Интересно, что все четыре софийские Миней, а также Минейя на январь 1441 г. (РГБ, Рум. 273) написаны на пергамене; таким образом, довольно широко распространенное мнение о том, что младший

полуустав предполагает в качестве материала для письма бумагу, не учитывает всех фактов. (Нам известны еще две рукописи, написанные на пергамене младшим полууставом — Лествица 1419 г., написанная дьяконом Стефаном по благословению митрополита Киевского и всея Руси Фотия для священноинока старца Саввы (РНБ, Q. п. I 17) и очень сходная с ней по тексту, оформлению и орфографии Лествица 1421 г., написанная дьяконом Иоанном по благословию Амвросия, епископа Коломенского (РНБ, Пог. 73).)

Из всех четырех софийских Миней наиболее заметно признаки второго южнославянского влияния выражены в графико-орфографической системе Миней служебной на ноябрь 1438 г., написанной в монастыре на Перыне игуменом Дионисием (Соф. 191). Он очень часто употребляет букву *з* в соответствии с (*z*), например: при (...) *кнзѣи* в писцовой записи на л. 298, *зѣло* 112 и т. п. Буква *а* нередко употребляется Дионисием после букв гласных: *двоуствѣ сѣа, бѣоимѣа, братѣа, свѣѣа, ѡканнѣх* в приписке, *прѣасте, многѣа* 80б. и др. Написания с *ї* перед графемами гласных являются нормой для писца. Лигатура *ѣ* пишется не только на конце, но и в середине строки (*говѣѣ юще* 17, *хоцѣ 60* и т. п.), но обычно после букв согласных употребляется диграф *оу* (в древнерусских рукописях XIV в. обычно в указанной позиции пишется монограф *у*). Буква «юс большой» встречается у Дионисия крайне редко (например: *плѣтѣж* 96(97)), возможно, написания с «юсом большим» были перенесены из протографа. Из числа тех строчных знаков, которые появляются в древнерусских рукописях с эпохи второго южнославянского влияния, Дионисий употребляет запятую. Из надстрочных знаков регулярно встречается паерок (в основном вместо пропущенных букв редуцированных), вернувшийся в древнерусские рукописи в эпоху второго южнославянского влияния (после XII в. он редко употреблялся в восточнославянских рукописях), а также знаки акцентуации, такие как кендема, оксия, вария, исо, реже — «великий апостроф» и очень редко — камора.

На конце слов вместо буквы *ѣ* в рассматриваемой рукописи нередко пишется *ь* (чаще всего после букв *к, г, х, в*, но иногда и после букв согласных, парных по твердости — мягкости): *садовь, ѣсточникъ* 120, *ѡдѣань* (прич.) 140, *въ пѣснѣхъ, ѡградивь, повергь, проповѣдникъ* 160(161) и др. В соответствии с **dj* очень часты написания с *жд*: *понѣжѣаху* 21, *прежѣе* 52(53), *рожѣнѣе* 60 и др., иногда встречаются и гиперкорректизмы: *полождьша* 21. В соответствии с сочетаниями редуцированных с плавными в корнях слов в рукописи Дионисия наиболее часты обычные для древнерусских рукописей с XIII в. написания с буквами *о, е* перед буквами плавных (перваго 26, по долгоу 31 и т. п.), написания «южнославянского типа» встречаются заметно реже (*оумръщѣемѣи* 78(79) и др.).

Графико-орфографическая система Миней служебной на июнь 1439 г., написанной дьяконом Диомидом (Соф., 207) имеет много общего с графико-орфографической системой Миней 1438 г. В Минее 1439 г. сравнительно нередки написания с буквой *а* после графем гласных (*бѣоимѣа* в писцовой записи на л. 236, *хвалащѣа* 108об. и др.), часто пишется *ї* перед буквами гласных (*повелѣнѣемь, здравѣе, спснѣе, ѡпоущенѣе* в записи на л. 236, *оученѣа* 9 и т. п.) наряду с *и* в той же позиции. Буква «зело» встречается в рассматриваемой рукописи очень редко (например: *дрѡѣи* 225об.). Буква «юс большой» в данной рукописи не отмечена. Писец Миней 1439 г. употребляет запятую, паерок, из акцентных знаков очень часто встречается исо, реже — кендема, крайне редко — камора; «великий апостроф» нами в данной рукописи не отмечен. В соответствии с **dj* часто пишется *жд* (*рожѣшасѣ, прежде, восхожденѣа* 9 и т. п.). На конце слов, особенно предлогов, и на конце приставок имеются написания с *ь* вместо *ѣ*: *къ соѡѣи* 145, *въ начатѣѣ, вжегь* 140об. и др. «Южнославянские» варианты написания сочетаний редуцированных с плавными в корнях слов встречаются редко (например: *не ѡтврѣжесѣ* 145).

В графике и орфографии двух Миней — на февраль и на апрель, написанных

в 1441 г. дьяконом Иоанном (Соф. 196 и Соф. 200), признаки второго южнославянского влияния выражены несколько слабее, чем в двух предыдущих рукописях. Минеи 1441 г. очень сходны между собою по особенностям правописания. В обеих рукописях буква **д** нередко пишется после букв гласных, особенно часто — в Соф. 200 (например: *ноєврія, ѿнфілоѡѿѿа сѿа, Ѣоуфимѿа, діаконъ* в писцовой записи на л. 211 Минеи на апрель (Соф. 200); *сѿа, Ѣоуфимѿа, діаконъ* в писцовой записи Минеи на февраль (Соф. 196)). В рукописях Иоанна (особенно в Соф. 200) часто пишется **ї** перед буквами гласных. Иоанн не употребляет графему «зело»; буква «юс большой» не отмечена нами в апрельской Минее и февральской Минее. После букв согласных Иоанн обычно пишет диграф **оу** и очень редко — лигатуру **Ѹ**. В обеих рукописях этого писца употребляется запятая, паерок, из акцентных знаков — **исо**, **кендема**, «великий апостроф». Написания с **каморой** не отмечены.

В февральской и апрельской Минеях в соответствии с *dj часто пишется **жд** (*рож^аѿшн, даж^а 52* и т. п. Соф. 196; *тоуждаго 62, наслаж^ающа 97* и др. Соф. 200). Очень немногочисленные написания с **ь** вместо **ъ** на конце слов отмечены нами только в апрельской Минее, например: *смѣрень оу^омомь 123*. «Южнославянские» варианты написаний плавных с редуцированными в корнях слов также встретились нам только в апрельской Минее, например: *трѣпѣннѿа 11, съ дръзно-вениѢ^омь 15, трѣзьвно 60* и т. п.

Таким образом, все софийские Минеи имеют очевидное сходство между собой в почерках, графике и орфографии; в них обнаруживаются в основном одни и те же признаки второго южнославянского влияния: прежде всего, это употребление буквы **д** после букв гласных в соответствии с (ja), буквы **ї** перед графемами гласных, диграфа **оу** или лигатуры **Ѹ** после графем согласных, запятой, знаков акцентуации (наиболее часто — **кендемы**, **исо**, **оксии** и **варии**, заметно реже — **каморы**), **паерка**, написания с **жд** в соответствии с *dj, а во вторую очередь — также написания с **ь** вместо **ъ** на конце слов и приставок, «южнославянские» варианты написаний сочетаний редуцированных с плавными в корнях слов и употребление «зело» не в числовом значении, а в качестве буквы. Те же особенности характерны и для Минеи служебной на январь 1441 г. (РГБ, Рум. 273). Именно эти признаки второго южнославянского влияния наиболее часто и регулярно встречаются в древнерусских рукописях конца XIV—XV вв., как показывают наши наблюдения над графикой и орфографией 60 датированных рукописных книг этого периода из разных регионов Древней Руси. Нет сомнения, что эти особенности правописания усваивались древнерусскими писцами, а не просто механически переносились из протографов: в подавляющем большинстве случаев одни и те же «южнославянизмы» встречаются и в основном тексте, и в писцовых записях (в том числе это наблюдается и в рассмотренных выше новгородских Минеях, как видно из приведенных примеров). Среди исследованных нами памятников, конечно, имеются и рукописи с более выраженным южнославянским влиянием, в которых часто употребляется «юс большой», наблюдается смешение юсов, мена **ж** — **ъ** (особенно в **нъ** — **нж**), мена **ѣ** — **а** в соответствии с ('а) и т. п., но эти особенности южнославянского правописания, по нашим наблюдениям, обычно менее прочно усваиваются древнерусскими писцами и нередко количество подобных написаний то резко возрастает, то резко уменьшается даже в пределах одного почерка (что можно наблюдать и в упомянутой выше лисицкой Лествице 1431 г.). Различный набор «южнославянизмов» в различных древнерусских рукописях, на наш взгляд, никак не может быть основанием для отрицания второго южнославянского влияния, тем более, если принять во внимание обычную для древнерусских рукописей графико-орфографическую вариативность и различие графико-орфографических систем разных писцов, наблюдаемое с самого начала древнерусской письменности, причем нередко — внутри одной и той же рукописи.

«Южнославянизмы» в древнерусских рукописях конца XIV — начала XV в.

могут употребляться непоследовательно, а некоторые из них — даже окказионально; *существенно само их наличие*, строгая норма в их употреблении может отсутствовать (что верно не для всех, но по крайней мере для некоторых категорий «южнославянизмов», различных в разных рукописях). На наш взгляд, особенности употребления «южнославянизмов» в графике и орфографии древнерусских рукописей рассматриваемого периода имеют отдаленное сходство с особенностями функционирования специфически книжных морфологических и синтаксических элементов (таких, как аорист, имперфект, действительные причастия, формы двойственного числа, обороты «дательный самостоятельный», «еже с инфинитивом» и т. п.) в древнерусских гибридных текстах, например, в летописях [10. С. 54—55]. Это сходство заключается в том, что в обоих случаях мы имеем дело с определенным набором признаков «книжности» текста: в одном случае — на морфологическом и синтаксическом уровнях, в другом случае — на графико-орфографическом уровне. По нашим наблюдениям, в древнерусских рукописях первой половины XV в., правописание «южнославянского типа» (по крайней мере, в некоторых чертах, перечисленных выше) становится престижным, демонстрирует искусственность писцов в области книжного письма; писцы не только воспроизводят соответствующие особенности орфографии своих оригиналов, но и стараются имитировать их в других случаях, в частности, в своих приписках. Наше исследование показывает, что и Новгород в рассматриваемый период не остался целиком на стороне от указанных тенденций. При этом древнерусская и, в частности, новгородская, письменность, конечно, не представляют собой вполне однородной целостности в отношении второго южнославянского влияния. Очевидно, в разных книгописных центрах и скрипториях существовали разные традиции, одни были более консервативными в своей культурной ориентации, другие — менее консервативными, активно интересовались духовной и культурной жизнью других областей православного мира, поддерживали связи с Афоном, как, например, Лисицкий монастырь, что отражалось, в частности, и в области книжного письма. Закономерно, что наиболее рано и интенсивно признаки второго южнославянского влияния проявляются в тех рукописях, которые содержали неизвестные ранее на Руси тексты или редакции текстов, как в случае с Тактиконом Никона Черногорца 1397 г. или софийскими Минеями 1438—1441 гг., отражающими практику нового для Руси этого времени Афонско-Иерусалимского устава. Рукописи с традиционными для древней Руси текстами, в частности, Прологи, рассматривавшиеся Л. П. Жуковской [3], значительно более традиционны и в отношении орфографии. Так, рассматривая новгородский Пролог, датированный обычно 1431 г. (РНБ, F п. I. 48), но, очевидно, написанный писцом Иовом в 1425 г. (сведенную дату писцовой записи удалось прочитать в Кодикологической лаборатории РНБ Д. О. Цыпкину), Л. П. Жуковская справедливо отмечает, что в писцовой записи этой рукописи по некоторым приметам отчетливо просматривается полное отсутствие второго южнославянского влияния [3. С. 154]. В то же время, по нашим наблюдениям, в почерке писца этой рукописи появляются некоторые «южнославянские» начертания ряда букв, в частности, «омега» с высокой серединкой, специфические начертания «Ѣ широкого», начертания ч с односторонней чашечкой и буквы ы без отворота (впрочем, следует заметить, что такие начертания ы изредка встречаются в древнерусских рукописях XIII в.); количество «южнославянских» начертаний увеличивается к концу рукописи. Кроме того, в основном тексте рукописи регулярно употребляется паерок, спорадически встречаются знаки акцентуации, запятая и точка с запятой, написания с буквой а в соответствии с (ja) (например: ѡа 128), с буквой ь вместо ѣ (например: ѡады смердѡць 9а). В Прологе 1425 г. «южнославянизмы» находятся еще на периферии принятой писцом нормы, только начинают в нее входить.

В Октоихе 1435 г., написанном по заказу архиепископа Евфимия для Софийского собора, мы наблюдаем уже примерно тот же набор признаков второго южнославянского влияния, что и в софийских Минеях 1438—1441 гг. Видимо, не случайно орфография новгородских рукописей претерпевает существенные

изменения именно при архиепископе Евфимии, и эти изменения наиболее ярко выражаются в книгах, написанных по его заказу.

Таким образом, в конце XIV — первой половине XV в. второе южнославянское влияние проявляется в орфографии новгородских рукописных книг, прежде всего тех, которые содержали новые для Древней Руси тексты. Переход к младшему полууставу наблюдается уже во многих рукописях первой половины XV в. В это время «южнославянские» особенности начертаний букв и правописания начинают проникать и в рукописи с более традиционными для древнерусских книг текстами.

Список сокращений

- БАН — Библиотека Российской Академии наук. Отдел рукописей.
ГИМ — Государственный исторический музей. Отдел рукописей.
РНБ — Российская национальная библиотека. Отдел рукописей.
ЦМиАР — Центральный музей древнерусской культуры и искусства, отдел древнерусской старопечатной и рукописной книги и документальных источников.
Пог.— Собрание М. П. Погодина — РНБ.
Син.— Синодальное собрание — ГИМ.
Соф.— Собрание Софийской библиотеки — РНБ.
Чертк.— Собрание А. Д. Черткова — ГИМ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. *Соболевский А. И.* Южнославянское влияние на русскую письменность в XIV—XV вв. СПб., 1894.
2. *Worth D.* Так называемое «второе южнославянское влияние» в истории русского литературного языка//Резюме докладов и письменных сообщений: IX Международный съезд славистов. Киев, сентябрь 1983. М., 1983. С. 222—223.
3. *Жуковская Л. П.* Грецизация и архаизация русского письма 2-й пол. XV — 1-й пол. XVI в. (Об ошибочности понятия «второе южнославянское влияние»)//Древнерусский литературный язык в его отношении к старославянскому. М., 1987.
4. *Гальченко М. Г.* Книгописание в Спасо-Андрониковом монастыре и проблема второго южнославянского влияния на Русь в конце XIV—XV вв. М., 1994.
5. *Шварц Е. М.* О датировке пергаменных рукописей новгородского происхождения//Источниковедческое изучение памятников письменной культуры: сборник статей. Л., 1984.
6. *Бобров А. Г.* Книгописная мастерская лисицкого монастыря//Книжные центры Древней Руси XI—XVI вв. СПб., 1991. С. 78—98.
7. *Щепкин В. Н.* Русская палеография. М., 1967.
8. *Дурново Н.* Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка//Южнославянский филолог. № IV. 1924.
9. *Гальченко М. Г.* О древнейшей рукописи из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева//Археографический ежегодник (в печати).
10. *Живов В. М.* Роль русского церковнославянского в истории славянских литературных языков//Актуальные проблемы славянского языкознания. М., 1988. С. 54—55.



© 1996 г. ЗАПОЛЬСКАЯ Н. Н.

«ОБЩЕСЛАВЯНСКИЙ» ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК: МОДЕЛИ Ю. КРИЖАНИЧА (XVII в.) И М. МАЯРА (XIX в.)

Вводные замечания

История литературных языков может мыслиться как наука, реконструирующая реализованное во времени языковое сознание и языковое поведение лингвистических личностей, отразившееся во всем объеме созданных ими культурно значимых текстов.

Определяемая так история литературных языков оказывается необходимым компонентом единой истории, понимаемой как «наука о людях во времени» [1], а историко-лингвистическое исследование становится фрагментом единого исторического исследования, построенного на решении проблем, заданных диалогом изучающей и изучаемой культур.

Принципиально проблемное рассмотрение истории предполагает использование метода проблемного синтеза, основанного на проблемном конструировании материала, проведенного через структурно-функциональные вопросы. Применение интегрального вопросника переводит исторический памятник в разряд исторических источников: пока же вопросы не поставлены, исторический памятник находится вне любого исторического исследования. При этом репрезентативными, «сильными» источниками могут считаться источники, потенциально задающие «двойное видение» проблем: одно видение представлено в самом источнике как самооценка, тогда как другое выступает как оценка извне, как результат, полученный наложением на материал современной научной сетки. Разрешенная «сильными» источниками координация «внутреннего видения» и «внешнего видения» проблем порождает проблемное конструирование, являющееся сутью исторического исследования: реконструируя историю, исследователи всегда ее конструируют, ибо, какова была история «на самом деле», знать не дано [2]. Установка на проблемное конструирование истории позволяет обращаться с вопросами не только к доселе неизученным памятникам, но и к тем, которые уже подвергались исследованию, поскольку в центре внимания оказывается не столько сам материал, сколько новые проблемы, «скрывающиеся» материалом. В этой связи «обновленный вопросник» особенно необходим в отношении памятников, материал которых традиционно интерпретируется как нечто второстепенное.

В историко-лингвистической сфере к такого рода памятникам могут быть

Запольская Наталья Николаевна — канд. филол. наук, преподаватель кафедры русского языка филологического факультета МГУ.

отнесены тексты, демонстрирующие модели «общеславянского» литературного языка, воспринимающиеся на фоне реально функционирующих славянских литературных языков как факты периферийной языковой рефлексии, доминантой которой является память о едином литературно-языковом прошлом. Между тем представляется возможным и даже необходимым поставить проблему создания «общеславянского» литературного языка в контекст общих проблем истории реальных славянских литературных языков и рассматривать «общеславянский» литературный язык как лингвистическую данность, максимально показательную для понимания духовных универсумов разных эпох. В ранг потенциально «сильных» источников, способных адекватно раскрыть характер движущегося во времени «славянского вопроса», могут быть возведены грамматические сочинения, ибо они демонстрируют не только модель «общеславянского» литературного языка, но и ее объяснение, т. е. позволяют дать стереоскопическую интерпретацию. Процесс исследования данных «сильных» источников можно представить как проблемное освоение теоретических установок и языкового материала, основанное на доминантных структурно-функциональных вопросах: «что» (состав языковых элементов), «как» (характер организации языковых элементов), «почему» (мотивация языковой структуры), «зачем» (цель, заложенная в языковой структуре).

«Общеславянский» литературный язык XVII в.: модель Ю. Крижанича

В XVI—XVII вв. «славянский вопрос» имел конфессиональный характер, ибо его сутью была идея преодоления духовной двойственности славян.

Возвращение славян в единое духовное пространство, т. е. собирание славяно-греческого и славяно-латинского духовных пространств, мыслилось как важнейший этап в системе моделируемого Римом конфессионального подчинения греческого мира латинскому. Подготовка к завершению «глобальной Унии», проводимая миссионерами Конгрегации пропаганды св. Веры в православных странах, заключалась в объяснении и обличении «неправильного отношения» друг к другу двух составляющих христианства — православия и католичества. Осознание православными славянами «неправильности», обусловленной разделением церквей, и осознание необходимости преодоления этой «неправильности» было возможно посредством замены «восточного» — греческого типа просвещения «западным» — латинским типом просвещения. Согласно предписаниям Папы, введение латинского просвещения должно было начинаться с учреждения иезуитскими миссионерами школ для изучения наряду с классическими языками «простых» языков. Такое сугубо лингвистическое снятие дистанции между «восточным» и «западным» просвещением было мотивировано тем, что в эту эпоху язык выступал как способ познания, т. е., познавая язык, можно было приблизиться к познанию как таковому [3].

Регулятивное положение абстрактного языка в структуре познания поддерживало идею бесконечного совершенствования конкретных языков посредством тотальной критики и многомерного анализа. Потенциально являясь сферой критики и анализа, каждый язык призван был стать образцом функционального и формального порядка. Пропозициональная роль принадлежала функциональному порядку, который определял необходимость построения исходной функционально-генетической иерархии, задававшей любому языку «свое» место в бытии и в истории. Только внутри предустановленного функционального порядка мог реализоваться формальный порядок, достигший посредством своеобразной селекции языковых элементов, целью которой была гармония означаемого и означающего. При невозможности достижения гармонии средствами одного языка допускалась поддерживающая трансляция элементов другого, иерархически определенного языка.

Великая утопия создания «абсолютно прозрачного языка», в котором все значения получили бы четкое выражение, не только завоевывала реально существовавшие классические и новые «простые» литературные языки, но и порождала искусственные языки, которые также нуждались в критике и в анализе, т. е. в обсуждении и в объяснении, исходя из некоего идеального порядка, которому ни один язык не мог следовать в точности. Идеи «западного» просвещения усиливали обязанность «быть прозрачным» в отношении «простых» — реальных и моделируемых — литературных языков, поскольку их «однопорядковость» определяла доступность познания для людей «простых», «непросвещенных». Обретая в процессе критики и анализа «достоинство» (*dignitas*), «простые» литературные языки, наряду с классическими, получали фиксацию в грамматических сочинениях, представляющих собой своеобразные проекты исчерпывающего упорядочивания.

Таким образом, пространство встречи славяно-греческого и славяно-латинского миров, мыслимое как единение через подчинение, сначала должно было стать пространством «правильного языка», чтобы затем стать пространством «правильной веры».

Выразителем идеи создания конфессионально мотивированного «общеславянского» литературного языка можно считать иезуитского миссионера, хорвата по национальности Ю. Крижанича, известного своими лингвистическими сочинениями «Обяснѣнје вѣводно о писмѣ Словѣнском» (1660—1661) и «Грамаѣчно изкѣданје об Рѣском језику» (1666) [4].

Характеризуя Ю. Крижанича как «вдохновенного проповедника славянского объединения XVII в.», исследователи все же отмечают его «лингвистическую загадочность», не позволившую до сих пор решить вопрос о структурно-функциональном статусе декларированного им литературного языка. Вопрос заключается в том, является ли предложенный Ю. Крижаничем вариант «общеславянского» литературного языка «полной и равномерной смесью нескольких существовавших в то время славянских языков, или он выдумал большое количество слов, или же он брал будь то хорватский, будь то русский или церковнославянский книжный язык своего времени как основу и главную составную часть» [5]. Представляется, что одной из веских причин столь разных суждений о филологической деятельности Ю. Крижанича служит недостаточное понимание экстралингвистической и лингвистической мотивации его замысла и, как следствие, недостаточное понимание структуры и функции кодифицированного им литературного языка. Между тем сочинения Ю. Крижанича, рассмотренные в духовных координатах своей эпохи, дают некоторую возможность реконструировать логику его лингвистических умозаключений и построений.

Отправной точкой для реконструкции лингвистической логики Ю. Крижанича является его собственное обоснование своей будущей миссионерской деятельности в Московской Руси, которую он осмысляет как принципиально просветительскую: «Я считаю москвитян не за еретиков или схизматиков (так как их схизма происходит не из настоящего корня схизмы, не из гордыни, а из невежества), я считаю их за христиан, введенных в заблуждение по простоте душевной ... и потому я полагаю, что отправиться для собеседований с ними не значит еще идти проповедовать веру (каковое дело я никогда не помыслил бы взять на себя), а значит лишь увещевать их к добродетелям, к науке и искусствам, по введению каковых было бы уже более легким делом указать им заблуждение и обман, что и составит задачу уже иных мужей, исполненных добродетелей и вдохновения» [6]. Поскольку в деле просвещения не следовало пренебрегать низшими из свободных наук, Ю. Крижанич, как и подобало иезуитскому миссионеру, начал именно с «грамматики», т. е. счел своей главной просветительской задачей исправление языка («изправльѣнје и изтежѣнје и совершѣнје језика»), ибо только совершенный язык ведет к совершенству ума и души («ко вразумльѣнју благовѣнју отѣских душ и души спасајуци совѣтовъ» ГИ, V).

Однако «включение» в «грамматическое дело» любого языка предполагало предварительное функциональное осмысление этого языка. В соответствии с требованием функционального порядка Ю. Крижанич представил сначала функционально-генетическую иерархию славянских языков, равноуровневыми центрами которой были «русский язык» («ру́скийъ ѳезикъ, рѣска отмина») и «хорватский язык» («херватскиъ ѳезикъ, херватска отмина»).

Провозглашенное генетическое главенство «русского языка», т. е. представление его как источник славянских языков («всімъ вершина и кореніка» ГИ, III), мыслилось Ю. Крижаничем как объективно данное состояние, зафиксированное классическим историческим знанием («давниимъ Гре́ским и Рѣмским писателемъ јестъ вѣло побзано» ГИ) и принятое новой исторической наукой («Мартин Кромер (Cromer M. De origine et rebus gestis polonorum. 1555.— Н. 3.) ово всего словинского народа початкѣ пишет ...вси ти народи пронзидоша изъ Рѣси»).

Оцениваемая историческим знанием как объективно заданная, генетическая значимость русского языка поддерживалась реальной функциональной значимостью, которая проявлялась в государственной защите языка, приведшей к тому, что все государственные дела на Руси оформлялись на русском языке («домашнимъ ѳезикомъ вивајѣт отпрѣвљана» ГИ, IV).

Приведенная Ю. Крижаничем система доказательств должна была свидетельствовать о том, что «абсолютное» генетическое и функциональное право принадлежало «русскому языку», который понимался Ю. Крижаничем как реальный язык, напрямую соотносенный с языком-основой.

Что касается «хорватского языка», то он обладал «относительным» локальным преимуществом, определяемым субъективными представлениями самого Ю. Крижанича как носителя чакавского диалекта («стѣроје, заѣлноје и чистоје изрѣканје се јестъ обрѣтѣло за мојега дѣтнства» ГИ, III).

Предустановленное функционально-генетическое превосходство «русского языка» мотивировало, по мысли Ю. Крижанича, его право стать культурно доминирующим языком, общепонятным для всех славян («обцимъ ѳезикомъ дави отъ всѣхъ вѣло разѣмљено» ГИ, I). Однако само это право диктовало «русскому языку» обязанность стать структурно совершенным, т. е. обладание функциональным «достоинством» вызывало необходимость обретения формального «достоинства», ибо ни один язык не мог быть изначально совершенным («невѣаше ѳзкони вѣка совершенъ» Об, 29). Исконное «несовершенство» «русского языка», как любого другого языка, усиливалось, по мнению Ю. Крижанича, приобретенной «неправильностью», обусловленной тем, что «русский язык» был как бы разделен на три языковые данности: разговорный язык Московской Руси («Рѣскиъ ѳвѣщнь, и подлѣнниъ: кони на вѣликоъ Рѣси говѣрѣт»), разговорный язык Юго-Западной Руси («Бѣлорѣскии: кнѣ јестъ нѣкое мерзко смѣшанје изъ Рѣского и Лешкого») и книжный цсл. язык («Книжнниъ, или Преводничскии: кнѣ тако же јестъ мѣшанина изъ Гре́ческого да Рѣского дрѣвнього» Об., 28). Именно обширная вариативность, объясняемая дистанцией, существовавшей между книжным и разговорным языком, а также иноязычным влиянием, привела к языковой «неразумности» конфессиональных и светских текстов («во свѣтомъ војжемъ писмѣ и всѣкихъ превѣдѣхъ нашихъ ... мало разѣма» ГИ, V).

Явленная в текстах определенная несостоятельность самого языка дополнялась, по мнению Ю. Крижанича, «неправильными размышлениями» о языке, представленными в грамматике М. Смотрицкого («Грамматіки Главенскиа правилное Синтагма»), первоначально изданной в Юго-Западной Руси (1619), а затем принятой в основных своих параметрах и в Московской Руси (1648). Соглашаясь признать лингвистическое усердие М. Смотрицкого, Ю. Крижанич отрицал концептуальные основы его грамматики, реализовавшей принципы ad modum et ad fontes и тем самым кодифицировавшей книжный язык, соотносенный с классическими языками, максимально дистанцированный от разговорного языка и об-

ладавший усложненной структурой, требовавшей лингвистической эрудиции («Мелетий Смотрицкий ... захотѣл нашего же́зика на Грѣцкиѣ Ѹзбори претвѣрѣт» ГИ, V). Необходимая «правильная» грамматика «русского языка» представлялась Ю. Крижаничу как грамматика, кодифицировавшая «простой» литературный язык, принципиально самодостаточный, минимально дистанцированный от разговорного языка и имевший более простую структуру, доступную для понимания людей «непросвещенных».

Требуемая «грамматическая работа» («граматично радинје») мыслилась Ю. Крижаничем как постепенный, системно реализуемый процесс осмысления языкового материала: критика языка («разѣвѣжанје») — анализ языка («објаснѣнје») — фиксация критики и анализа («кратка правила»: «Објаснѣнје вѣводно о пѣсмѣ Гловѣнском», грамматика: «Грама̀тично изказа̀нје об рѣском же́зикѣ»).

Содержанием «грамматической работы» явилась глубинная селекция «русских» языковых элементов на фоне языковых элементов других славянских языков, направленная на достижение «русским языком» генетической, функциональной и структурной «однопорядковости». Поскольку теоретические установки, реализованные в процессе языковой селекции, были имплицированы в материале и не сводились Ю. Крижаничем в единый кодекс, представляется необходимым построить по отдельным «терминологическим поговоркам» теоретический кодекс и согласовать его с современным кодексом, являя тем самым координацию «внутреннего» и «внешнего» видения.

Селекция «русских» языковых элементов (теоретические установки)

«Внутреннее видение»

«Внешнее видение»

языковые элементы

јних же́зиков → своји

иноязычные → исконные

вмишльени → обичајем Ѹкрѣпљени

неупотребительные → употребительные

особити → обични

нестандартные → стандартные

меж собою
сподовни,
по избиткѣ

чнѣјат
разлѣченје,
потрѣбни

разрешающие
омонимию,
синонимию

снимающие
омонимию,
синонимию

При невозможности достичь «однопорядковости» средствами «русского языка» допускалась «поддерживающая» трансляция в «русский язык» средств «хорватского языка» как второго по «чистоте» языка, т. е. при доминантном соотношении «русский язык // хорватский язык» = «правильнее // правильно» периферийно проявлялось соотношение «русский язык // хорватский язык» = «правильно // правильное».

Соединение результатов селекции «русских» языковых элементов и трансляции «хорватских» языковых элементов должно было привести к образованию единой структуры, минимальная «гибридность» которой может быть определена как «вертикальное соединение» языковых элементов иерархически заданных систем: «русский язык» // [хорватский язык].

Реконструированные теоретические взгляды Ю. Крижанича на природу «общего» славянского литературного языка могут быть верифицированы на конкретном языковом материале, например, на материале имен существительных, наиболее детально представленных в его грамматике.

Демонстрацией проведенного Ю. Крижаничем критического анализа именных

форм служат правила-комментарии, представленные во всех грамматических позициях. Применение принципа проблемного конструирования позволяет выявить и систематизировать доминантные правила, подтверждающие общие теоретические взгляды Ю. Крижанича, касающиеся структуры «русского языка» как «общеславянского» литературного языка.

Селекция «русских» языковых элементов (грамматические правила)

«Внутреннее видение»

1. правила → своја правила јнѣх језиков

Јзкерник јед. јмен м.
(Лѣхом и Билорѣсјаном обѣчен, а въ словѣнскоѣ рѣчи сказѣн и не гбден јест Јзкерник нна Ѹ. ГИ, 151)
дбмѸ → дбма

Орѣдник вн. јмен м., н., ж.
Придивник мн. јмен м., н., ж.
(Нѣмци и Жидови јест Ѹ Лѣхов нѣш језик мерзко сказили: а Билорѣсјани сѣт того скажѣн ја вногѣ зѣвзели: и на сем мѣстѣ чинѣт нестерпен прѣврат ГИ, 16):

братами → братми
братах → братѣх

2. неѸживано правило → Ѹживано правило

Особѣто претвѣранје
от словесе → от слѣва
ко словеси → ко слѣвѸ
при словеси → при слѣвѣ

Јзкерник јед. јмен м.
камене → камена
пѣти → пѣта

Јменник вн. јмен м.
(Кончѣни на ЈѢ и на Ѣ, јесѣт згола сказѣни и мѣрзки. Ги, 10)
цѣрје → цѣри
свидѣтеле → свидѣтели

Крозник вн. јмен м.
(Мѣрзко и блѣдно се чтѣт въ нѣкоѣх мѣстѣх постављено ЈА или А. ГИ, 12)

«Внешнее видение»

правила отношения форм: иноязычные → исконные

Р. ед. сущ. м.

формы на Ѹ → А

Т. мн. сущ. м., с., ж.

П. мн. сущ. м., с., ж.

формы на АМИ → МИ

формы на АХ → БХ

правила отношения форм: неупотребительные → употребительные

Парадигма ед. сущ. с.

Р. формы на Е → А

Д. формы на И → Ѹ

П. формы на И → Б

Р. ед. сущ. м.

формы на Ѣ → А

формы на И → А

И. мн. сущ. м.

формы на ЈѢ → И

формы на Ѣ → И

В. мн. сущ. м.

теѡца → теѡци (теѡце)

Јзкерник јед. јмен ж/м.

Јменник—Зовник вн. јмен ж/м.

Крозник вн. јмен ж/м.

(Такѡва неразличногѡ творѣња на ѡ или ти на ѡ, нигдиже нистъ въ ѡщемъ говорѣнјѡ. ГИ, 18)

отъ дѡша → отъ дѡши

вногије дѡша → вногије дѡши

Придивник—Противник јед. јмен ж. (нистъ пригодно тако ѡе разбираније, но паче вса јмена сего претвора могѡтсе ѡвди конѡитъ на Ѣ. ГИ, 20)
ригѣ/стражи—ригѣ, стражѣ

3. Ѣживано:

а/.особенно правило → ѡбично правило

Противник јед. јмен м.

равѡи → раѡѣ

Јменник вн. јмен м.

равѡе → раѡи

б/.неразѡмно правило → разѡмно правило

Придивник јед. јмен н.

(Да бѡдетъ рѡзностъ отъ Јменника, н отъ Крозника, кнѣ се изрикатъ на Ѣ. Ги, 26)

при лицѣ (е) → при лица

Јзкерник вн. јмен м.

(Смотрѣцкиѡ чинѣтъ сѣѡ прѣгѣѡ јменникѡ јединичномѡ сподѡбен. ѡли вса јмена правѣлно се творѣтъ на Ѡѡ, н на Ѣѡ. ГИ, 13—14)

раѡ → раѡѡѡ

Орѡдникъ вн. јмен м.

пѣрсти → пѣрстми

формы на ѡ → И, Ѣ

Р. ед. суш. ж./м.

И.—З. мн. суш. ж./м.

В. мн. суш. ж./м.

Р. формы на ѡ → И

И. В. формы на ѡ → И

П.—Д. ед. суш. ж.

формы на Ѣ/И → Ѣ

правила отношения форм: нестандартные→стандартные

Д. ед. суш. м.

формы на ѠѡИ ѢѡИ → Ѣ

И. мн. суш. м.

формы на ѠѢѢ/ѢѡѢ → И

разрешающие→снимающие омонимию или синонимию

П. ед. суш. с.

формы на Ѣ → Ѣ/И

Р. мн. суш. м.

формы на Ѡ → Ѡѡ/Ѣѡ

Т. мн. суш. м.

формы на Ы/И → МИ

Структурное «ослабление» «русского языка», проявившееся в невозможности достижения в отдельных позициях «прозрачности», компенсировалось за счет трансляции «хорватских» форм. При этом транслируемая форма предлагалась Ю. Крижаничем как вариант для обсуждения и вводилась не в образец склонения, а в тексты, показывающие потенциальную книжную справку.

Трансляция «хорватских» языковых элементов
(А: грамматические правила)

Крозник вн. јмен м.
(Рѣсјани творѣт сѣь прѣгиб на И, и не мѡгѣт
разлѣчит крозникá, от јменника. Сѣь прѣгиб по
Хервáтскѣ изхѡдит на Ё.Ј сѣце лѣпо се
разлѣчајет крозник от јменника. ГИ, 11—12)

Повѣли сѣт Пѣрси Тѣрки. (недоѡмно
изречѣнје)

Повѣли сѣт Пѣрси Тѣрков. (изречѣнје по
нѡже)

Повѣли сѣт Пѣрси Тѣрке. (изречѣнје без
недоѡмја).

В. мн. сущ. м.

формы на Ы/И → Ё

формы на ОВ/ЄВ:Ы/И → Ё

В: (книжная справа)

Пс. 50: Возложáт на олтáр твоѣ телцá → телцѣ или телцѣ.

Система форм, получивших в результате проведенного Ю. Крижаничем критического анализа статус правильных форм «русского языка», может быть представлена в итоговой таблице:

Падеж	1,2 склонения	5,5 склонения	3 склонения	4 склонения
	типы брáт/крáль	типы лнго/лѣце	тип рѣва	тип рѣч

Ед. ч.

И.	—	О/Є	А	—
З.	Є/Ў	О/Є	О	—
В.	А: —	О/Є	Ў	—
Р.	А	А	И	И
Д.	Ў	Ў	Ъ	И
П.	Ъ	Ъ/И	Ъ	И
Т.	ОМ/ЄМ	ОМ/ЄМ	ОЈЎ/ЄЈЎ	ЈЎ

Мн. ч.

И.	И	А	И	И
В.	И—Є	А	И	И
Р.	ОВ/ЄВ	—	...	ЄВ
Д.	ОМ/ЄМ	ОМ/ЄМ	АМ	ЄМ
П.	ЪХ	ЪХ	АХ	ЄХ
Т.	МИ	МИ	АМИ	МИ

Таким образом, предложенная Ю. Крижаничем система именных форм, диагностическими признаками которой были генетическая «чистота», употребительность, стандартность и невариативность, соответствовала теоретическим требованиям, предъявляемым к «простому» литературному языку, призванному служить делу славянского просвещения и конфессионального единения.

«Общеславянский» литературный язык XIX в.: модель М. Маяра

В XIX в. «славянский вопрос» приобрел этнический характер, ибо его содержанием стала идея кровного единства славян, идея «всеславянства» и его мирового признания.

Национальные и этнические принципы, во имя которых защищались и освобождались слабые и угнетенные народы, стали ведущими ориентирами для всего европейского общества. В эту эпоху представления о едином человечестве сменялись представлениями о множественности культурно-исторических типов, а всемирная история сменялась историями отдельного и независимого развития данных типов. При этом в ранг культурно-исторического типа могло быть возведено лишь такое объединение народов, которое обладало «отдельным языком или группой языков, довольно близких между собой, для того, чтобы сродство их ощущалось непосредственно, без глубоких филологических изысканий» [7].

Способность именно языка стать диагностическим признаком существования культурно-исторических типов определялась тем, что язык вступал в отношения взаимодополнительности с человеком — народом — нацией. Такое необходимое со-бытие языка и человека было мотивировано глубинными изменениями в структуре познания, заключавшимися в том, что язык стал одним из объектов познания, т. е. познать язык значило теперь применить общие методы знания в особой предметной области [3].

Утрата абстрактным языком привилегированного положения в структуре познания компенсировалась тем, что каждый конкретный язык, имевший бытие и историю, обретал самоценность, нуждаясь лишь в ее «раскрытии» посредством анализа. Принципиальная установка на самодостаточность и собственную ценность каждого языка заменяла функциональную иерархию языков их функциональным соположением во времени и в пространстве. Только предустановленное соположение языков давало возможность сравнивать языки, т. е. мыслить их внутренние структуры во взаимоотношении. Само сближение-сравнение языков определяло их структурную «прозрачность», позволяя дифференцировать общие и локальные, стандартные и нестандартные языковые элементы, в которых прочитывалось структурное прошлое и прогнозировалось структурное будущее. Усиливавшаяся при этом этнолингвистическая рефлексия не только «раскрывала» сходства языков, находившихся в «братском времени и пространстве», но и «развивала» эти сходства. Так, посредством проведения сравнительно-исторической селекции и контаминации языковых элементов мог осуществляться переход от прерывной языковой совокупности к непрерывной, т. е. переход от группы родственных языков к единому «общему» языку. Выявляемый в процессе сравнительно-исторического анализа состав языковых элементов и характер их отношений в пределах отдельно взятого языка, в пределах группы родственных языков или в пределах моделируемого «общего» «макроэтнического» языка фиксировался в грамматических сочинениях, представлявших собой своеобразные научно-дидактические обзоры.

Таким образом, и в новых условиях «всеславянское пространство встречи» первоначально должно было стать «пространством языка — родственных языков — «общего» языка», чтобы затем стать самоценным «культурно-историческим пространством».

В широком спектре предлагаемых этнически мотивированных панславистических реформ особое место занимали лингвистические опыты словенца М. Маяра, написавшего грамматику «взаимославянского» языка («Uzajemni pravopis slavjanški to je Uzajemna Slovnica ali mluvnica Slavjanska») [8].

Само название основного грамматического сочинения М. Маяра позволяет реконструировать доминанту его лингвистической логики, а именно идею возможного «построения» «общеславянского» литературного языка. Последовательно развивая мысль о «всеславянской» лингвистической реализации, М. Маяр призывал славянских писателей «писать взаимно» («Pisati uzajemno je prepole zno, prekoristno

и необходимо потребно» VII, 7). Отвечая на вопрос «что значит писать взаимно», М. Маяр объяснял, что писать взаимно значит писать на современных славянских литературных языках так, чтобы они постепенно сближались и уподоблялись друг другу («Pisati uzajemno se pravi: pisati v dosadajnih književnih jezikih pa tako, da se oni po malu bližaju i med seboj podobneji prihadjaju ...» VII, 5). Возможность структурного сближения и уподобления славянских литературных языков была, по мнению М. Маяра, мотивирована историей славян, имевших в истоке единый старославянский литературный язык, а также современным функциональным равенством сложившихся национальных литературных языков. Свою собственную лингвистическую задачу М. Маяр видел лишь в том, чтобы создать механизм, облегчавший сближение и уподобление языков.

Предложенный М. Маяром порождающий механизм «взаимнославянского» языка может быть реконструирован как сравнительно-историческая селекция языковых элементов, реализованная на материале русского, сербохорватского, чешского и польского литературных языков. Содержанием сравнительно-исторической селекции был отбор языковых элементов, демонстрировавших оправданную историей тотальную стандартность и употребительность.

Так, статус структурно-образующих «взаимнославянских» форм получали: 1) общие стандартные формы, поддержанные языковой традицией («one, koje su obične vsemu slavjanskomu narodu ali većej njegovoj straně» VII, 12); 2) локальные стандартные формы, мотивировавшие «включение» во «взаимнославянском» языке механизма *контаминации* («one, koje su obične v Slaviji, samo da je v někojih krajih obična i navadna jedna, v drugih druga ... spisovatelj si može svobodno izmed nju izbrati onu, koja se njegovomu narečju bolje prilēže ali obě» VII, 12, 110).

Соответственно, не получили доступа во «взаимнославянский язык»: 1) общие нестандартные формы, заданные традицией; 2) локальные нестандартные формы («one, koje su nedoslēdne i neslovošpitne» VII, 12), нарушающие либо исходную формальную, либо исходную семантическую дистрибуцию.

Соединение результатов сравнительно-исторической селекции и контаминации языковых элементов должно было привести к образованию единой структуры, принципиальная «гибридность» которой может быть определена как «горизонтальное соединение» языковых элементов соположенных систем: русский язык + сербохорватский язык + чешский язык + польский язык.

Реконструированные общие теоретические установки, положенные М. Маяром в основу создания «взаимнославянского» литературного языка, могут быть верифицированы на конкретном языковом материале, например, на материале имен существительных.

Демонстрацией сравнительно-исторического отбора именных форм служат представленные М. Маяром «взаимные правила», дополненные языковым материалом, данным в параметрах современной терминологической системы.

Сравнительно-историческая селекция (грамматические правила)

«Внутреннее видение»

«Внешнее видение»

1. Pravila uzajemna (sklanja na U, sklanja prirastkova)

правила отношения форм: общие нестандартные → общие стандартные

pravilo A:

(все языки)

Koliko zaběgaš v jednotnik na oу, rědčeje, toliko pišеш правилнєje (pad 2 na —A, pad 6 na — Ъ) (VII, 94—96)

Р. ед. сущ. м. формы на У (U) → А
П. ед. сущ. м. формы на У (U) → А

pravilo B:

Delaj pišuč uzajemno pad 2 množni v obce s prirastkom, vse ostale pade bez prirastka (pad 3 jedn. na Y, pad 1 mn. na (Ь)I)

2. Pravila uzajemna

pravilo A:

Sklanjaja statna imena v vsěh padih i čislih doslědno po toj istoj sklanji i po tom istom priměřě, k kteromu statno pridnalezī glede na pad 1 jednotni — brez ostudnoga preskakivanja v srědě sklanje v pojedinih padih iz jedne sklanje v druhu, iz tverdoga primera v mehек ali na opasko (VII, 113—117)

pravilo B:

Pišuč uzajemno sklanjaja statna imena osobna ali neosobna, životna ali bezživotna, pravilno v jednotnom pade 2 na —A, v pade 3 na —Y, v pade 6 na —ĕ, v pade 1 mn. na (Ь)I

Ruskopoljsko stavljane pada 2 mesto 4 se sovsem protivi značajui duhu jezika slavjanskoga (VII, 110, 120—121)

(чешский, польский язык)

Д. ед. м. формы на OVI (OWI) → Y
И. мн. м. формы на OVE (OWIE) → (Ь)I

правила отношения форм: локальные нестандартные → общие стандартные

(польский язык)

И. мн. сущ. м. формы на A → (Ь)I
Р. мн. сущ. ж. формы на ŐW → Ø
Д. мн. сущ. ж. формы на OM → AM
Т. мн. сущ. ж. формы на I → AMI

(чешский язык):

И. мн. сущ. м. формы на I, OVE/Y → (Ь)I
Р. ед. сущ. м. формы на A/U → A
Д. ед. сущ. м. формы на OVI/U → Y
П. ед. сущ. м. формы на U/E → Ъ

(русский язык)

В. мн. сущ. всех родов формы на OB/Ы → I

(польский язык)

В. мн. сущ. м. формы на ŐW/Y → I

Система полученных в результате сравнительно-исторической селекции «взаимославянских» именных форм может быть представлена в виде итоговой таблицы:

Падеж	1 склонение	2 склонение	3 склонение	4 склонение
	Ед. ч.			
И.	—	o/ε	а	—
Р.	а	а	l/ε	l
Д.	у	у	ѳ/l	l
В.	а:—	o/ε	у	—
З.	ε/у и ε		o/ε	l
Т.	ѳ/l	ѳ/l	ѳ/l	l
П.	om/εm	om/εm	у?	лу
	Мн. ч.			
И.	(Ь)I	а	l/ε и ε	l
Р.	ob/εb и εj	—	—	л
Д.	om/εm и ам	om/εm и ам	om и ам	εm и ам
В.	l/ε и ε	а	l/ε и ε	l
З.	(Ь)I		l/ε и ε	l
Т.	ix и ax	ix и ax	ax	εx и ax
П.	l и амl	l и амl	амl	лl и амl

Предложенная М. Маяром система именных форм, диагностическими признаками которой были генетическая общность, стандартность и мотивированная вариативность, соответствовала теоретическим установкам, определявшим суть «взаимославянского» языка, призванного стать маркером «всеславянского» как самобытного культурно-исторического типа.

Проведенное проблемное исследование показало, что порожденные в разных хронологических и локальных пространствах модели «общеславянского» литературного языка не были периферийными прорывами в прошлое, не нашедшими резонанса в своем времени, а наоборот, являлись репрезентантами тех духовных эпох, когда «человеческий мир сближается не только в перспективе будущего, но и с точки зрения ретроспективного культурно-исторического анализа» [9].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Блок М. Апология истории. М., 1986. С. 18.
2. Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 1993. С. 15.
3. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Спб., 1994. С. 319—324.
4. Обяснѣнје вѣводно о пѣсмѣ Словѣскомъ. // ЖМНП. 1888. XII, (в тексте Об); Граматично изказанје оу рѣскомъ језыку, поа Јурка Крижанѣца/Изд. Бодянский О. М. М., 1859. в тексте ГИ).
5. Экман Т. Грамматический и лексический состав языка Ю. Крижанича. // Dutch Contributions to the 5 International Congress of Slavists. The Hague, 1963. С. 46.
6. Белокуров С. А. Юрий Крижанич в России. М., 1901. С. 57.
7. Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. // Соловьев В. С. Сочинения. М., 1989. Т. 2. С. 362.
8. Maĵar M. Узајемни правопис славјански то је Uzajemna Slovnica ali mluvnica Slavjanskaĵ. Praha, 1865 (в тексте УП).
9. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993. С. 143.



СМЕШЕНИЕ ЯЗЫКОВ НА УКРАИНЕ И В ШКОЛЬНОМ ТЕАТРЕ

Местоположением Украины на культурной карте Европы XVII—XVIII вв. в значительной степени объясняется тип ее культуры, так как она в географическом и историко-культурном отношениях находилась в средоточии знаменательных событий своей эпохи. К тому времени она не обрела устоявшейся структуры, условия ее существования также постоянно менялись. Непременным условием развития украинской культуры было взаимодействие различных культурных кодов, прибывающих извне, и «местных».

Она явно тяготела к открытому типу; через ее территорию проходило множество границ, рассекающих ее на зоны. Эти зоны как бы наплывали друг на друга или пересекались между собой. Так культурное пространство преобразалось в «пересеченную местность», где отдельные зоны воевали, интенсивно влияли на «чужие» территории или мирно соседствовали. Так создавались благоприятные условия для культуры, не только воспроизводящей старые ценности, но и творящей новые.

Границы — это не просто линии, проведенные на карте культуры. Они приобретают пространственность, обладают «собственной глубиной», их не следует воображать «геометрически-пространственно» [1]. Точно установить, каково направление границ и каковы их очертания, не всегда возможно, ибо они принципиально неопределенны и расплывчаты. «Метафорически это можно сопоставить с границами пространства на карте: при реальном движении на местности географическая линия размывается, вместо четкой картины — пятна» [2]. Изменение их происходит постоянно благодаря внутренним процессам, а также потому, что их нарушение в культуре открытого типа обязательно. Границы не проведены окончательно. Они не устойчивы и не заданы раз и навсегда. Границы, рассекающие пространство, не позволяют ему находиться в состоянии покоя. По известному определению М. М. Бахтина, на границах протекает наиболее напряженная жизнь культуры [3]. Напряженность эту, чреватую развитием, создают переkreщивание, соположение и наложение границ, невидимых в географическом пространстве и довольно сложно устанавливаемых в пространстве культурном.

На Украине встречались два типа культуры — римского славянства и византийско-православного. Их соположение дополняли границы, размежевывавшие эти два круга с унитарством и различными ответвлениями протестантизма. Границы эти проходили по разным срезам, могли рассекать «жизнь и творчество» одного писателя или один текст культуры. Так обстояло дело с «Литосом», созданным Петром Могилой и его сподвижниками [4]. Эти границы условно можно назвать «религиозными». Они перемежались с границами «этническими», разделяющими

Софронова Людмила Александровна — д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

ветви восточного и западного славянства. По этому признаку отнюдь не всегда можно идентифицировать феномен культуры, творчество одного мастера. И в этом случае границы могли проходить как через огромные культурные пространства, так и через малые, они как разъединяли, так и сближали различные историко-культурные процессы.

В многосложном переплетении, создающем различные культурные зоны, формировался тип украинской культуры, открытый к влияниям извне, готовый к различным воздействиям и способный претворить их в единое целое на своей территории. Языковой облик Украины также соотносил ее с разными культурными кругами, он зарождался во встречах и столкновениях носителей многих языков. Житель Украины всегда имел «дело не с языком, а с языками, но место каждого из этих языков упрочено и бесспорно, переход из одного в другой predetermined и бездумен... Безграмотный крестьянин... жил в нескольких языковых системах: Богу он молился на одном языке (церковнославянском), песни пел на другом, в семейном быту говорил на третьем, а начиная диктовать грамотею прошение в волость, пытался заговорить и на четвертом (официально-грамотном, «бумажном»)» [5]. Но различные языки входили и в диалогические отношения, так как существовавшие «лингвистические» границы, как и все остальные, постоянно нарушались. Это нарушение становилось сознательным, что порождало сложную и плодотворную языковую ситуацию [6—8]. Так функционировали церковнославянский, «проста», или «руська», «мова», латынь и польский.

Эти языки находились во взаимодействии и не раскалывали общество на резко противопоставленные социокультурные группы. Они не боролись между собой, а мирно уживались, имея только им присущие функции, а также обладая способностью взаимозаменяться в одном и том же контексте. Как заметил Б. А. Успенский, церковнославянский язык и «проста мова» — это два полноценных литературных языка. Здесь «имеет место не ситуация диглоссии, а ситуация двуязычия» [9]. Латынь и польский также не спорили между собой и не вытесняли церковнославянский и «простую мову». Существовала польскоязычная украинская литература, а также латиноязычная. Существовал целый пласт новолатинской поэзии, вводивший украинскую культуру в общеевропейский контекст. Они развивались наряду с литературой на «простой мове» и церковнославянском в его гибридном варианте.

Особенность языковой ситуации четко осознавалась культурой и даже послужила темой стихотворения Лазаря Барановича, написанного по-польски, о соотношении польского и «русского». В переводе на украинский оно называется «Русин до поляка щось по-польску балака». Поэт призывает поляков писать на «простой мове», но боится, что они не справятся с «русской» версификацией. Он предлагает свои польские сочинения, следуя топосу смиренного поэта: «звір се дикий для русина — що польщизна, що латина» [10]. Основная идея Л. Барановича сводится к тому, что если будет достигнуто состояние диглоссии, то и политическая ситуация изменится.

Писатели той эпохи всегда легко переходили с одного языка на другой, как, например, Георгий Конисский, который сочинял стихи по-польски и по-латыни, а также на «простой мове». Пьесы он писал на гибридном церковнославянском.

Этому смешению языков обязана своим появлением столь распространенная на Украине макароническая литература, где их синтез — одно из главных условий ее существования и развития. Макароническая литература на языковом и стилевом уровнях отражала общую культурную тенденцию эпохи к нарушению границ между отдельными сферами культуры и ее языками. Смешение языков способствовало формированию пародийного начала.

Церковнославянский язык был языком сакральным, предназначенным для литургии и проповедей. Это глубоко осознавал Иоанн Вишенский, именовавший его «плодоноснейшим от всех языков». Это язык «богу любимый: понеж без поганских хитростей и руководств, се ж ест кграмастик, рыторик, диалектик и прочих коварств тшеславных, диавола вѣмѣстных, простым прилежным чтанием,

без всякого ухищрения... к богу приводит» [9. С. 8]. Он хотел видеть его единственным языком, не испорченным вдобавок никакими влияниями, и так старался охранить его от притязаний «простой мовы», что создал теорию, по которой дьявол особенно ненавидит этот святой язык. Если же, — полагал он, — кто-то сумеет побороть силу церковнославянского языка, то только с помощью дьявола же, его «дйством и риганьям». «Скажу вам тайну велику, — писал он, — що дйавол таку має зависть на слов'янський язык, аж ледве живий від гневу: він радий би його до решти знищити і всі сили на се двигнув, аби його обмерзити» (цит. по: [11. С. 173]).

Наряду с сакральной функцией церковнославянский выполнял и функцию делового языка. Он был языком документов, переписки, науки. На него постепенно надвигалась «проста мова», на которой произносились проповеди как в католических, так и в православных храмах, писались полемические трактаты; на этот язык переводилась Библия. Планы издания ее на народном языке выходили за рамки религиозных и лингвистических задач.

Как еще в XVI в. писал В. Тяпинский, он готов для сохранения «простой мовы» «згинути з своєю вітчиною, коли вона має до решти згинути, або побрести разом з нею, коли вона буде врятована» (цит. по: [11. С. 65]). Он же сожалел о том, что образованные слои общества плохо знают свой язык, в том числе ученые и священнослужители.

Правда, Иоанн Вишенский полагал, например, что достаточно только проповедей на «простой мове», а Евангелие следует читать по-церковнославянски: «Евангелия и апостола в церкви на литургии простым языком не выворочайте, по литургии же для вырозуменья людского попросту толкуйте и выкладайте; книги церковные все и уставы словенским языком друкуйте» (цит. по: [11. С. 173]).

В результате наступления «простой мовы» пространство церковнославянского языка естественным образом сужалось, в чем можно усмотреть не столько результаты спора между двумя языками, сколько тенденцию к упрощению отношений между пишущим и читающим, говорящим и слушающим. «Расширение функции „простой мовы“, вторжение ее в сферу богословской и богослужебной литературы может быть связано с потребностями религиозной полемики между католиками и православными» [6. С. 175]. Оно же вызвало к жизни, по наблюдению И. Франко, «письменські таланти», ввело «в українську літературу уперве живу людську личність з її темпераментом і індивідуальною вдачею» (цит. по: [12]). Может быть, и действительно, обращение к «простой мове» на первых порах способствовало десакрализации искусства слова, изменению его стиливых особенностей. И церковнославянский, и «проста мова» воспринимались как книжные языки, причем первый иногда выступал как «дублирующий функции общепонятного живого языка и противостоящий ему как язык профессиональной образованности языку нейтральному» [6. С. 175]. Они могли существовать и внутри одного текста.

Кирилл Транквиллион в предисловии к «Зерцалу богословия» объясняет, почему «в той книзі простій язык и словенський. Та причина ест: по-словенс/ь/ку ся клали слово богослудов и доводы пис/ь/ма святого, а другое, иж слова нікоторіи слов'їнс/ь/кого языку трудни на простий язык» (цит. по: [13]). Дм. Чижевский пишет об этом явлении как о признаке ненормированности языка. «Тому ми зустрічаємо великі ухили то до української мови, то до польської, то — лише в 18 ст. і то рідко — до російської, іноді натомість збільшується стихія церковна» [14]. «Проста мова» в этом конгломерате языков в лингвокультурном сознании выдвигалась на ведущее место. Кирилл Транквиллион писал на нем свои произведения, в том числе и для того, чтобы защитить церковнославянскую образованность [15].

Официальным языком, на котором, наряду с церковнославянским, издавались указы, деловые письма и католиками, и православными и который, как уже было сказано, выполнял функцию литературного языка, был польский. Писатели

Украины, поборники церковнославянского языка, как Иоанн Вишенский, писали стихи по-польски. Польский был не только языком поэзии, но и полемической литературы. Его использовали потому, что полемисты хотели быть лучше понятыми. Например, выступление против Брестской унии Христофора Филалета было написано по-польски (1597). Через год вышло оно и на «простой мове». Проникал польский язык в религиозные сочинения, их авторы надеялись на более широкий отклик.

Существовали развитые мотивации такого языкового употребления. М. Сулима указывает на знаменательный отрывок документа 1645 г. (его цитирует П. Житецкий). В нем говорится о том, что неприятелю нужно отвечать на его языке; ведь противники православия «діалектомъ польскимъ смели и важилися розными герезіями церковь православно-католическую мажучи, свѣту очижати. Абы таким же діалектом [...] зражены и поганьбени вѣчне зоставали» (цит. по: [16]). Польский язык пропитал быт, где он сосуществовал с «простой мовой»; украинская шляхта в значительной степени была билингвальной. Как остроумно заметил М. С. Грушевский, для того чтобы выдержать натиск нового окружения, в котором прежняя культура уже не играла столь важной роли, «треба було натертися польскою політурою та латинською» [11. С. 142—143].

«Священное латинское слово — чужеродное тело, вторгшееся в организм европейских языков» (М. М. Бахтин) продолжало существовать в католическом кругу. Оно было языком учености. Это был официальный язык римской курии, деловой переписки, документов, а также язык литературный. Без него, как и без польского, невозможно было представить ученую культуру того времени. Он был совершенно необходим в общественной жизни. Как писал Сильвестр Косов, «латинські школі потрібні для того, аби нашої Русі не називано „дурною Русію“», чтобы каждый мог прийти на сейм, в суд, к адвокату и не «дивиться тільки то на того, то на сього, вилупивші очі, як ворона» (цит. по: [14. С. 232]). Кроме того, латынь была и языком ученой литературы.

В православных школах латынь долгое время успешно заменял древнегреческий. Захария Копыстенский, например, видел идеальный образец только в греческом и утверждал, что «для наук в край Німецки удаємося, не по Латинській, але по Грецькій разум удаємося, где як ово власное, заходним от Греков на час короткий повіреное, отбираемо с ростропністю смітье отменуемо, а зерно беремо, уголе зоставуемо, а золото виймуемо» (цит. по: [17]). Одновременно существовали мнения, что греческий нужно знать в Греции, а на Украине нельзя обойтись без латыни. Но все же за ней не всегда охотно признавали равные права с другими языками, тем более что она несла с собой новый тип учености, которую принципиальные «некрасомовци» не признавали. Главное — она могла отвратить от истинной веры: «Як злакомилися ви на латинську и світову мудрість, то й побожність стратили... мені здається — краще ані аза не знати, аби тільки Христа дотиснутися» (цит. по: [11. С. 177]).

Латынь постоянно воспринималась в оппозиции с греческим. Чтобы оправдать латынь и латинскую ученость, их называли источником греческой мудрости. Потому, по мнению одного из ректоров Киевской академии, И. Кононовича-Горбацкого, можно было читать латинских авторов, например, Цицерона. Постоянно латынь сопоставлялась с церковнославянским. Языковые отношения связывались с вопросами веры. Потому Иоанн Вишенский, который предлагал оставить латынь — «А латиню зо всім оставимо... Ни їх науки... слухаймо! Нижє їх хитрости на наше... полєрованіє учимся!» (цит. по: [11. С. 174]) — даже отодвигал свой триумф над противником до Страшного суда. Ведь только тогда станет ясно, кто победил «Латина или Греки с Русью». Иногда, правда, указывалось, что «ми не самую латинью, яко некотори нас удают, але Римского костела... блудами ся бридимо» (цит. по: [17. С. 96]). Не считал вершиной учености знание латыни и Феофан Прокопович. Он неодобрительно говорил о тех, кто «аще разглаголавать по-латыни умбють, уже зїло себе мудрым быти мечтають, презирая гордо прочіихъ всѣхъ, неучившихся письма латинского».

Сложные, динамические отношения между церковнославянским и «простой мовой», польским и латынью сказывались во всех сферах культурной жизни Украины, в том числе и в театре, искусстве, в котором слово превалировало. Театр выносил на поверхность скрытые и явные языковые коллизии, обыгрывал их, сопоставляя в диалогическом соотношении. На сцене слово каждого из четырех языков не выступало изолированно. Диалоги, декламации, серьезные части драмы писались на гибридном церковнославянском. В нем можно было встретить и полонизмы, и слова «простой мовы»: «И азъ на помощь потщахся Мегера К тебѣ, екоже подземная сфера Всегда движется в огненной ярости» (Р II 69)¹. *Перебачил, вдячный, невымовным, коштовным, огортает* — вот примеры вторжения польского и «простой мовы» в «Вирши на Рождество Христово» Памвы Берынды. Радость вещает Nature Людской в «Рождественской драме» Димитрия Ростовского: «Внимай сладкогласному сему инструменту; Сего слыша, никогда не дознавай ляменту» (Р III 92). Эти полонизмы — знак обучения авторов в польских школах, отношения к польскому как к литературному образцу.

Гибридный церковнославянский часто встречался на сцене с «простой мовой». Это могло создавать комический эффект, как в драме об Алексее человеке Божиим. После чтения официального приглашения Евфимиана на свадьбу его сына Алексея на сцену выходили Мужики. «Рѣчь, взывающая на свадьбу» построена в соответствии с правилами польского ораторского искусства: «Велможный его моць пан Евфимиян, сенатор рымский, маець особливой ростопрносци и годносци ве вшитким панстве рымском заволани... панов покорне запраша» (Р IV 144—145). После этих торжественных слов Вакула, Селивон и Харитон поздравляют Евфимиана с торжеством. Их заздравные речи контрастируют с риторически правильно построенным приглашением. Напившись из ведер «аковотеи» и попробовав разных «паштетов», Мужики, у которых «очи посоловѣли», переходят на просторечия: «Мало, ой мало! бульшь! Треба не зват было; а келиш мнѣ цебер, ос еще напьюся. Ой, хоч стар, да молотчал, не хутко звалюся», «Что ты так почав? стуй же лиш, собачий сину! Осе ж и у мене руки есть» (Р IV 150, 153).

Такое же столкновение языков существует в девятом явлении «Торжества Естества Человеческого», но оно преследует иные цели. Иосиф и Никодим говорят на торжественном славяноороссийском: «Есть вертоградѣ моем гробѣ новь исщченний. В нем же не бѣ никтоже з мертвцовѣ положенний» (Р II 242). Сонмище же еврейское допускает просторечия: «Которая говурка ж б ся стала нѣколи, Не хороше, встид би бил ходити до школи» (Р II 243). «Что лежите, пяници, лихо бѣ вам у живуть!... Хороший то калавурь — лежит якъ убитий!» (Р II 250), — говорят они страже у Гроба Господня. «Слухаите, голубонки, хочей би онѣ востал» (Р II 251); «Слухан, дуракъ: онѣ — грѣшникъ, цѣлити не може» (Р II 274), — уговаривают они участников действия. Здесь столкновение языков — знак противопоставленности групп персонажей.

Простота и смирение Пастухов в «Рождественской драме» Димитрия Ростовского передается просторечиями: «Кушай, старичокъ, здоров, а на нас не ворчи» (Р III 102). Но с приходом к вертепу их речь меняется. Поклонение Иисусу вызывает церковнославянизмы: «Буи скоты», «смирень положенний», «даяй щедроты», «в плоти умаленный», типичные оксюмороны: «Всьхъ одѣваеш, а тя окрывает нагота» (Р III 106—107). Речь Ангела также полна церковнославянизмов: «Радость, о пастырие, от мене приимѣте» (Р III 103).

То же столкновение гибридного церковнославянского и «простой мовы» наблюдается в «Исповеди» И. Некрашевича. Оно служит созданию контраста между духовным лицом и мирянами. Духовник изъясняется высокопарно, торжественно. В его монологах нет просторечий. Они полны обращений, риторических вопросов: «Исусе преблагій, с высоты небесной призри на недостойный трудъ сей мой в

¹ Цитаты из текстов пьес даются по изданию: Резанов Вол. Драма українська. Київ, 1926—1929. Выходные данные указываются непосредственно в тексте статьи в круглых скобках. Р — Резанов, римская цифра — номер тома, арабская — страницы.

сем неместной» (Р V 189), евангельских цитат: «Но то горе, ах! что ты осудил за то, Что злый раб мнать в землю скрывать, не прирастил вдвое» (Р V 189). Прихожане же говорят с Духовником на «простой мове»: «Що жь, коли зогрешу, я не такь, якь люде, Що инший ледащо, да ще й звягать буде» (Р V 187), «А я що зогрешила,— що я можу знати?» (Р V 189), «да позволь сивуху пить да табаку нюхать» (Р V 190). «Простой мовой» в чистом виде на школьной сцене не пользовались. Исключение составляли интермедии, которые обычно писались на «простой мове».

Польский избирали языком драм как на ранних, так и на поздних этапах существования школьного театра. «*Declamatio de S. Catharinae genio*» написана в 1703—1704 гг. учениками Академии целиком по-польски. Язык раннего произведения, «*Dialogus de passione Christi*», — только частично польский. По-польски написан и обширный пролог. Обращения к польскому языку в малых частях драмы встречаются очень часто. Например, в «Действии на Страсти Христовы списанном» поют по-польски.

Хотя текст «Диалога» в рукописи, которую впервые опубликовал И. Франко, был написан кириллицей, он сильно зависит от польского языка. Как писал И. Франко, «кажется, что автор или думал по-польски или имел перед собою образец или образцы польские, из которых местами почти целиком заимствовал целые стихи» [18]. В этой пьесе диалог между двумя языками только намечен.

Язык «Комедии униатов с православными» Саввы Стрелецкого, написанной в конце XVIII в., — польский; на выбор языка, как видим, не влияет время. Выспренние речи, построенные по правилам риторики, основанные на евангельских цитатах, соположены с простонародными выражениями. Просторечия принадлежат двум языкам, польскому и русскому: *mądrej głowie dość dwie słowie; Stawiam jak wryty; Z palca nie wyssać; Na strzelca u zwierz leci; słowem jak groch do ścianu; голодной кумѣ хлѣбъ на умѣ и др.* Наряду с просторечиями в польский текст врываются и церковнославянские высказывания. Библия цитируется по-польски и по-церковнославянски: «*Mądrość na drodze woła, u głos swój na ulicach wydawa*» (Р V 205), «Грядущаго ко мнѣ не иждену вонѣ» (Р V 207). Иногда польский и русский сталкиваются в одной фразе: «*Niewiem, co moi myślą постники*», «*Nie tylko zwiedziłem, ale u поприсоединяль*» (Р V 213).

Латынь в украинском школьном театре в отличие от польского встречается редко. Она сохранила за собой только функцию технической терминологии, которая выглядит как современная. Большинство ремарок писалось по-латыни как на профессиональном языке эпохи: *Hic ostendit unguis; Manus benediciti de coelis; Deus e coelis tonitrua et fulmi; Ad paradisum vindicto; Pellit a paradiso; Sermo vindicti at Luciterum; Lucifer ad commilitones dicit.* Морли ремарки даваться и по-славянски. Иногда сразу на двух языках: на гибридном церковнославянском и по-польски, например, при перечислении персонажей: Пустинникъ — *Eremita*. Церковные песнопения, входившие в драмы, именовались и по-латыни, и по-церковнославянски. Цитировались на школьной сцене латинские пословицы: «*Vox populi vox dei*», иногда в переложении на польский: «*O wilku gadaia, a wilk tuż*» (Р V 195). Латынь и польский уживались порой в одной фразе: «*Płacze iak dziecko, a rezonuje iak consummatissimus theologus*» (Р V 199), «*Pan ex abrupto do niego zaczął*» (Р V 206). Так создавался макаронический эффект, пародия на ученую беседу.

Латынь в украинском театре в отличие от польского мало обыгрывалась и не была объектом прямой пародии. Только в одном случае она стала сутью комического эпизода. Страх Аспиранта перед возможным экзаменом, который в соответствии со старыми правилами должен идти по-латыни, желание получить обратно данную уже взятку подробно разыгрываются на сцене. Выучив, как нужно отвечать на вопросы Суррогата (который сам знает их только два: *Unde venis* и *Qui vis*), Аспирант переставляет местами заученные ответы. Они вызывают смех и досаду («Комедия униатов с православными»).

Эта игра со словом распространяется и за пределы латыни. В интермедиях часто встречаются имитации с нарочитыми искажениями слов других языков, русского, польского, цыганского. Это создает смеховой эффект. Правда, эти искажения характерны не только для интермедий. Они служат и знаком «чужого». Языковые неправильности свидетельствовали о происхождении персонажа, или о его принадлежности к определенному социуму. Так, Посланник трех царей в «Рождественской драме» Димитрия Ростовского путает падежи, роды, числа: «Мелхіоръ стара, Гаспаръ, третья Валтасар»; «В земля твой»; «Моя Господина», «Воля твой, царю Юда, голова рубати»; «Моя рада, что здорова ходила» (Р III 114).

Итак, в театре встречались все языки эпохи, создавая его многоголосие. Яркий пример — уже упоминавшийся «Dialogus de passione Christi». Название его дано по-латыни. Пролог написан по-польски. Про текст всей пьесы в прологе сказано: «A to się wszystko ruskim dialektem stanie» (Р I 186). Этот «русский диалект» изобилует полонизмами. По этой драме можно судить и о количественном соотношении языков, участвовавших в создании языка школьного театра.

Знаменательно, что в театре отразились лингвистические споры того времени. В «Трагедокомедии» В. Лещевского читаем о «прелестях сего века»: «Да когда еще знают что и отъ латини, Запросы ис писаній вездѣ сочиняють» (Р V 150). Такие погибают от «слуха внешнего писания». Опасно знать не только латынь, но также изучать букварь. Невозможно не вникать в смысл Священного Писания, которое одно может наставить на истинный путь и которое многие пытаются отринуть: «Да не когда услышат, уши затикають» (Р V 149). Они суть суесловы. «Немощно» также видеть без слез, как из «глаголов жизни» слагают канты «студны», «комплемнты блудны». «Блаженны людїе, и в ноци и во дны Поучающїися в законѣ Господны» (Р V 151).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Михайлов А. В. Из истории характера // Человек и культура. М., 1990. С. 57.
2. Лотман Ю. М. Пересечение как взрыв // Культура и взрыв. М., 1992. С. 35—36.
3. Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 177.
4. Рогов А. И. Петр Могила как антиуниатский полемист // Славяне и их соседи. М., 1991.
5. Бахтин М. М. Слово в романе // Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 108.
6. Живов В. М. Культурные конфликты в истории русского литературного языка XVII — начала XIX в. М., 1990.
7. Живов В. М. Язык Феофана Прокоповича и роль гибридных вариантов церковнославянского в истории славянских литературных языков // Советское славяноведение. 1985. № 3.
8. Гриценко П. Е. Некоторые замечания о диалектной основе украинского литературного языка // Philologia Slavica. М., 1993.
9. Успенский Б. А. Языковая ситуация и языковое сознание в Московской Руси: восприятие церковнославянского и русского языка // Избранные труды. М., 1994. Т. II. Язык и культура. С. 31.
10. Українська література XVII ст. Київ, 1987. С. 295.
11. Грушевський М. С. Духовна Україна. Київ, 1994.
12. Михитась В. Л. Иван Франко — дослідник української полемичної літератури. Київ, 1983. С. 52.
13. Пам'ятки братських шкіл на Україні. Київ, 1988. С. 208.
14. Чижевський Дм. Історія української літератури. Тернопіль, 1994. С. 245.
15. Живов В. М. Роль русского церковнославянского в истории славянских литературных языков // Актуальные проблемы славянского языкознания. М., 1988. С. 75.
16. Сулима М. Українське виршування. Київ, 1985. С. 29.
17. Паславський І. В. З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці XVI — першій третині XVII ст. Київ, 1984. С. 95.
18. Мирон. Мистерия страстей Христовых // Киевская Старина. 1891. Апрель. С. 53.



К ПОНЯТИЮ ЭЛОГИАРНОГО СТИЛЯ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XVII ВЕКА

В XVII в. под знаком барокко — первого общеевропейского стиля и первого в России литературного направления — происходит перестройка всей жанровой системы и формирование новых видов словесного творчества — регулярной книжной поэзии и драматургии. Вместе с силлабическим стихосложением польского образца в русский культурный контекст интегрируется развитая структура поэтических жанров с присущими им стилистическими признаками. Их исследование требует соответствующего инструментария и адекватного языка научного описания. Чтобы избежать произвольных определений и модернизации, наилучший способ — исходить при анализе жанра и стиля из литературных представлений изучаемой эпохи, соотнося их прежде всего с риторикой, ибо всякий написанный вплоть до рубежа XVIII—XIX вв. текст принадлежит словесности риторического типа [1]. Такой подход, при котором теоретические понятия извлекаются из самого материала, дает возможность принять во внимание те явления стихотворной культуры, жанровая принадлежность которых не может быть интерпретирована с помощью более поздней литературоведческой терминологии, и одновременно позволяет объяснить смысл некоторых жанровых определений. Кроме того, как отметил В. М. Живов, «риторическая теория — один из важнейших моментов (...) пересадки европейской культуры на русскую почву» [2].

В настоящей статье речь идет о поэтическом стиле, связанном с жанровой формой элогиума. Этимологическое значение греческого слова *ἔλλογιον*, латинского *elogium* — надпись, краткое сентенциальное высказывание. Термин имеет также генологическое содержание, обозначая литературный жанр [3. S. 168], генетически родственными надписи и эпиграмме, на что указывает семантическая общность понятий *elogium*, *inscriptio*, *epigramma* — каждое из них означает «надпись». Но эпиграмма в своем развитии далеко ушла от элементарной надписи, приобретая элементы *propositio* и *conclusio*, а также разнообразные версификационные показатели. Форма же надписи с ее лапидарностью, своеобразием содержания, энергично выражающим сущностное суждение, оказалась притягательной для поэтики барокко, занятой экспериментальным поиском новых выразительных средств поэтического высказывания.

Понятие *элогиум* нашло отражение в литературной практике, а также в риториках и поэтиках XVII в. В государственно-эмблематической поэме Симеона Полоцкого «Орел Российский» (1667) за панегириком-посвящением царю в прозе — «Енкомиионом» следует стихотворное приветствие с названием «Елогион» [4]. В научной традиции определение, соответствующее понятию *элогиум*, употребляется

равно в форме *элогиарный* [5] либо *элогиальный* [6]. (Мы отдаем предпочтение первому перед вторым, фонически сближающимся со словом «коллегиальный».)

Проблема элогиарного стиля в русской поэзии фактически еще не ставилась, имеются лишь отдельные наблюдения [7. С. 136—138]. Материалы, дающие повод к такой постановке вопроса, до сих пор остаются в рукописях и нуждаются в публикации. Мироззренческо-стилевые основы поэзии русского барокко XVII в. складывались внутри риторической традиции под воздействием художественного опыта польской и новолатинской литературы. Творчество Симеона Полоцкого, крупнейшего русского поэта XVII в., сформировавшегося в атмосфере культурного пограничья, наглядно иллюстрирует процессы усвоения и адаптации этой латино-польской барочной культуры. Он перенес на русскую почву литературные традиции, в которых был воспитан как писатель. Особое значение для нашей темы имеет исследование Б. Отвиновской, по существу единственное специально посвященное теории и практике элогиума на основании трактатов по риторике и поэтике, новолатинской и польской поэзии XVII в. [5]. Давая общую характеристику этого жанра, мы опираемся на основные положения названной работы.

Теоретики XVII в., значительно больше ориентировавшиеся, в отличие от «классицизирующего гуманизма XVI в.», на проблемы стиля и его украшения, вынесли элогиуму высочайшую, апологетическую оценку. Один из главных теоретиков жанра, французский иезуит Пьер Лаббе поднял этот жанр на «щит панегирической поэзии и прозы» и, давая ему весьма выразительную характеристику, использовал при этом поэтические возможности именно элогиарного стиля: «Элогиум есть сила, как бы дух, душа и суть панегирика (...) душа цветов, вкус жидкости, дыхание ветра, сердце металла (...) есть еще и пятая субстанция, сущность сущности, цвет цветов, жидкость жидкости, золото золота, металл металла. Чем для химиков есть золото золота, тем для элогистов элогиум: панегирик панегирика» [5. S. 158].

Ведущий свое происхождение (как и многие другие жанры) из древнего Рима, где широко применялись надписи на статуях, обелисках, воротах, фонтанах, храмах, элогиум однако настолько преобразовался, что воспринимался литературным сознанием XVII в. как свое собственное изобретение, как жанр совершенно новый на поэтическом Парнасе. При отсутствии твердой жанровой формы он получил в теоретических трактатах того времени широкий спектр характеристик, относящихся к содержанию, строению, жанровым свойствам и разновидностям. Самое общее определение элогиума у разных авторов включает в себя понятия, выступающие в качестве конституирующих признаков жанра: похвала, краткость и концептизм [3. S. 168].

Своеобразие эстетической конфигурации элогиума проявляется в том, что жанр этот может располагаться на пограничье стиха и прозы: если элогиум написан прозой, тогда это проза поэтическая или поэзия прозаическая (*poesis soluta*). Другое распространенное определение характеризует элогиум как «свободный стих» (*libera poesis*) [5. S. 165], как «поэтическое неметрическое произведение» [5. S. 154], элогиум пишется «наподобие стиха» — *ad instar versus* [5. S. 172]. Оба названных воплощения элогиарного стиля теоретики XVII в. признавали за элогиум, но все же в первую очередь они относили элогиум к структурам стихотворным [5. S. 169, 170; 3. S. 70, 133], в чем можно видеть естественное и закономерное выражение духа эпохи. XVII век — один из периодов всеобщего преклонения перед поэзией. Среди пестрого изобилия стихотворной продукции особое и заметное место заняла поэзия окказиональная, панегирическая, обслуживавшая светские и церковные дворы «века абсолютизма». В эту эпоху тотального стихотворства расцвел и древний элогиум, который был подтянут теоретиками жанра к версификационным формам. Отмечалось, что стихи в элогиуме могут быть разной величины — то короткие, то более протяженные, при этом выбор длины стихотворной строки подчиняется требованиям смысла. Рассмотрению элогиума в разряде поэзии не противоречит утверждению Пьера Лаббе о том, что «элогиум — цвет и суть элоквенции» [5. S. 155], ибо поэзия

воспринималась тогда как «красноречие» самого Бога, а риторика была «путеводительницей» барочных поэтов, их творчество — проповедь, будь то в прозе, либо в стихах [7. С. 33—37].

Систематизируя материал риторик и поэтик, Б. Отвиновская отмечает, что элогиум принадлежит к разряду малых форм поэзии XVII в., главным образом, панегирической, или скорее эпидейктической, а именно к таким, которые, не имея достаточно строгих очертаний, часто смешиваются между собой, поскольку их жанровая самостоятельность во многих случаях редуцируется до функции украшения, тропа, частицы целого. Сюда относятся надписи, эмблемы, девизы, иероглифика, эпитафия, гномы, сентенция, загадка, анаграмма и прочие искусственные поэтические мелочи — все они в той или иной мере являются знаменем литературного вкуса эпохи. С точки зрения тематики различаются четыре разновидности элогиумов: панегирические, религиозные, исторические и медитативные [5. S. 161].

Элогиарное творчество развивалось в рамках поэтики барокко. Свои кодифицированные формы элогиум получил на почве латыни и в рамках школьной риторики был провозглашен вершиной художественной культуры слова. Самые яркие элогисты XVII столетия, кроме уже упомянутого Пьера Лаббе, — итальянцы Эмануэле Тезауро, Алоиз Югларис, немец Якоб Масений (что характерно — все иезуиты), их имена чаще всего появлялись на страницах трактатов по риторике и поэтике. Широкая популярность элогиума в Польше начинается с середины столетия.

Б. Отвиновская отмечает существенную характерную особенность: на почве национальных литератур элогиум как эксперимент *неметрического стиха* не привился. Все попытки его адаптации закончились в результате простым приспособлением *элогиарного стиля* в рамках принятых в данной литературе версификационных размеров, либо поэтической прозы. Однако ни то, ни другое, как считает Б. Отвиновская, не является эквивалентом *стихотворного элогиума* как *неметрической и безрифменной* формы [5. S. 172]. Жанровому определению в полной мере отвечают, по ее мнению, только латиноязычные элогиумы польских авторов (Ш. Старовольский, А. Инес, Я. К. Рубинковский, С. Х. Любомирский и др.), тексты же на польском языке, носящие название *элогиум*, отстоя от генологического содержания термина, обнаруживают лишь признаки элогиарного стиля (Я. А. Морштын, С. Х. Любомирский, Д. Наборовский и др.). Тем самым Б. Отвиновская констатирует, казалось бы, парадоксальную ситуацию: всеобщие и восторженные похвалы жанру при отсутствии его в национальных литературах.

Такая ситуация возможна только с точки зрения отвлеченной, абстрактной теории чистоты жанра, абсолютизирующей жанровый канон элогиума, сложившийся изначально на латинском языке в форме *неметрического стиха*. Однако такой подход представляется дискуссионным. Ведь жанр, как известно, категория историческая, подверженная изменениям. Вспомним хотя бы басню. Эзоп-Лафонтен-Крылов — разные вехи развития жанра, родившегося прозаическим и ставшего стихотворным. Басня средневековья и басня Нового времени восходят к Эзопу, Федру, Бабрию, все они обрабатывают примерно одни и те же сюжеты, но трактуют их по-разному и в разной форме, сохраняя самую суть жанра — пример из жизни животных с вытекающей отсюда моралью.

Теоретическое осмысление жанра элогиума должно учитывать историко-литературную и национально-культурную перспективу. Переход жанра из новолатинской литературы, с классического языка в литературы на национальных языках сопровождался утратой некоторых признаков, относящихся к внешнему оформлению, и заменой их другими, соответствовавшими внутренней природе усваивающей этот жанр литературы. В частности, польский инвариант жанра в отличие от своего латинского образца представляет собой рифмованную силлабику. Элогиум и здесь остается жанром, поскольку сохраняется его сущностная, конституирующая основа — панегиризм, краткость и острота стиля. Есть основания, таким образом, говорить о *польском элогиуме* точно так же, как Пьер Лаббе,

осознавая и отмечая различия латинского элогиума и его французского аналога, называя тем не менее последний «элогиумом французским» (цит. по: [5. S. 173, примеч. 62]).

Литературная практика только подтверждает правомерность такого взгляда. Творчество польских авторов, например, Я. К. Рубинковского, С. Х. Любомирского, писавших элогиумы и по-латыни, и по-польски, со всей очевидностью обнаруживает два важных момента: поэты осознавали латинский элогиум как структуру стихотворную и соответственно переводили ее в принятую в данное время на их национальном языке систему стихосложения. Литературная практика представляет также примеры произведений, написанных регулярным стихотворным размером, с генологическим указанием в заглавии на элогиум, таковы, например, польскоязычные элогиумы названного Я. К. Рубинковского [5. S. 175]. «Elogium na śmierć papą Myszkowskiego», сложенный Жоравиньским, каштеляном Бельским [8. S. 95—97] (13-сложник с парной рифмовкой), упомянутый уже «Елогион» Симеона Полоцкого из «Орла Российского» (11-сложник) и др.

Таким образом, с историко-литературной точки зрения развития жанра элогиум при переходе в традицию национальных литератур, скажем, французской, польской, русской, отливался в существующие здесь версификационные формы.

Термин элогиум неоднократно обозначал также не только жанр в целом, но риторическое украшение, либо фрагмент стиха, включенного в собрание риторической «эрудиции» между выписок школьных *loci communes* и *flores* [5. S. 172]. Уже в самих формулировках теоретиков элогиума заметна тенденция к такому расширительному толкованию понятия элогиум, которое делало возможным местную, национальную адаптацию элогиарной стилистики, выходящей за рамки отчетливо определенного жанра [5. S. 176].

Родство элогиума с надписью накладывает отпечаток на его стиль. Эстетическая ценность надписи основана на лапидарности. Соответственно теоретики элогиума, акцентируя два неотъемлемых его признака, называют краткость (*stylus brevis*, *laconicus*) и остроумие (*stylus acutus vel argutus*), основанное на концептах с использованием «фигур мысли» и «фигур слова» [5. S. 167]. Рекомендуются при этом следить за тем, чтобы по крайней мере через три строки появился концепт, сплетая в единство строки стиха и охватывая тему целиком, либо только две-три строки. И все же приоритет отдается краткости, которая сама по себе способна заменить остроумие, она выполняет в элогиуме роль, аналогичную той, какая принадлежит концептам [5. S. 161, 167]. Заметим, что М. К. Сарбевский, автор теории барочного остроумия (*acumen*), называл краткость (*brevitas*) среди способов создания остроумия и относил ее к риторическим фигурам мысли, служащим украшению [9].

Изысканный и элегантный элогиарный стиль отличает тенденция к миниатюжности (не произведения, но стиля!), быстрота, афористичность, подчеркнутая фрагментарность при одновременном поиске неразрывной связности, слитности, высокая степень языковой рефлексии, требуемой трудным искусством игры слов и фигур. Такой стиль формируется на риторико-синтаксической основе использованием богатства концептов в виде вызывающих изумление украшений, остроумных и блестящих сравнений, уподоблений, эпитетов, синонимов, аналогий и антитез, метафор, фонических эффектов, разного рода *figura sententiarum*, служащих амплификации и оживлению содержания.

Лаконичный и плотный элогиарный стиль создается определенными грамматико-языковыми средствами, принадлежащими в значительной мере сфере поэтического синтаксиса. В риторике в разделе «Что есть украшение слова» из «трех вещей», влияющих на красоту слога, на первом месте названа «речь грамматическая» [10]. Требование краткости часто делает стихотворную строку равнозначной самостоятельной синтаксической структуре, обладающей смысловым и интонационным единством. Вместо развернутых конструкций могут быть только их части, неполные периоды, короткие отрезки, поэтическое высказывание как бы сводится к некоторым основным ядерным структурам.

Для элогиарного синтаксиса характерно нанизывание однородных составных частей с одновременным стимулированием эллипсиса глагола, тенденция к устранению логико-синтаксической перспективы, необнаружению иерархической соподчиненности между предложениями, преобладание сочинительной связи над подчинительной и асиндетизм.

Все это формирует одну из выразительных черт элогиарного стиля — обособленность отдельных частей поэтического высказывания. Последнее качество выдвигалось теоретиками жанра как фактор стихообразующий. Существовая как бы независимо друг от друга и замыкаясь в собственной целостности, сегменты текста обретают геральдическую застылость, они срastaются в единую форму на основе внутренних связей между частями целого. И как следствие — плотность стихотворной строки оказывается выше, чем слитность всей композиции, что напоминает, по словам Б. Отвиновской, ожерелье, где каждая жемчужина — законченная и замкнутая целостность, в то время, как нить, на которую эти жемчужины нанизаны, может быть укорочена или удлинена, а затем и перенизана заново [5. С. 152].

Не учтенная пока в истории русского стиха, достаточно экзотическая элогиарная форма обслуживает прежде всего панегирические жанры поэзии барокко XVII в. в разных ее ответвлениях — придворно-церемониальной и религиозной, где наблюдается повышенная концентрация риторических приемов. Форма эта осуществляет себя почти исключительно в рамках силлабической системы стихосложения. Как уже упоминалось, Симеон Полоцкий не знает препятствия, соединяя генеалогическое указание «Елогион» с приветствием, написанным 11-сложником. Им предваряется эмблема в форме триады (девиз, картинка, подпись), в изобразительной части которой двуглавый орел — вариант государственного герба России XVII в. — помещен на фоне солнца, испускающего лучи добродетелей. И хотя изображению предшествует девиз («Во солнце положи селение свое. Псалом 58, ст. 5»), «Елогион» выполняет роль дополнительной развернутой надписи, комментирующей следующую за ним эмблему. В «Елогионе» эмблематические значения соединяются с геральдическими толкованиями символики двуглавого орла. Можно полагать, что название приветствия «Елогион» связано с реализацией этимологического значения термина (надпись), вместе с тем оно отвечало распространённому особенно со второй половины XVII в. явлению, когда форма элогиума господствовала почти повсюду в панегирической эмблематике, основанной на символике гербов [11. С. 49].

Применительно к другим текстам русской поэзии XVII в., обладающим стилистическими признаками, присущими жанру элогиума, но не имеющими в заглавии соответствующего генеалогического определения, мы пользуемся понятием элогиарного стиля. Один из выразительных примеров такого стиля представлен в поздравлении Симеона Полоцкого царю Алексею Михайловичу по случаю рождения и крещения царевича Симеона — «Благоприветствованию» (1665), включенном впоследствии наряду с другими текстами придворно-церемониальной поэзии в «Рифмологион» (1678—1680). В парадную «книжицу», как сам поэт именовал свои стихотворные дары, поднесенные членам царской семьи в виде великолепно оформленных рукописей, где поэзия превращена в изощренную, преисполненную блеска игру, и носит, по словам И. П. Еремина, характер «словесного зрелища», составной частью входит стихотворение-крест, имеющее «значение вполне самостоятельной единицы» [12. С. 128, 130]. В рукописи «Рифмологиона» контурное во весь лист изображение «трисоставного» (шестиконечного) креста, выполненное киноварью, обнимает киноварный же стихотворный текст, подчиненный заданному графическому образу сочетания строк, имеющих разную слоговую длину [13. № 287. Л. 430 об.]. Стихотворение-крест (рис. 1) воспроизведено здесь по писцовому списку [14. Л. 40; 7. С. 80], с которого было переписано в «Рифмологион». (Текст передается по правилам, принятым в «Трудах Отдела древнерусской литературы»; пунктуация рукописи.)

Крест спасенный
Торжественный.
ЦАРЕВ слава
И держава.
Побѣдитель.
И спаситель.

Крестом Господним падший род спасеся. Прелстивый дьявол крестостѣчеся.
Сим ад разорен, клятва упразднися. Смертное жало крестом потребися.
Крест скипетр царем церкви удобрило. В житяестем морѣ пловущим кормило.
Кровию Христа Бога окропленный. Им же всеродный Адам искупленный.
Мѣрило правды всѣх украшение. Шит покров помощь вѣрных и спасение.

ЦЕРКВИ ХВАЛА.
СТЕЗЯ ПРАВА
ВСѢХ ЧЕЛОВѢКОВ
К ЦАРЮ ВѢКОВ.
ОРУЖИЕ
ОРУДИЕ
ОТ ВСѢХ ТВОРЦА
НА ЗЛА БОРЦА

Лютая сим смерть вѣчно умертвися
Смертность в жизнь вѣчну наша преложися
Не к тому знамя крест смерти бывает
Но в страну живых вѣрных провождает

Сей ты вславит.
Храбра явит
Измет бѣды.
Даст побѣды
На вся люди
Еже буди.

Стихотворение-крест из «Благоприветствования» (1665) Симеона Полоцкого на рождение и крещение царевича Симеона Алексеевича

Новорожденному царевичу, «в святой бани светло измовенну», поэт вручает в качестве подарка крестильный крест — не материальный, но «мысленный», духовный. Осеня царственного младенца, крест — «хранитель и пособитель» будет служить в продолжение всей его жизни спасению души. Фигурное, обрядово-церемониальное стихотворение раскрывает символику сакрального знака в системе значений, приличествующих торжественно отмечаемому событию.

Нельзя не вспомнить о связи образа со словом, свойственной форме элогиума, названной не без основания «стихом накаменным», поскольку происходила она из надписей, сопутствовавших изображениям или резьбе, высеченным на камне [11. S. 40]. Вместе с тем мы наблюдаем явление, которое совпадает с сущностью того, что теоретики барокко называли остроумием (асипен). Острая мысль, искусство быстрого и изощренного ума, приводящего в универсальную связь все явления мира, когда они познаются через сопоставление, замещение и отожде-

ствление, — общие понятия теории поэзии того времени. Остроумная выдумка составляет суть поэтической инвенции. В споре, борьбе, столкновении «далеко-ватых идей» обретается слияние слова и изображения. Поэзия есть говорящая картина — одно из манифестируемых положений эпохи, а один из ее художественных постулатов, поощрявших скрещение различных художественных языков, — изумлять и удивлять. Стихотворение-крест — символическая графема, являющаяся визуальной репрезентацией идеи. Выражая один из наиболее эффектных концептов произведения, такая форма предоставляла поэту возможность варьирования темы и переведения ее в план наглядной конкретности.

Ключевые слова, служащие опорами словесно-зрелищной композиции, выстроены поэтом в мачте креста. Выделенные написанием, при котором графический уровень текста превращается в семантически значимый, они выступают также как метатекст, иерархически подчиняющий себе остальные, комментирующие стихи. В результате образуется целостная и многослойная структура, в которой автор стремится к передаче не отдельных слов, а смыслового целого.

Текст в мачте креста служит наглядным воплощением элогиарного стиля, для которого характерны перечни синонимов, каталоги, «цепи слов», фигура асиндетона. Трехчастное стихотворение, укрепляющее структуру всего произведения, написано коротким, «быстрым» размером — 4-сложником, где в качестве сегмента текста, образующего стихотворную строку, может участвовать даже одно слово. Стихотворение представляет собой композицию, целиком заполненную перечислительными контекстами при господстве бессоюзной связи. Цепь с нанизыванием номинативных конструкций, охватывающая текст в верхней и средней части мачты креста, включает в себе каскадом переливающиеся из строки в строку концепты в виде символично-метафорических определений сакрального знака. Цепь эта украшена фонической игрой, создаваемой не только краткостью стихотворного размера, сокращающей интервалы между рифмами и усиливающей эффект рифмовки, но также приемом параномазии. Применение столь характерного для элогиума пропуска глагола приближает каждое звено в цепи символических метафор к форме отдельных надписей, связанных между собой синонимически: крест — «Царев слава», «И держава», «Побѣдитель», «И спаситель», «Церкви хвала», «Стезя права всѣх челоуѣков к царю вѣков», «Оружие», «Орудие от всѣх творца на зла борца». Возможно, ближайший источник текста Симеона — тропарь из службы Козьмы Маюмского, посвященной Воздвижению Креста Господня (VIII в.): «Крест хранитель всея вселенная, крест красота Церкви, крест царей державо, крест верных утверждение, крест ангелов слава и демонов язва». Близость текста Симеона поэтике церковного гимна объясняется также тем, что риторика, будучи стилем мышления и принципом творчества, объединила единым основанием разные пласты культурного развития [15].

Элогиарный стиль в стихотворении-кресте основывается на актуализации коротких сегментов текста и их нанизывании, создающем напряженное ожидание разрешения этого накопления. Функция суммирования, подытоживания возложена на третью часть стихотворения — в нижней части крестного древа, где в ряду опять-таки нанизываемых однотипных синтаксических конструкций исчисляются проявления действенной силы креста, но теперь уже с использованием глагольной предикации: «Сей ты вславит/Храбра явит/Измет бѣды/Даст побѣды (...)». От слов, замещающих целое, от отдельных коротких сегментов текст движется к передаче целостной структуры, подчиняющей себе слова и смыслы. Стихотворение в целом является экстраполяцией риторической фигуры асиндетона, позволяющей соединить распадающийся на фрагменты текст и обрести законченное в незаконченном, — накоплению синонимов на одном полюсе соответствует их сведение к общему значению на другом.

На том же риторическом принципе построено раннее стихотворение Симеона Полоцкого на польском языке с латинским названием «Номо» («Человек»): «Człowiek jest bombol, szkło, lod, bajka, proch, siano, /Sen, punkt, głos, dźwięk,

wiatr, kwiat, nic by go królem zwano» [13. № 731. Л. 127]¹. Строки эти могут быть напрямую соотнесены со строками из стихотворения Д. Наборовского «Краткость жизни», в которых Б. Отвиновская отмечает прием «каталога», родственный элогиарному стилю: «Dźwięk, cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt — /żywot ludzki płynie./Słońce więcej nie wschodzi, to, które raz minie» (цит. по: [5. S. 179]). Совершенно очевидно, что приобретенный в ранний период творчества художественный опыт латино-польской риторической культуры Симеон Полоцкий перенес в русскую поэзию.

Вернемся к стихотворению-кресту. 4-сложный размер в мачте ощущается как «сверхкороткий» (термин М. Л. Гаспарова) на фоне 11-сложника, заполняющего пространство поперечной и косой перекладины. В первой из них текст стихотворения, воспроизводя очертания графической фигуры, написан в два столбца, порядок чтения регулируется парной рифмовкой, из чего явствует, что левый столбец содержит нечетные строки стихотворения, правый — четные. Вирша (двустипшие), таким образом, занимает не две, одна под другой, строки, а вытянута в единую линию. В стихотворном тексте, занимающем обе перекладины креста, наблюдается характерный для элогиарного стиля поэтический синтаксис с уже отмеченными особенностями — нанизыванием нескольких однородных синтаксических групп, пропуском в некоторых из них глагола («Крест — скипетр царем, церкви — удобрило, /В житейском морѣ плывущих кормило»; «Мѣрило правды, всѣх украшение, /Щит, покров, помощь, вѣрных спасение»), антитезами. Концепты, основанные на символических метафорах и контрасте, связывают строки стихов в единство, охватывая тему всей словесно-зрелищной композиции. Есть здесь и излюбленная элогиумом универсальная топика смерти и вечности, гибели и спасения.

Свойственная произведению в целом фрагментарность — тоже черта элогиарного стиля. Эстетика фрагмента с относительной независимостью составных частей допускает разные способы прочтения. Восприятие стихотворного текста, заполняющего мачту креста, как некоего единства не исключает возможности дробного чтения, учитывающего чередование стихотворных конструкций с разными слоговыми размерами. В таком случае сначала читаются первые шесть коротких строк в верхней части крестного древа, затем стихотворение с длинными строками в поперечной перекладине, далее опять следуют 4-сложные строки, сменяющиеся 11-сложным стихом, и увенчивается композиция короткими строками. Произведение одновременно как бы распадается на составляющие его части и выстраивается в высшую целостность. Поиск связности ведется от риторической диспозиции к поэтической слитности, которой обладает *целое* поэтического высказывания.

Семантико-синтаксическая замкнутость, внутренняя непроницаемость коротких сегментов текста, свободные синтаксические связи открывают путь к конструированию на их основе новых поэтических композиций, и элогиарный стиль становится источником дополнительных смысловых и художественных эффектов, что наглядно демонстрирует «Приветство» Симеона Полоцкого Михаилу Тимофеевичу Лихачеву «о поятии супруги вторья» (1680). Лихачев имел придворный чин стряпчего с ключем и по указу 1678 г. был поставлен в бюрократической иерархии выше составлявших чиновничью элиту думных дьяков [17]. По-видимому, он пользовался особым расположением царя Федора Алексеевича. Через Лихачева, «милостивого благодетеля», как называет его Симеон, ему неоднократно выдавались из государственной казны денежные вознаграждения и ценные подарки (например, шелк — «камка китайская таусинная») в качестве гонорара за выполненные для царской семьи литературные труды [18; 19].

Элогиарная форма включена в «Приветство» на правах великолепной стихотворно-графической композиции, обладающей эстетической независимостью миниатюры. Текст, написанный коротким размером в два столбца, легко вычленяется из общего состава свадебной оды, контрастируя с нависающими сверху и под-

¹ Текст стихотворения воспроизведен в издании [16] с несколькими ошибками.

пирающими снизу 11-сложными строками, подчеркивающими автономию искусной поэтической конструкции. Механизм барочной риторики, нацеленной на создание в произведении «множественности реальностей», открывал путь к построениям типа текст в тексте, стихотворение в стихотворении. В «Приветстве» также одна форма вставлена в другую. По-видимому, этим обстоятельством объясняется дополнительное к основному заглавию обозначение «узел приветственный», введенное в концовку произведения, примыкающую непосредственно к интересующему нас тексту: «Сей узел приветственный честно ти вручаю/всечестный, Михаиле, и верно желаю/Да ты союзом любви с Марфою связанный/будеши в любви Бога выну соблюденный (...)». В качестве параллели к метафорическому определению Симсона (узел — «союз любви» вступающих в брак) можно указать стихотворение 36. Морштына «Węzeł» («Узел»), смысл названия которого раскрывается в тексте: это узел любовного чувства, связующий сердца поэта и «нимфы» [8. S. 391]. Однако определение Симеона «узел приветственный», как можно полагать, имея в виду многосоставность композиции, относится не только к содержанию, но и к форме курьезного стиха, выдержанного в технике элогиарного стиля. Приводим текст «узла»:

Бог сый в небѣ
 радость тебѣ
 да дарует,
 Честь и славу
 мужу праву
 да готует
 Зато, яко
 вѣм благ всяко
 бываеши,
 Бѣдным милость,
 скорбным радость
 творяеши
 Он сам тебѣ
 все, что требѣ,
 да умножит,
 Многа лѣта
 без навѣта
 да приложит.
 По тѣх вѣчну
 безъконечну
 да даст славу,
 Его зрѣти
 ему пѣти
 вѣчно хвалу.
 Со ангелы
 с архангелы
 и с святыми
 В горнѣй чести
 кромѣ лести
 живущими

Боже благий,
 сѣте драгий,
 да храниши
 Марфу здраву
 в твою славу,
 юже зриши
 Тя любящу,
 и служащу
 сердцем правым
 Умом десным
 словом честным
 не лукавым
 Даж с супругом
 ея другом
 долго жити
 Во радостех
 и в сладостех
 благих быти:
 Дажь имѣти
 честны дѣти
 в славу дому.
 Вся благая
 полезная
 придажд к тому.
 По сих благих,
 зѣло драгих
 даруй в небѣ
 Тя хвалити
 и служити
 яко требѣ.

[13, л. 399]

И. П. Еремин констатировал: «Секрет этого „узла“ в том, что прочесть его можно и как одно стихотворение и как три: в любом случае стихи не утратят смысла, если прочесть его в целом, получим стихотворение с двойными рифмами — восьмисложное,

если — по полустихиям, получим два четырехсложных стихотворения весьма изысканной по тому времени строфической композиции (aacbbc)» [12. С. 144].

Описанный эффект основан на комбинаторной поэтике, допускающей разные возможности прочтения и имеющей своим источником элогиарный стиль, который превращает текст «узла» в трансформирующийся стих. Из одного и того же словесного материала образуется три стихотворения. Перед нами типичная для барокко ситуация, когда текст и произведение не совпадают, порождая полиморфную структуру. Если читать текст в левой и правой колонках по отдельности, становится очевидным, что слева — персональное поздравление М. Т. Лихачеву, справа — его невесте Марфе. Если же «узел» воспринимать как 8-сложный стих с цезурой (4 + 4), «Приветство» предстает как общее поздравление новобрачным при первенствующей роли жениха, которому и вручается свадебная ода.

«Узел» является искусственным конструктом, результатом свободной игры языковым материалом. Конфигурация смыслов заложена в архитектуру стиха с его трансформирующимся синтаксисом. Сегменты текста из стихотворных приветствий жениху и невесте, взаимодействуя в «узле», могут изменять свою синтаксическую соподчиненность, вступая в иные семантико-синтаксические связи. Общей для всех трех стихотворений остается побудительная модальность, мотивированная обращением поэта к Богу с просьбой благословить сей брак. Из строки в строку перебрасываются развитые на сверхкороткие отрезки сочинительные предложения (по преимуществу), стержнем которых являются побудительные глаголы-сказуемые. Единая модальность, ослабленность синтаксической связности текста, придающая независимость замкнутым словосочетаниям, отрывистость стиха, условность пунктуации в списке произведения при минимуме знаков препинания образуют открытую конструкцию, дающую возможность объединения строк, принадлежащих разным стихотворениям.

Рассмотрим для примера первые строфы «узла». Но сначала одно предварительное замечание. Текст столбцов записан без графических интервалов между строфами. Однако киноварные прописные буквы в начале трехстиший, а также конфигурация рифм (ААВ + ВВВ + ГГД + ЕЕД и т. д.) дают основание полагать, что текст организуется как цепь трехстрочных строф. Вместе с тем рифмующиеся последние стихи двух смежных строф, предоставляя ранний пример охватной рифмовки, сочетают трехстрочные строфы в шестистрочные «суперстрофы» (термин М. Л. Гаспарова). В каждом столбце «узла» соответственно десять трехстрочных строф или пять суперстроф.

Трансформацию синтаксиса можно наблюдать в первых строфах «узла» на следующих примерах. Синтагма «свете драгий», служащая в поздравлении Марфе обращением к Богу, попадает в контексте 8-сложного стиха в зависимость от указательного местоимения «тебѣ» и переадресуется Лихачеву: «Бог сый в небѣ Боже благий/радостъ *тебѣ* светѣ драгий (Лихачев.— Л. С.)/да дарует...». Просьба «да храниши» в правом столбце направлена к Богу — «Да храниши/Марфу здраву...», а в составе общего приветствия звучит как напутствие жениху, присоединяющее к себе уже иное дополнение: «Да храниши *Честь и славу*». В левом же столбце последнее словосочетание управляется глаголом-сказуемым «да дарует» при подлежащем «Бог»: «*Бог.../да дарует*/Честь и славу...». Следующая фраза, перетекающая из полустихия в полустихие «узла», подразумевает то же самое подлежащее «Бог»: «Марфу здраву/мужу праву в твою славу/*да готует* юже зриши/...». Праву выступает здесь как однородное определение («здраву», «праву») и характеризует добродетель Марфы, преданной своему «мужу», в поздравлении же Лихачеву — эпитет, обозначающий *его* праведность. В строках правого столбца «юже зриши/Тя любящу» говорится о любви Марфы к Богу, но те же самые синтагмы в 8-сложном стихе изображают ее любящей своего суженого. Нанизываемые однородные синтаксические группы в одном случае характеризуют невесту, служащую Богу «сердцем правым/Умом десным/словом честным/не лукавым», но подключаясь к полустихиям первого столбца, всецело переориентируются на жениха, попадая в зависимость от глагола, выражающего

в комплиментарной форме пожелание: «сердцем правым/Бѣдным милость Умом десным/скорбным радость словом честным/творяещи не лукавым/...».

Некоторое формальное несоответствие заметно в строке «Он (Бог.— Л. С.) сам тебѣ (Лихачеву.— Л. С.) Дажд с супругом (Марфой.— Л. С.)». Грамматически соответствующим был бы вариант: «... Даст с супругой». Однако повелительное наклонение глагола вместо изъявительного и мужской род существительного вместо женского предопределены исходным текстом поздравления Марфе: «Дажд с супругом/ея другом/долго жити».

Безусловно, в такой искусственной конструкции, которая рассчитана на взаимодействие строк, обслуживающих одновременно разные стихотворные произведения, неизбежны промежуточные слова (например, «зато яко» в первой строке второй суперстрофы), местами прихотливая расстановка слов, оборванные словосочетания. Впрочем абсолютная прозрачность от такого рода текстов и не требовалась. Напротив, теоретики элогиума даже рекомендовали авторам не стремиться к сохранению характерных для периода связей между короткими сегментами текста, полагая, что поэтическая целостность основывается на элементах семантической общности [5. S. 156].

«Узел» демонстрирует еще один замечательный эффект. Графика здесь не просто закрепляет стиховой ряд. Полнота эстетического чувства достигается не только чтением, но и созерцанием. Вся конструкция, сочетающая организацию языкового и стихотворного материала с пространственно-графической, рассчитана на точку зрения воспринимающего, на разглядывание стиха. Применение графической сегментации, характерной для элогиарного стиля, превращает «узел» в форму, предназначенную «для глаза». Это стиль, который можно созерцать. Параллельные колонки текста, как бы представляя за новобрачных, воспринимаются как графическая метафора, в которой будущие супруги явлены и по отдельности как самостоятельные духовные и телесные сущности, и вместе с тем как единство, скрепленное брачным союзом,— в полном согласии со словами апостола Павла: «ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе» (1 Кор. 11—12). Становится очевидным, что создавая произведение, поэт ввел в сферу изобретения (*inventio*) библейскую символику, как это и предписывалось теорией элогиума. Основанный на концептическом способе выражения идеи «узел» предстает как разновидность фигурного стихотворения. Установка на роль визуальных элементов и графическое оформление словесного текста отмечены и в медитативном элогиуме С. Х. Любомирского «*Adverbia moralia*» (1666) [11. S. 40; 6. С. 216].

Подобные технически изощренные конструкции требовали от поэтов активного обращения со словом. К каждой отдельной строчке они прилагали максимум энергии, чем и заслужили себе репутацию «стиходеев». Такое определение В. Н. Перетц дал, в частности, украинскому барочному поэту начала XVIII в. Ивану Величковскому [20]. На «барочную фактуру стиха» и «возможное двойное прочтение текста» в «Саде божественных песен» Г. Сковороды обратил внимание М. Ю. Лотман [21]. Версификационный эксперимент, использующий игровые возможности элогиарного стиля, оказался близок некоторым направлениям авангарда. Так, ранние стихи С. Третьякова («Веер», «Дорога», «Аэроплан») построены как «двухстолбцовый текст, допускающий различный порядок чтения» [22], при этом строка каждого столбца ограничена чаще всего одним словом, что в техническом отношении уступает виртуозным опытам барочной поэзии.

Элогиум в чистом виде встречается в русской литературе достаточно редко, воздействие же элогиарной стилистики как художественного приема гораздо шире. Выразительной адаптацией элогиарной техники являются, к примеру, строки из стихотворения «Христос» в «Вертограде многоцветном» Симеона [13. № 659. Л. 68 об.] и некоторые стихи из рождественского и пасхального циклов «Рифмологиона», связанные с традицией религиозных концептов и школьной поэтикой иезуитов. Элементы элогиарного стиля можно найти в культовой эпиграфике, включенной в архитектурное пространство Воскресенского Ново-Иеру-

салимского монастыря [23]. Черты элогиарной поэтики проникают в творчество Кариона Истомина вместе с усвоением им новых жанров и поиском необычных стихотворных форм; они дают о себе знать в синтаксической конструкции девиза к эмблеме с изображением сердца «Сердце смиренно/В словѣ явлено/К царствѣ державѣ/Российской славѣ» [24], в стихотворной надписи, написанной строками разной длины и содержащей указание на выходные данные книги «Служба и житие святого Иоанна Воина» (М., 1695), а также в некоторых его стихотворных опытах из разряда искусственной поэзии.

Нет сомнения, можно назвать и другие тексты, относящиеся к поставленной проблеме. Не претендуя на полное исчерпание эмпирического материала, мы видели свою задачу в том, чтобы обогатить научный инструментарий для анализа и описания одного из художественных явлений, появившихся в русской литературе вместе с новой культурной эпохой. Элогиарный стиль — своеобразная эстетическая структура, порожденная художественным сознанием своего времени, открывал широкие возможности моделирования поэтического языка. Изучение этого стиля в русской поэзии XVII в. подтверждает также вывод М. Л. Гаспарова о том, что «в книжной поэзии в первую очередь происходит взаимодействие и взаимоплодотворение разноязычных культур» [25].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Curtius E. R. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. 10. Aufl. Bern; München. 1984; Михайлов А. В. Методы и стили литературы (в печати).
2. Живов В. М. Феофан Прокопович. De arte rhetorica libri X. Kijoviae 1706//Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 44. № 3. С. 275.
3. Michałowska T. Staropolska teoria genologiczna. Wrocław etc., 1974.
4. Орел Российский. Творение Симеона Полоцкого//Сообщил Н. А. Смирнов//ОЛДП. СПб., 1915. Т. 133.
5. Otwinowska B. Elogium — «Flos floris, anima et essentia» poetyki siedemnastowiecznego panegiryzmu//Studia z teorii i historii poezji. Wrocław etc., 1967. Ser. 1. S. 148—184.
6. Николаев С. И. Элогиум и проповедь (проблемы изучения перевода «Adverbia moralia» С. X. Любомирского)//XVIII век. Сб. 13. Проблемы историзма в русской литературе. Л., 1981. С. 205—218.
7. Сазонова Л. И. Поэзия русского барокко (вторая половина XVII — начало XVIII в.). М., 1991.
8. Trembecki J.-T. Wirydarz poetycki//Wyd. A. Brückner. Lwów, 1910. T. 1. S. 95—97.
9. Sarbiewski M. K. Wykłady poetyki: (Praecepta poetica)/Przeł. i oprac. S. Skimina. Wrocław, Kraków, 1958. S. 190—191, 199.
10. Die Makarj-Rhetorik («Knigi sut' ritoriki dvoji po tonku v voprosech spisany...») Mit einer einleitenden Untersuchung herausgegeben nach einer Handschrift von 1623 aus der Undol'skij-Sammlung (Leninbibliothek-Moskau) von R. Lachmann. Köln, Wien, 1980. S. 130.
11. Buchwald-Pelcowa P. Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących XVI—XVIII wieku: Bibliografia. Wrocław etc., 1981.
12. Еремин И. П. Поэтический стиль Симеона Полоцкого//ТОДРЛ. М.; Л., 1948. Т. 6.
13. ГИМ, Синодальное собр.
14. РГАДА, собр. рукописей московской Синодальной типографии. Ф. 381. № 389. Л. 40.
15. Сазонова Л. И. Средневековая традиция в поэзии русского барокко//Ricerche slavistiche. 1990. Vol. XXXVII. P. 385—404.
16. Симеон Полоцкий. Вирши. Сост., подг. текста, и коммент. В. К. Былинина, Л. У. Звонаревой. Минск, 1990. С. 193.
17. Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в формировании абсолютизма. М., 1987. С. 80—81.
18. Забелин И. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. М., 1915. Т. 1. Ч. 2. С. 609.
19. РГАДА, собр. Московской Оружейной палаты. Ф. 396. Оп. 1. № 19139.
20. ПФ АРАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 162 об.
21. Лотман Ю. М. Об одном темном месте в письме Григория Сковороды//Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1985. Т. 44. № 2. С. 170—171.
22. Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. М., 1984. С. 239; Третьяков С. Железная пауза. Стихи. Владивосток, 1919. С. 16, 18; Третьяков С. Итого. Стихи. М., 1924. С. 76.
23. ГБЛ, собр. Музейное. Ф. 178. № 871.
24. Карион Истомин. Книга любви знак в честен брак. М., 1989. Л. 3 об.
25. Гаспаров М. Л. Очерк истории европейского стиха. М., 1989. С. 269.



© 1996 г. КРАВЕЦКИЙ А.Г., ПЛЕТНЕВА А.А.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕП. АФАНАСИЯ (САХАРОВА) ПО ИСПРАВЛЕНИЮ БОГОСЛУЖЕБНЫХ КНИГ

Епископ Ковровский Афанасий (Сахаров) занимает в истории книжной sprawy XX века особое место¹. Связано это, в первую очередь, с тем, что это единственный участник Поместного Собора 1917–1918 г., работавший в уставном подотделе и знавший проблематику книжной sprawy предреволюционного периода, который дожил до послесталинской эпохи.

Всю жизнь еп. Афанасий собирал и систематизировал службы русским святым. Программа этих работ была сформулирована еще Поместным Собором, о чем свидетельствует следующий документ:

*В Соборный Совет Священного Собора Православной Российской Церкви.
<Доклад> Отдела О богослужении, проповедничестве и храме.*

Заслушав в заседании 28 марта и 3 апреля <1918г.> представленный членом Собора иеромонахом Афанасием подробный доклад о внесении в церковный месяцеслов всех русских памятней, Отдел постановил представить на благоусмотрение Совета следующие положения:

1. Должен быть издан полный месяцеслов с полным указанием всех празднеств в честь икон Божией матери и всех памятней святых, как все-

Кравецкий Александр Геннадиевич — младший научный сотрудник Института русского языка РАН.

Плетнева Александра Андреевна — преподаватель Российского Православного университета. Работа выполнена при поддержке Международного научного фонда. Грант № ZZ 5000/417.

¹ Список опубликованных трудов еп. Афанасия и литературы о нем см. [1, с 91–92].

ленских, так и местно чтимых, с пропарями и кондаками, с краткими сведениями о святых иконах и из житий святых, с указанием места их почитания. Означенный месяцеслов должен быть разослан во все храмы.

2. Имена святых, почитаемых всею Русскою Церковью, вносятся в месяцеслов при всех богослужебных книгах, где этот месяцеслов печатается.

3. Должны быть собраны все имеющиеся службы русским святым, в честь икон Божией матери, исправлены, пополнены синаксариями и впредь печатаемы - службы в честь икон Божией Матери и святых общецерковно чтимых - в минеях месячных, службы в честь св. икон и святых, местно чтимых, должны быть помещены в минеях дополнительных.

4. Должны быть изданы полные лицевые святцы с изображением как вселенских, так и всех русских святых и с изображением икон Богоматери.

5. В каждой епархии должны быть составлены списки святых, близких данной епархии, и имена их в особо установленном епархиальной властью порядке должны быть возносимы на литийном прощении: "Спаси, Боже, люди Твоя" и молитве "Владыко многомилостиве". Епархиальной же властью должно быть определено, в какой местности и каким местно чтимым святым должны быть торжественно совершаемы службы в дни их памяти [3].

К этому непосредственно примыкает восстановление Собором на заседании 13 августа 1918 г. праздника Всех Русских Святых. Служба этому празднику была составлена проф. Б.А.Тураевым и иеромонахом Афанасием. Совершенствованием и расширением этой службы² и сбором материалов о русских святых еп. Афанасий занимался всю жизнь. В письмах еп. Афанасия обнаруживается большое число просьб найти и прислать службы местночтимым святым, уточняются детали житий, составляются списки местных святых. Эти материалы не просто собираются, но тщательно редактируются и приводятся к единообразию в языковом и стилистическом отношении. В архиве еп. Афанасия содержится несколько сот служб и акафистов, в значительной части неопубликованных, с правкой и примечаниями, сделанными рукой еп. Афанасия. Кроме того, в этом архиве имеется весь круг богослужебных книг с весьма значительной карандашной правкой. Эта работа рассматривалась еп. Афанасием как материал для тех, кто будет заниматься исправлением богослужебных книг. О том, какое значение придавал такого рода деятельности еп. Афанасий свидетельствует следующий фрагмент письма, адресованного ректору Московской Духовной академии архимандриту Сергию Голубцову от 27.9.1955 : "С давних пор я начал мараить мои минеи и другие богослужебные книги, исправляя старый славянский текст. Исправление богослужебных книг я считаю неопложным делом. Сейчас я особенно усиленно мараю мои книги. Кроме того я усиленно собирал и продолжаю собирать службы и последования, которые издавались отдельно или были в рукописи. И все мои запачканные книги я хотел бы отдать тоже в родную академию, - разумеется после смерти" [3].

² Более подробно об этой службе см. [1].

Исправления, касающиеся текста богослужбных книг

Такие реалии послереволюционной России как осквернение мощей, поругание святых, разрушение храмов, заставляют еп. Афанасия задуматься о некоторых изменениях в текстах служб русским святым. В одном из его писем читаем следующее: "На прошлой неделе мы справляли службы, опущенные на Страстной и Пасхе. Как было петь в стихире мученику Авраамии: "О велие дарование граду Владимиру! Аки богатство небесное принесошася в оны... мощи мученика Авраамия... комуждо... во утешение". Где сии святые мощи?... Сначала, выкинутые из раки, валялись беспризорные на одной из гробниц в придельном алтаре, потом оказались в музее, теперь, по-видимому, выкинуты и оттуда!.. Ужасно, ужасно... Правила мы службу святителю Нифонту. Можно ли спокойно петь в стихире ему: "Храмы молитвенные ко умножению славы Божия воздвигл еси, яже благолепно предукрасив, словесныя своя овцы, аки в небесную ограду собирал еси..." В каком положении многочисленные храмы, построенные им? Собираются ли словесные овцы в Софийском соборе, в котором святитель Нифонт устроил новый иконостас и расписал притворы? А теперь говорят, что у нас такая свобода, какой не было при Нифонте. Завтра память святого князя Всеволода. Совершается ли собор его во Святой Софии, получившей от него новые льготы, и в построенном им Предтеченском храме, которому он также даровал льготную грамоту..."

В минеях, принадлежащих еп. Афанасию, встречается значительное число карандашных исправлений, мотивированных соображениями такого рода. Например, в службе святителю Тихону Воронежскому (13 августа): Хва́лимъ тѣ, бл҃жѣще, вѣгомѣдре О́тче тѣхоне, любѣвию притекающе къ раце мощей твоихъ бл҃годать прѣемлемъ: прикоснове́нїемъ во влѣзни врачѣши → Хва́лимъ тѣ, бл҃жѣще, вѣгомѣдре О́тче тѣхоне, любѣвию притекающе къ тебѣ бл҃годать прѣемлемъ мо́литвамн во твои́и влѣзни врачѣши (М. вечерн. стихир.); ...Чтнѣ смѣртъ твоѣ предъ вѣмъ, чѣстенъ ѿ грѣбъ, ѿже ѡбл҃годатствованное твоѣ соде́ржитъ тѣло → ...Чтнѣ смѣртъ твоѣ предъ вѣмъ, сла́вна па́мать твоѣ (М.вечерн., стихир. на стихов.). Такого же рода исправление обнаруживаем в службе св. Антонию Римлянину, Новгородскому Чудотворцу (3 авг.): Дне́сь вели́кїи но́вѣградъ, ѿкв но́ваго авраа́ма, пресе́льника тѣ пресла́внѣ О́тче прѣемъ, ра́дѣтсѣ: бл҃женна же ѡ́битель ѿмѣщи мо́щи твоѣ въ себѣ я́влѣнъ веселитсѣ: ѿ рѣма во на ка́мени по вода́мъ пришѣлъ ѣси въ вели́кїи но́вѣградъ. тѣмъ па́мать твою́ торжествѣюще, воспѣваю́тъ вѣга, тебѣ дарова́вашагѡ стѣнѣ сѣмъ неразорѣмѣ. мы же ча́да твоѣ твои́мъ повелѣнїемъ наста́вляемн, ны́не пресла́вное твоѣ о́успїе прѣзднѣюще, мо́лимсѣ спѣстисѣ ду́шамъ на́шимъ → Дне́сь вели́кїи но́вѣградъ, ѿкв но́ваго авраа́ма, пресе́льника тѣ пресла́внѣ О́тче прѣемъ, ра́дѣтсѣ ѿ рѣма во на ка́мени по вода́мъ пришѣлъ ѣси въ вели́кїи но́вѣградъ. ѿ ны́нѣ па́мать твою́ торжествѣюще, воспѣва́емъ вѣга, тебѣ всѣ́й рѣсской землѣ дарова́вашагѡ стѣнѣ неразорѣмѣ. мы же мо́лимъ

тѣ преподабене, моли спстиса душамъ нашимъ (М. вечерн., стихир. на ГВ). Такие примеры можно умножать до бесконечности³.

Для всей деятельности еп. Афанасия характерно стремление к точному следованию литургическому преданию, причем точность следования означает, в первую очередь, верность смыслу. В состав богослужения входят тексты, написанные в разное время и в разных странах. Образы, навеянные жизнью пустынников Синая, не всегда применимы к пустынникам северной Фивиады (едва ли возможно петь о мучимых жарой подвижниках, живущих в северных лесах). Именно соотнесение текста богослужебных книг с историческими реалиями было одним из направлений работы еп. Афанасия⁴.

Так, в частности, исправляются отдельные молитвословия, подчеркивающие местный характер службы прославляемого святого. В службе Антонию Римлянину словосочетание стадо твоё последовательно заменяется на всѣхъ насъ, всѣхъ людей и т.д. То есть молитва о конкретном месте, связанном с жизнью и подвигом прославляемого святого, и о братии конкретной обители, заменяется на моление о всей Русской земле: Стадо твоё тебе почитающихъ прпне, и твоё оупеніе празднующихъ ... въ вжѣственнойю жизнь вселн → Всѣхъ насъ тебе почитающихъ прпне, и твоё оупеніе празднующихъ ... по пути къ вжѣственнойю жизни шествовати помогн (3 авг., м. вечерн., стихир. на стихов.); ...ѣйже (Богородице) молиса, молимса прпне антѣнне, не ѡставити насъ сирыхъ, ꙗкоже ѡвѣщалса еси, сцѣнное твоё стадо избавлати ѡ свѣтей вражїихъ... → ...ѣйже молиса, прпне антѣнне, не ѡставити насъ сирыхъ, любовїю чѣщихъ тѣ, но по твоёмъ предстательствѣ всегда избавлати ѡ свѣтей вражїихъ... (3 авг., м. вечерн., стихир.); Моли за ны прилѣжнв, помилувати градъ и люди, избавитиса глѣда же и трѣса... → Моли за насъ прилѣжнв, помилувати рѣсскую зѣмлю, градъ твой и людей избавити ѡ глѣда же и всѣкой скорби... (21 авг., Авраамий Смоленский, К., П. 8, с. 220)⁵.

Исправлению подвергаются и моления о властях. Как известно, с раннехристианских времен за богослужением совершались особые моления о властях (См. 1 Тим. 2. 1-2). Естественно, вслед за политическими переменами менялись и тексты таких молитвословий. После революции тексты молений о властях неоднократно менялись [4. С. 72—74]. Варианты, предлагаемые еп. Афанасием, разнообразны и часто контекстуально обусловлены⁶. Так, в службах митрополиту Петру Московскому (24 авг.) и

³ Следует отметить, что упоминания о мощах снимается и в некоторых службах греческим святым. Не исключено, что после массового осквернения мощей еп. Афанасий старался свести к минимуму упоминания о них, так как тема была слишком болезненной.

⁴ Любопытно, что такие серьезные исправления текста делаются человеком, который сам себя называл "уставщиком и буквалистом". Устав для еп. Афанасия был нормой церковной жизни, которая не может быть нарушена.

⁵ Характерна замена трѣсъ → всѣмал скорьв, ведь для Центральной России землетрясение — явление не частое.

⁶ В работе над минеями еп. Афанасий несколько отступает от решений, предложенных Комиссией по исправлению богослужебных книг в 1917 г., Комиссией, образованной Поместным собором 1918 г. (иеромонах Афанасий входил в эту комиссию), и от указа Синода 1933г.

Тихону Воронежскому (13 авг.) многолетие ...бл҃гочестнѣишемъ императорѣ нашемъ меняется на многолетие архіереемъ нашимъ. Тропарь Св. Кресту у еп. Афанасия выглядит следующим образом: *Ѹпсѣ гдѣ люді твоѣ, ѣ бл҃гословї достоѣніе твоє, побѣды бл҃говѣрномъ императорѣ нашемъ ніколаю александровичѣ, на сопротивныѣ дѣрѣѣ, ѣ твоє сохранѣѣ крѣтомъ твоимъ жительство* → ...побѣды православному хрїстіанамъ на сопротивныѣ дѣрѣѣ...

На полях минеи имеется достаточно большое количество уставных замечаний и отсылок к житиям, сюжеты которых обыгрываются в песнопениях. В тех случаях, когда оригиналы переводных текстов были построены на обыгрывании личных имен, на полях дается этимология имени или перевод. Наконец, довольно часто еп. Афанасий раскрывает акrostихи (краегранесия), приводя их в начале текста. Так в Каноне Петру Московскому (24 авг.) красным карандашом подчеркнуты начальные слова или буквы, в результате чего возникает следующий текст:

Повелѣніемъ / Бл҃гочестнѣагѣ / Великагѣ князѣ / Іѣѣнна / Всѣѣ руссїн / Бл҃гословенїемъ / Ф / И / Л / И / Па / Митрополїта / Всѣѣ руссїн / Бл҃годѣрное сіѣ пѣніѣ / Принесѣѣ / Рѣкъ / Многогрѣшнагѣ / Пахѣміѣ / Ѹ / Ѹ / Р / Б / И / На /

Поскольку правленные минеи не являются окончательным текстом, подготовленным к печати, трудно сказать, какие из внесенных еп. Афанасием исправлений и дополнений мыслились окончательными, а какие являлись лишь записями для памяти. Однако общие принципы вырисовываются достаточно отчетливо: это указание на реалии, скрытые от недостаточно подготовленного читателя, и внесение корректив, соотносящих древний текст с обстоятельствами российской жизни конца пятидесятих годов XX века.

К работам по исправлению богослужебных книг примыкает работа по составлению богослужебных последований и молитв, диктуемых особенностями современной жизни. Характерен в этом отношении составленный еп. Афанасием в конце пятидесятих годов чин "О хотящих по воздуху путешествовати". Еп. Афанасий предавал очень большое значение такого рода новым молитвословиям, считая их распространение способом воцерковления повседневной жизни. Любопытно, что в вышедшем в 1961 г. в Джорданвилле (США) Требнике имеется чин освящения самолета и автомобиля [5, с. 27]⁷.

Исправления, касающиеся языка богослужебных книг

⁷ Необходимость создания таких текстов ощущалась как на Востоке, так и на Западе. Любопытной параллелью этих работ можно считать осуществленный Вяч. Ив. Ивановым перевод с латыни на церковнославянский молитвы на освещение новой типографии. Рукопись *Молитвы, глаголемой при благословенїи печати*, хранится в римском архиве Вяч. Иванова. Пользуясь случаем, мы благодарим Д. В. Иванова, давшего нам возможность познакомиться с осуществленными Вяч. Ивановым переводами богослужебных текстов с латинского на церковнославянский.

Как известно, наиболее серьезным опытом исправления богослужебных книг, является работа Комиссии, возглавляемой архиепископом Сергием (Страгородским), которая существовала при Синоде с 1907 по 1918 гг. В результате деятельности этой Комиссии были изданы исправленные Постная (1912) и Цветная (1914) триоды⁸ [7;8]. По ряду причин выход новоисправленных триодов прошел незамеченным. Работа Комиссии не была понята. Тем более важным и значительным кажется внимание еп. Афанасия к этим книгам. В письме, написанном вскоре после освобождения из лагеря (в это время восстанавливается частично уничтоженная библиотека) еп. Афанасий, получивший экземпляр Цветной триоди сергиевской редакции, пишет дарителю, что хотя у него и есть два экземпляра Цветной триоди, но присланная *"издания 14 года, исправленная, которую я, следуя примеру гостопомятного + владыки Николая,⁹ предпочитаю употреблять. Исправление церковных книг - неотложное дело. Надо не только то, чтобы православные умилялись хотя бы и непонятным словам молитвословий. Надо, чтобы и ум не оставался без плода. Пойте Богу нашему, пойте разумно. Помолюся духом, помолюся и умом. И я думаю, что и в настоящей церковной разрухе в значительной доле повинны мы тем, что не приближали наше гивное богослужение, наши чудные песнопения к уму русского народа..."*

Исправление богослужебных книг еп. Афанасий рассматривал как прямое продолжение работ Сергиевской комиссии. Так, например, в предисловии к составленным им дополнительным минеям, содержащим службы русским святым, не вошедшие в стандартные минеи, читаем следующее: *"Песнопения, употребляющиеся и в период пения Триодей постной и цветной, как например, ирмосы некоторых канонов, богородичны и др. здесь даются в редакции исправленной по благословению Святейшего Синода, в каковой они помещены в изданных по благословению того же Синода Триоди Постной 1912 года и Триоди Цветной 1913 года, и каковая редакция теперь является единственно узаконенной и потому обязательной для всех храмов Русского Патриархата"* [9]. Характерно, что анализируя составленный митрополитом Мануилом (Лемешевским) Чин архиерейского отпевания.¹⁰, еп. Афанасий в качестве серьезного недостатка новосоставленного чина, указывает на то, что этот чин опирается на предшествующую версию триодного текста. В своем отзыве еп. Афанасий, дав очерк истории отношения высшей церковной власти к исправлению богослужебных книг, пишет следующее: *"Касаясь рассматриваемого нового богослужебного чина архиерейского отпевания, я полагаю, что в нем текст ирмосов канона Великой Субботы должен быть ган в новой редакции за послушание Высшему Чиноположителю Русской Церкви - Святейшему Синоду, который своим благословением узаконил употребление нового исправленного текста песнопений Триодиона"* [11].

⁸ Подробнее о работе этой Комиссии см. [6& С.100–116]

⁹ Митрополит Алмаатинский и Казахстанский Николай (Могилевский)

¹⁰ Этот чин рассматривался Календарно – Богослужебной комиссией в феврале 1957г., после чего, по свидетельству митрополита Иоанна (Снычева), был передан на рассмотрение "одного из членов этой Комиссии" [10, С. 247]. В 1967 г. этот чин был утвержден "к частному употреблению по желанию епископов" [10, С. 285].

Поскольку работа еп. Афанасия по исправлению богослужебных книг находится в непосредственной связи с работой Сергиевской комиссии, будет любопытно проследить, как соотносятся принципы исправления церковнославянского текста, выработанные членами Комиссии и еп. Афанасием. Довольно удобно это сделать, сравнив результаты исправлений, сделанные еп. Афанасием в минейном тексте и в тексте Постной Триоди сергиевской редакции. Прежде всего в глаза бросаются количественные отличия: на одну страницу минейного текста приходится в 2 – 3 раза больше исправлений, чем на одну страницу уже исправленного текста Сергиевской Триоди.

Языковые исправления, внесенные еп. Афанасием в минейный текст, касаются трех уровней языка: лексики, синтаксиса и морфологии. И если в сфере лексики и синтаксиса направления работ Сергиевской комиссии и еп. Афанасия совпадают, то исправление ряда флексий в склонении (см. ниже) характеризует только работу еп. Афанасия и не поддерживается аналогичными примерами в Триоди 1912–1914 гг. Исправления, внесенные еп. Афанасием в Сергиевскую Триодь, отличаются не только количественно, но и качественно: по большей части они связаны с исправлением флексий в склонении существительных, прилагательных и местоимений.¹¹ Объем исправлений, касающихся лексики и синтаксиса, в Триоди незначителен: работа, проделанная Сергиевскими справщиками по прояснению смысла славянского текста в целом удовлетворяла еп. Афанасия

Рассмотрим примеры исправлений, внесенных еп. Афанасием в текст Минеи и Постной триоди.

Лексика. Идея лексической правки – сближение словарного состава церковнославянского и русского языков (т.е. слова, отсутствующие или имеющие иное значение в русском языке, в славянском тексте заменяются синонимами): да радѣтсѧ твѧрь ѿ играетъ → да радѣтсѧ твѧрь ѿ веселѣтсѧ (1 авг., веч., стихир. на Г.В.), ѿво вранѧщее средоградѣе крѣтомъ разорѣно → ѿво заграждавшѧ входъ преграда крѣтомъ разорѣна (1 авг., веч., стихир. на Г.В.), тѣмже ѿ смѣртѣю живѣтъ ѿскѣпльше воистинѣ нѣмный → тѣмже ѿ смѣртѣю жѣзнь кѣпѣше воистинѣ нѣмнѣю (1 авг. утр., К. сег. после п.3)¹², мѣръ ѿ лѣсти свождѧетсѧ → мѣръ ѿ ѿвольцѣнѣлѧ свождѧетсѧ (1 авг., веч., стихир. на стихов. окт.)¹³, пресѣанное солнце → гѣсное солнце (1 авг. утр., К., п.5), хотѣнѣемъ своимъ пригвожденна на крѣтъ → по своѣй волѣ

¹¹ Исправление церковнославянских текстов членами Сергиевской комиссии затрагивало лишь те особенности языка, которые невозможно воспроизвести в учебнике грамматики, т.е. исправления касаются не формализуемых сторон языка. Вся грамматика (то, что включается в стандартный учебник церковнославянского языка), не только флексии существительных и глаголов, но и такие сложные для понимания конструкции как двойной винительный и дательный самостоятельный, остается без изменения.

¹² Жѣзнь вместо живѣтъ – регулярная замена в Сергиевской Триоди (ср. но воспѣй, прослѧви, живѣтъ ѿ животы, дѣше, всѣхъ вѣга → но ты, дѣше, воспѣй, прослѧви жѣзнь ѿ жѣзни, всѣхъ вѣга (ПТ, пн. 1 нед. В.П., повечер., В.К., п.7).

¹³ Ср. в исправленном Сергиевском тексте гѣзыки всѧ ѿ прѣлѣстнѧ собравъ → гѣзыки всѧ ѿ прѣлѣстнѧ собравъ (ЦТ, 3 нед. по Пасх., утр., К., п.3 ин., тр.1).

пригвождѣнна на крѣтъ (1 авг. утр., К., п.5, богор.), бл̑гоу̀тробѣнь → бл̑госѣрдъ (1 авг. утр., К., п.5 ин.)¹⁴; снѣтїе → сѡждѣнїе (1 авг. утр., К., п.8).

Незначительная по объему лексическая правка в Триоди как бы завершает работу, "недоделанную" членами Сергиевской комиссии, в результате которой церковнославянский текст становится понятным без обращения к словарю: слово смнрѣвшееся даже и до зрака рабѣа → ... и до ѡбраза раба (ПТ, нег. мыт. и фар., утр., К., п.4), богатство душевное иждивѣ → богатство душевное расточивѣ (ПТ, чт. 1 нег. В.П., В.К., п.1), развѣ тебе игоу не знаѣмъ → кромѣ тебе игоу не знаѣмъ (ПТ, пт. 1 нег. В.П., утр., 6 ч. тр.)¹⁵, ѡкъ вѣа рѡждшей ... паче естества и оу́жаснѡ → ѡкъ вѣа рѡждшей ... паче естества и дивнѡ (ПТ, сб. 1 нег. В.П., утр., К. п.1, ин., богор.), всенепорѡчнаа же мѣти твоа оу̀тровою оу̀мзвлѣшеса → ...сѣрдцемъ оу̀мзвлѣшеса (ПТ, вт. 5 нег. В.П., веч., крестобогор.).

Морфология. Еп. Афанасий последовательно исправляет следующие формы:

Местоимения:

– энклитические местоимения Д. ег. ми, ти заменяются формами мнѣ, тебѣ (ПТ, пн. 1 нег. В.П., повечер., В.К., п.9, тр. 2, 4, 6; вт. 1 нег. В.П. утр., сег.; 1 авг., утр., К., сег. после п.3), при этом местоимения В. ег. ма, та сохраняются (хотя иногда могут исправляться: не презри ма → не презри мене (ПТ, пн. 2 нег. В.П., утр., богор.). Формы ны, вы заменяется на формы насъ, васъ: спсѣ всѣ ны → спсѣ всѣхъ насъ (ПТ, ср. 1 нег. В.П., утр., Т., п.9 ин., троич.), молимъ вы → молимъ васъ (ПТ, ср. 1 нег. В.П., веч., стихир. на Г.В.);

– исправляются формы И., В. мн. местоимения всѣ: всѣ празднолю́бцы → всѣ празднолю́бцы (ПТ, сб. 1 нег. В.П. утр., стихир. на хвал.), восхвалѣмъ пррѡки всѣ вѣѣа всечтѣныа → ...пррѡквѣ всѣхъ вѣѣихъ всечтѣныхъ (ПТ, вс. 1 нег. В.П., повечер., К., п.9, тр.1), всѣ ѡзарѣтъ землѣ концы → ѡзарѣтъ всѣ концы землѣ (1 авг., утр., К., п.5).

Существительные в единственном числе:

– формы Д. ег. на -ови (-еви) исправляются на: -ѡ: гдѣви → гдѡ (ПТ, вт. 1 нег. В.П., утр., Т., п.2 ин., тр.1, п.8 ин., тр.1), петрѡви → петрѡ (ПТ, ср. 5 нег. В.П., веч., ст. "х"), мѡрови → мѡрѡ (нег. ваий, вс. веч., Т., п.8, богор.; 1 авг., утр., К., п.4, богор.);

– окончания мягкого варианта склонения исправляются по модели русского языка: на землѣ → на землѣ (ПТ, вт. 1 нег. В.П., повечер., В.К., п.7, богор.);

¹⁴ Бл̑госѣрдъ вместо бл̑гоу̀тробѣнь – регулярная замена в Сергиевском тексте, напр. долги наша ѡслави и ѡстави, ѡкъ единъ бл̑гоу̀тробѣнь → ѡслави и ѡстави долги наша, ѡкъ единъ бл̑госѣрдъ (ЦТ, вт. 1 нег. В.П., утр., Т., п.2, ин.).

¹⁵ Члены Сергиевской комиссии не вносили исправления в часто исполняемые и всем хорошо знакомые песнопения, поэтому замена развѣ на кромѣ в этом контексте для них была невозможна.

—меняются формы со свистящими на месте заднебных: въ стрѣѣ
→ въ стрѣхѣ (нег. ваий., вс. веч., стихир. на стихов.), запечатаннѣй книзѣ -
запечатанной книгѣ (сб. 1 нег.В.П., утр., К.,п.8, богор.).

Существительные во множественном числе:

—в Р.мн. нулевое окончание меняется на окончание -въ (-евъ):
ѣгъль → ѣгъльвъ (ПТ, вт. 1 нег. В.П., утр., Т., п.9, тр.2), стремленіе всѣхъ
ѣзѣкъ → ... ѣзѣкъвъ (ПТ, нег.ваий, утр., К., п.8, тр.1), ликъ страдалецъ →
ликъ страдалцевъ (1 авг. утр., К., п.1 ин.);

—по аналогии с русским языком в Д., Т., П. мн. существительные,
относящиеся к разным типам склонения, приобретают в окончании гласные
-а/-я): праведникъмъ → праведникамъ (нег, ваий, вс. веч., Т., п.9, тр.1),
духовными крилы → духовными крилами (ПТ, ср. 1 нег ВП., утр., стихир. на
стихов.), съ лики ѣгъльскими → съ ликами ѣгъльскими (1 авг., веч., стихир.
на Г.В.), на херувимѣхъ носимый → на херувимахъ... (нег. ваий., вс. веч.,
стихир. на Г.В.), житѣйскимъ сластѣмъ → житѣйскимъ сластѣмъ (В.лн. утр.,
стихир. на хвал.), въ храмѣхъ ѿ градѣхъ → въ храмахъ ѿ градахъ (1 авг.,
утр., К., п.6);

—для одушевленных существительных окончания В. мн.
исправляются по образцу Р. мн. (соответственно исправляется и форма
согласованного прилагательного): спсѣи во ѿгнѣ авраамскѣ твоѣ ѿтроки ѿ
халдеи оубивѣи → спсѣи во ѿгнѣ авраамскихъ твоихъ ѿтрокъвъ ѿ халдеевъ
оубивѣи (ПТ. нег. ваий, утр., К., п.7, пр.), прѣоки не прѣала еси сна
возвѣстѣвшыя → прѣокъвъ не прѣала еси сна возвѣстѣвшихъ (нег. ваий., вс.
веч., стихир. на стихов.).

Прилагательные:

—у прил. ж.р. окончание Д.ег. -ѣй правится на -ой: трѣѣ
нераздѣльнѣй → трѣѣ нераздѣльной (ПТ, вт 1 нег. В.П., повечер., В.К., п.9,
троич.), запечатаннѣй книзѣ → запечатанной книгѣ (ПТ, сб., 1 нег. В.П.,
утр., К., п.8, богор.);

—в суффиксах прил. -ст- меняется на -ск- или -ов-: ѣгъльстѣе совѣри
→ ѣгъльскѣе совѣры (ПТ, ср. 2 нег. В.П., утр., Т., п.9 ин., тр. 2), къ горѣ
ѣлеѣнстѣѣи → къ горѣ ѣлеѣнской (ПТ, В.лн., веч., повечер., Т., п.2, тр.1),
авраамстѣи вѣдѣцы → авраамовы вѣдки (1 авг., веч. стихир. на стихов. окт.).

Причастия: Меняется суффикс и восстанавливается и-суффиксальное
у причастных форм, образованных от глаголов с основой на -н-: разѣршихъ
→ разѣрѣвшихъ (1 авг. утр., К., п.5), посрамльше → посрамѣше (1 авг., утр.,
К., п.6), ѡвновль → ѡвновѣвый (1 авг., утр., К., п.7, богор.).

Синтаксис. На уровне синтаксиса исправляется порядок слов,
предложно-падежные формы при глагольном управлении, упрощаются
некоторые специфические славянские конструкции, ликвидируется
местоимение **ѣже** в функции артикля. Такого же рода исправления были
внесены в текст Троицы членами Сергиевской комиссии

Изменения порядка слов: *Орѣжіе дрѣвле, жи́зни бл̄женное дрѣво дарова́са храни́ти, за преслу́шаніе первозда́ннагѡ а́дама* → *за преслу́шаніе первозда́ннагѡ а́дама дрѣвле, Орѣжіе приста́влено бы́ло ѡхрана́ти бл̄женное дрѣво жи́зни* (1 авг., утр., К., п.3); *оупра́ви насъ къ приста́нницѡ всѣхъ спсе́нїа, пою́щихъ тѣ* → *оупра́ви къ приста́нницѡ спсе́нїа всѣхъ насъ, пою́щихъ тѣ* (1 авг., утр., К., п.3); *всѣ ѡзарѣтъ земли́ концы́ - ѡзарѣтъ всѣ концы́ земли́* (1 авг., утр., К., п.5); *мѹчїтеле́ оуѡѡца́ вопїти - оуѡѡца́ мѹчїтеле́ вопїти* (1 авг., утр., К., п.7, ир.). В Триоди также находим примеры исправления порядка слов, однако их не так много: *ча́сти сподо́би мѣггаревы́* → *ча́сти мѣггаревы́ сподо́би* (ПТ, нег. мыт. и фар., утр., К., п.3), *мѣггарьъ вкѹпѣ ѿ фарїсе́й течѣста* → *мѣггарь ѿ фарїсе́й вкѹпѣ течѣста* (ПТ, нег. мыт. и фар., утр., К., п.6), *къ первообра́зномѹ возно́ситъ, глаго́летъ васїлі́й, почита́нїе ікѡны* → *къ первообра́зномѹ возно́ситъ почита́нїе ікѡны, глаго́летъ васїлі́й* (ПТ, вс. 1 нег. В.П., сб. веч., м.вечерн., ст.).

Исправление предложно-падежных форм при глагольном управлении: *пѣсносло́вїемъ тѣ, крѣте, вѣрою мола́щїисѧ сілѣ тво́ей* → ... *съ вѣрою мола́щїисѧ ...* (1 авг., утр., К., п.3), *їзми́ насъ свѣтѣй вра́жїихъ* → *їзми́ насъ ѡ свѣтѣй вра́жїихъ* (1 авг., утр., К., п.3), *закѡнъ бл̄женнїи написа́вше, ѡкоже дрѣвле мѡѡсе́й, во сво́ихъ скрижа́лехъ помы́сла* → ... *на скрижа́лехъ своегѡ се́рдца* (1 авг., утр., К., п.4 ил.), *житїе́ проно́дста фарїсе́й довроде́тельнїи* → ... *въ довроде́телехъ* (ПТ, нег. мыт. и фар., утр., К., п.6).

Местоимение ѿже в функции артикля. Еп. Афанасием точно так же, как и членами Сергиевской комиссии, последовательно вычеркиваются формы местоимения *ѿже*, являющиеся переводом греческого артикля: *сла́вѹ презрѣ́вше ѡже на земли́* → *сла́вѹ презрѣ́вше земнѹю* (1 авг., утр., К., п.1 ил.), *оу́мерцвѣлетсѧ э́мїи лѹка́выи ны́нѣ, ѿже тьмы́ нача́льнїкъ* → *оу́мерцвѣлетсѧ ны́нѣ э́мїи лѹка́выи, тьмы́ нача́льнїкъ* (1 авг., утр., К., п.5), *чтѡ сіе́ ѣже ѡ насъ бы́сть та́инство* → *чтѡ сіе́ ѡ насъ...* (ПТ, сб. мясоп., ил. В., стихир. на Г.В.), *ѿже во оу́тробѹ дѣвѧ вселѣ́выисѧ, ѿ тоа́ ра́ди а́дама ѡбновѣ́, бл̄гослове́нъ бг̄ Ѧте́цъ на́шихъ* → *во оу́тробѹ дѣвѧ вселѣ́выисѧ...* (1 авг. утр., К., п.7, богор.)

Ликвидируется двойной винительный: *совоку́плены показа́ расточе́ныѧ* → *воеди́но собра́ разделѣ́ннѹхъ* (1 авг., веч., стихир. на Г.В.). Одиночное отрицание заменяется двойным: *ни Ѧгнь, ни мѣчь превратїти когда́ возмо́же, до́власть нра́ва бл̄женнїи ва́шѹ,* → *ни Ѧгнь, ни мѣчь не возмо́гоша превратїти до́властной ре́вности ва́шей* (1 авг. утр., К., п.3 ил.).

Подводя итог, можно сказать, что еп. Афанасий оказался как бы связующим звеном между началом XX века и нашим временем. Многочисленные ссылки на неопубликованные и в то время недоступные документы Поместного Собора и отчетливое осознание места Сергиевской триоди в истории исправления богослужебных книг обеспечивало некоторую преемственность в деле книжной sprawy. В письмах и статьях еп. Афанасий четко формулирует свою позицию, восстанавливая эту

преемственность. В этом отношении весьма характерны строки из письма от 12 февраля 1958 г., адресованного Исаие, епископу Углическому: *"Высшая Церковная власть - Святейший Правительствующий Синод не только преподал свое благословение на начало трудов по исправлению богослужебных книг, но и узаконил уже сделанные исправления, благословив напечатать в Синодальной типографии исправленные Триодион и Пентикостарион и ввести их в употребление. А Священный Собор 1917-1918 г., признавая дело исправления богослужебных книг действительно необходимым, высказал пожелание, чтобы учрежденная с этой целью при Святейшем Синоде временная комиссия была преобразована в постоянное учреждение, что и осуществлено Святейшим патриархом Алексием, который резолюцией от 6 ноября 1956 г. учредил при Священном Синоде Богослужебно-календарную Комиссию¹⁶".* Таким образом, вновь создаваемые учреждения и новые издания оказывались связанными с идеями предреволюционной эпохи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Епископ Афанасий (Сахаров)*. О празднике всех святых в земле Русской просиявших и о службе на сей праздник // Ученые записки Российского Православного Университета ап. Иоанна Богослова. М., 1995. Вып. 1.
2. ГАРФ, ф. 3431 № 174, л. 234–236.
3. Архив еп. Афанасия. Оп. 3. II № 11.
4. *А.Г.Кравецкий*. Проблема богослужебного языка на Соборе 1917–1918 годов и в последующие десятилетия // Журнал Московской патриархии № 2. 1994.
5. A.Naumow. О nowszej literaturze cerkiewnoslowianskiej // Studia porownawcze z literaturze slowianskich Prace Komisji Slowianoznawstwa 49, 1992.
6. *Плетнева А.А.* Исправление богослужебных книг в начале XX века // Славяноведение. 1994 № 2. С. 100–116.
7. Триодион, сиесть трипеснец. М., 1912.
8. Пентикостарион. М., 1913.
- 9 Русская дополнительная минея. Сентябрь. дни 1–12. 1960. Л. 3–4. Архив епископа Афанасия (Сахарова). Оп. 1.2 (II), № 35.
10. *Иоанн (Снычев), митрополит*. Митрополит Мануил (Лемешевский). Биографический очерк. СПб., 1993 г.
11. *Епископ Афанасий*. Некоторые замечания по поводу последней третьей редакции составленного преосвященным Мануилом "Чина архиерейского отпевания". 1958.02.01. Машинопись. 14 л. Архив еп. Афанасия. оп. 1.2 (VII) № 96

Авторы благодарят прот. Андрея Тетерина (г. Петушки), без помощи которого эта статья не была бы написана.

¹⁶. Работы Календарно–Богослужебной комиссии должны стать предметом специальной работы и выходят за пределы настоящей статьи.



ВОКАЛИЗМ КАРПАТОУКРАИНСКИХ ГОВОРОВ

2. Закарпатский ареал¹

В настоящем выпуске продолжается публикация ответов на вопросы Краткой фонетической программы (гласные — вопр. 1—10а). Ниже приводится сделанная автором статьи дешифровка магнитофонных записей закарпатских диалектов: ужанского говора с. Новоселица Перечинского р-на (инф. О. М. Калинин, 1926 г. р., зап. А. И. Рыко и Ю. В. Стрельниковой, 1995 г.); боржавских говоров с. Брод (анонимный инф., запись А. В. Тер-Аванесовой и Ю. К. Даниловой, 1988 г.) и с. Чёрный Пóток Иршавского р-на (инф. О. Д. Пацкán, 1924 г. р., запись М. Н. Толстой, 1993 г.); мараморошского говора с. Борóнява (Бороняво) Хустского р-на (инф. М. Дубовец, 1930 г. р.; запись Ю. К. Даниловой и К. Л. Киселевой, 1989 г.)².

В Приложении продолжается публикация акцентологических и морфологических материалов по существительным с *ā*-основами.

1. Рефлексы праслав. *е и *ь

Новоселица: *veséłoj, beréza, svékor, klén, lén, orél, lét, mét, gen. zérna, zamérs, č'itvérttoj, pés, ovés, p'ópił', věč'ur, děwjať, nébo, zémł'a, pud zemł'ów, na zemłi, rešet'ó, sérce, s'ónce, loc. na s'ón'c'ц, mež'já, loc. na mež'í, instr. za mež'ów, gen. dо mež'í, děln', v'ítor, mertvój, č'ěšę s'a, č'ěšuf, témnoj, zatémn'ilo s'a, témno s'a 'темно', natér, puttér, stérti, konělc', na kuncí, bes kun'c'já, téren, neutr. solénoj, na beréz'zi, na klén'í / na klénovi, řaškij, žúwttoj, puš'ół, pušlá, peč'énoj, m'iš'ók, nož'óm, bez nožá, z duš'ów, iz vүw'ów, dušá, č'órnnoj, č'or'n'ije, č'ěł's'ť, č'ěsnnoj, š'ěł's'ť, š'ésttoj, š'ésta, želýdok, ž'ółof, č'olov'ik, p'íra, č'ěrkow, sel'ó, za selóm, trí s'ela, pját' sil, p'óle, acc. na p'óle, loc. na p'ól'u, gen.*

Николаев Сергей Львович — д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН. Оригинал-макет рубрики готовит М. Н. Толстая.

¹ Предыдущие публикации см. № 3, 5, 1995. О знаках фонетической транскрипции см. № 3, 1995.

² См. Хронику в [1]. Дополнение к Хронике: в июле—августе 1995 г. при поддержке Российского гуманитарного научного фонда состоялась экспедиция в Закарпатскую обл. Украины в составе: С. Л. Николаев (руководитель), О. А. Абраменко, А. С. Касьян (РГГУ), Ф. Р. Минлос (РГГУ), А. С. Николаев (МГУ), А. И. Рыко, Ю. В. Стрельникова, М. Н. Толстая, Д. Р. Юсупова (МГУ). Группа работала в с. Новоселица Перечинского, Нижний Быстрый Хустского и Синевир Межгорского р-на (исследование с. Синевир проводится при содействии Международного Научного Фонда). Был собран материал по большинству лингвистических программ и по отдельным вопросам этнологической программы ПЭЛА. А. И. Рыко и Ю. В. Стрельникова посетили с. Русская Мокрая Тячевского р-на, где дополнительно записали на магнитофон диалектные тексты, и с. Синевирская Поляна Межгорского р-на, где был записан материал по Фонетической программе (гласные).

pl. *sím p^uól*, *velá, nésla, velí, néslí, vedý, nesý, vedé, nesé, vedeté, neseté, m^uóre*, acc. na *m^uóre*, loc. na *m^uór'u*, s *kun'c^uóm*, z *moloc'c^uóm*, v'íněc', *wdověc'*, *xribét, téš's't', pén'*, *nijé p'n'ká, léxkij, čerěš'n'a, n'imec', bérex, bérest*, gen. *béresta, č'eredá 'очередь', séreda, žereběc'*, *peč'í, vjút, velá, pjúk, vjús, t'útka, téploj, p^uós't'il'*, comp. *tepl'íšše, déwjať, dės'at', dé, sím, sémdoj, daléko, telíc'a, télit' s'a, metý, péro, bes péra, do žonóp, instr. iz žon^uów, pl. žónoq, gen. bež žún, žel'izo/žel'izo, č'ol^uó*, gen. pl. *rebér, zil'a, 3 pl. i'č'ěát, w teplot'í, zelénocj, zelen'ije, metélic'a*.

Брод: *vesélocj, beréza, l^uón, orél, l'úd, mn'úd, zérno, zamérs, č'itvértocj, pés, ovés, věč'úr, p^uópil, déwjať, nébo, ziml'a, zeml'^uów, na zemlí, rešet^uó, na rešit'í, rešetóm, rebruó, rébra, us'í, ušítko, sérce, na sérc'u, sónce, na són'c'u, mežá, instr. za mežew, loc. u meží, dén', v'íteť, xrést, bes xrésta, na xrés't'í, put xréstom, s xrestámí, mertvóč, čěší s'a, čěše, témnocj, 3 sg. zmír'kať s'a, natér, kóníc', na kün'cí, téren, jžž^uó 'ěж', gen. jžžá, dat. jžžú, gen. pl. jžžúw, solénocj, na beréz'í, ž^uówtocj, p'üš^uów, p'üšlá, pič'énocj, nož^uóm, bez nožá, z duš^uów, z v'üč^uów, č'órnocj, čorn'ije, čěs't', čěsnocj, šis't', šéstocj, šěsta, žulú^udok, čuluv'ík, píř'a, cěr'kow, selýó, selóm, tri séla, p^uóle, u p^uól'u, velá, neslá, velí, neslí, vedú^u, nésu, vedé, nesé, vedeté, neseté, m^uóre, acc. na *m^uóre*, loc. na *m^uór'u*, z v'üč^uó^um, s kün'c^uó^um, v'ínók, pén', pn'á, léxkocj, č'irěš'n'a, č'eredá 'Bidens', seredá, pič', inf. pečí, gen. s péči, loc. na pečí, v'úw, velá, p'úk, v'ús, t'útka, téploj, déwjať, dės'at', dé, s'ím, sémocj, daléko, tilíc'a, 3 sg. télit' s'a, métu, píř'a, perýó, bes perá, s peró^um, na perýóvi, sídlyó, w sídl'í, kúórin', gen. kúórin'a, kámin', gen. kámin'a, jásin', žoná, bež žonóó, ud žon'í, iz žonýów, pl. žónocj, gen. bež žún, žel'izo, teplýó, u tipl'í, zelénocj.*

Ч. Поток: *l^uón, orél, l'út, mét, zérno, zamérs, č'etvértocj, pés, ovés, p^uópil, věč'úr, děwjať, nébo, zeml'a, pud zeml'iw, na zemlí, rešet^uó, na rešet'í, rešetó^um, róbryó, rébra, ps'í, pšítko, sérce, loc. na sérci, syónce, loc. na syónci, mežá, na meží, za mežíw, dín', xrést, bes xrésta, na xrés't'í, put xréstom, s xrestámí, mertvóč, s'a č'ěše, č'ěšut', témno, part. s'a stímn'ilo, kóněc', na kün'cí, bes kün'c'á, téren, dérnó, izž^uó 'ěж', gen. izžá, dat. izžóvi, solénocj, na beréz'í, t'aškóč, žyóltocj, p'üš^uól, p'üšlá, peč'énocj, m'išýók, nož^uóm, bez nožá, iz dušýów, iz v'üč^uów, ģor'áčo, č'ýórnocj, č'orn'ije s'a, č'ěs't', č'ěsnocj, š'is't', šéstocj, šěsta, žolú^udok, č'olov'ík, píř'a, cěr'kow, selýó, za selóm, tri séla, pját' síl, p^uóle, acc. na *p^uóle*, loc. na *p^uól'u*, velá, *nésla, velí, néslí, vedú^u, nesú^u, vedé, nesé, vedeté, neseté, m^uóre*, acc. na *m^uóre*, loc. na *m^uór'u*, iz v'üč^uó^um, udověc', x^ué^ubét, péh'n', pn'á, léxkocj, lékšocj, čerěš'n'a, n'imec', bérex, č'éreda 'стадо коров', seredá, pič', inf. pečí, gen. is péči, loc. na peč'í, gen. pl. péč', v'úw, velá, p'úk, v'ús, t'útka, téploj, p^uós't'il'í, děwjať, dės'at', dé, s'ím, sémocj, daléko, telíč'ka, s'a télití, metú^u, perýó, bes perá, is peró^um, na per'í, s'idlyó, ud žon'í, iz žonýów, žýónoó, bež žún, žel'izo, č'olýó, róbér, zíl'a, teplýó, loc. u téplim, zelénocj, zelen'ije, meš'íl'.*

Боронья: *beréza, klén, orél, léd, méd, zernó, zméřz, četvértocj, pés, ovés, p^uópil, věčur, děwjať, nébo, žemn'á, pud žemn'ýów, na zemlí, rešet^uó, na rešet'í, rešetóm, ščēn'á, rebruó, pl. rébra, ws'í, sérce, loc. na sérc'u, sónce, loc. na sónci, mežá, loc. na meží, instr. za mež^uów, dén', víter, xrést, bes xrestá, na xrés't'í, put xrestóm, s xrestámí, mertvóč, čěše s'a, čěšut s'a, adv. témno, temn'ije, natér, puttér, wóter, térti, kóněc', na kuncí, bes kun'c'á, tér 'терновник', dernó, solénocj, na beréz'í, na klén'i, n. t'ašké, žyóltocj, puš^uól, pušlá, peč'énocj, nož^uóm, bez nožá, z duš^uów, z vuc^uów, ģor'áčo, č'órnocj, čorn'ije, čěsnocj, šis't', šéstocj, šěsta, žolú^udok, č'olov'ík, píř'a, cěr'kow, selýó, za selóm, tri séla, p^uóle, acc. na *p^uóle*, loc. na *p^uól'i*, poveylá 'повела', poneslá, poveylí, neslí, ja povédu, ja nésu, un vedé, un nesé, vedeté, neseté, m^uóre, loc. na *m^uór'u*, z vuc^uó^um, s kun'c^uóm, vinók, odověc', kozél, x^ué^ubét, péh'n', pn'á, léxkocj, lékše, čerěš'n'a, n'imec', béreš, seredá, pič, pečí, gen. péči,*

loc. na pečí, un viúh, poveylá, piúk, viúz, t'útka, téplooj, déwjať, dés'at, dé, sim, sétwoj, daléko, telíc'a, métu, peruó, bes perá, s peróm, na per'í, sidluó, d žon'í, iz žonuów, žónoo, bez žún, žel'izo, žoluó, rebér, tepluó, zeléncoj, želen'íie, puós'c'il.

2. Рефлексы *ĕ

Новоселица: x'íp, l'ís, w l'ís'i, gen. l'ísa, m'ísto, gen. m'ísta, pl. m'ístá, d'ílo, síno, u s'ín'i, b'ílooj, sp'íváti, k'ól'ino, na k'ól'in'i, v'ítor, t'ílo, u t'íli, zav'ísiti, zav'íšu, zav'ís'at', sp'ívaŋka, m'ís'ac', m'ílá, v'íné'c', gen. v'ín'c'éá, dat. d v'ín'c'óvi, m'ít', j'ísti, ja j'ím, too j'íš, v'vn j'ís', moo j'ímé, voo j'ísté, oní j'id'át', ja tu jém, too tu jés', v'vn tú je, moo tú jz'me, oní súť, pl. t. c'ípoo, j'íli, yr'ix, yr'ixá, yr'ixí, gen. pl. yr'ixú, r'íká, r'íc'ka, na r'ic'í, gen. r'íkí, pl. r'íkí, d'íliti, yr'íšít', yr'íšát', yr'íšíéti, p'ísók, bes p'íská, u p'iskuóvi, na stol'í, na koní, po v'ód'í, na zémli, na ruc'í, men'í, tob'í, sob'í, krów, d'íwka, x'íw, l'ívooj, b'idá, pl. kv'ítki, dvanájc'at', za r'ík'ów, v'idruó, instr. is sl'ip'ów žonuów, gen. do sl'ip'óji žonó, pl. molod'í, doroy'í, nov'í, z v'idróm, sírooj, sn'ix, loc. w sn'iyú / na sn'iy'óvi, gen. sn'iyá, acc. sl'ipú žony, r'ipa/rípa.

Брод: x'ífb, m'ísto, d'ílo, síno, loc. u s'ín'i, b'ílooj, sp'üvátí, kul'íno, na kul'ín'i, v'íteť, u t'íli, zav'ísiti, zav'íšu, zav'ís'at', sp'üvaŋka, l'ívooj, m'ís'ac', v'ínik, v'ínók, v'ínká, v'ínč'átí s'a, m'íd', k'ísto, jé, ja j'ím, íš, ímé, ísté, íd'át', moo j'íli, c'íp, yr'ix, yr'ixá, yr'ixó, yr'ixú, r'íká, na r'ic'í, pl. r'íkoo, gen. r'ík, d'íliti, d'ílít', yr'íšít', yr'íšát', p'ísók, loc. u p'iskú, gen. p'íská, na stol'í, na koní, na traw'í, po vod'í, na zemlí, na r'ic'í, min'í, tub'í, sub'í, d'úwka, gen. pl. d'üvók, x'lúw, gen. x'lúvá, instr. za x'lúvóm, pl. x'lúvó, l'ívooj, b'idá, dvanáccet', za r'ík'ów, v'idruó, do sl'ipuóji žonó, molod'í, doroy'í, nov'í, v'idróm, sídooj, sírooj, sn'ix, loc. u sn'iyú, gen. sn'iyá, gen. pl. sn'iyú, sl'ip'ú žonú, r'ípa.

Ч. Поток: x'íp, m'ísto, gen. m'ísta, d'ílo, síno, u s'ín'i, n. b'íloje, sp'üvátí, kul'íno, na kol'ín'i, t'ílo, loc. u t'íli, zav'ísiti, zav'íšu, zav'ís'at', sp'üvaŋka, m'ís'ac', v'ínik, v'ínók, gen. v'ínká, ísti, ja j'ím, too j'íš, ov'ün k'ís't', moo j'ímé, ísté / voo j'ísté, oní j'id'át', c'íp, jat, moo j'íli, yr'ix, yr'ixá, yr'ixó, r'íká, na veľikúj r'ic'í, pl. r'íkoo, d'íliti, d'ílít', yr'íšít', yr'íšít', yr'íšít', p'ísók, loc. u p'iskú, gen. p'íská, na stol'í, na koní, na trav'í, po vod'í, na zemlí, na ru'c'í, men'í, tob'í, sob'í, d'úwka, x'lúw, loc. u x'lúv'í, l'ívooj, b'idá, dvanáccet', za r'ík'ów, v'idruó, dat. ut sl'ip'új žon'í, gen. sl'ipuóji žonó, pl. molod'í, doroy'í, nov'í, v'idróm, sídooj/sídooj, sn'ix, loc. u sn'iyú, gen. sn'iyu, pl. sn'iyó, acc. sl'ipú žonú, r'ípa.

Боронява: x'ífb, m'ísto, gen. m'ísta, pl. m'ístá, d'ílo, síno, u s'ín'i, b'ílooj, sp'íváti, v'íteť, loc. u t'ílovi, zav'ísiti, zav'íšu, sp'ívaŋka, m'ís'ac', v'ínik, v'ínók, v'ínká, id v'ínkuóvi, m'íd', ísti, jé, ja j'ím, too j'íš, un íst, moo j'ímé, oní j'id'át', c'íp, moo j'íli, yr'ix, yr'ixá, yr'ixó, yr'ixú, r'íká, loc. na r'ic'í, gen. r'ikó, d'íliti, d'ílít', yr'íšít', yr'íšát', p'ísók, loc. w p'iskuóvi, gen. p'íská, na stol'í, na koní, na trav'í, po vod'í, na zemlí, men'í, tob'í, sob'í, d'íwka, x'íw, l'ívooj, b'idá, dvanáccet', c'iná, za r'ikuó, v'idruó, u sl'ipuóji žonó, doroy'í, molod'í, nov'í, na pol'an'i, s pol'anoo, z v'idróm, sídooj, sírooj, sn'íh, loc. u sn'iy'óvi, gen. sn'iyu, r'ípa.

3. Рефлексы праслав. *o, *ъ и *e, *ъ в позициях лабиализации и удлинения

Новоселица: p'en', v'óko, v'óč'i, óstrooj, búk, púp, búp, gen. pl. núx, són, pút, dvúr, vún 'on', súl', lét, mét, sím, sétwoj, léxki, mertvóoj, téplooj, žúlitooj, vuól'a, koruóna, duól'a, voruóna, šoruóki, sel'ó, za selóm, xvúst, vús, kún', s kón'óm, nús, m'óx, m'ókrwoj, v'ólos, m'óžok, fem. yúr'ka, n'óxut'/n'óxoť, gen. pl. kor'ów, gen. pl. kús (от kozá), gen. pl. sounú, dv'óru, sadú, st'ólú, beré, berés, beremé, bereté, ší's't', tés't', xrést, bérex, ver'x, na ver'xú, pérsooj, píra, v'óš, zámok, d'óš'č',

krów, p^hóruх, γ^hόροх, з^hόλυр, k^hórmít', kúľ'ko, túľ'ko, púzno, búľše, núč', u noč'í, súľ'ow, pokr^hówl'a, b^hórona, gen. pl. bor^hón, tóк, vúľ'xa, vuwc^héá, gen. pl. ós, s^hów, l'úika, prin'ús, prívjúľ, zapjúk, núška, txúr', gen. pl. kor^hów, b^hórot, z v'ídróm, serp^hóm, za stolóm, nož^hóm, kl'úč'om, s k^hun^hóm, pun'n'atí, múst, ja pújdu, vún pújde, mó pújde, ja v^hóz'mu, to v^hóz'meš, vún v^hóz'me, mo v^hóz'meme, put stúľ, put stolóm, molod^hóго, no^hóго, mužóго, tvužóго, sv^hóго, u n^hóго, u n'éji, pútkova. Дополнительный список: búр, búк, bróst, dólou', dr^hóbic', γnáj, γ^hόλυр, γólos, γórot, γóroх, γrúp, γrúm, γ^hórp, γólos, kún', k^hór'ín', kukúľ', k^hór'č', kúš, lúm, m^hóros, m^hózok, m^hóх, n^hóxoľ', nús, plút, p^hórox, púst, rót, snúp, soкúľ, st^hówp, són, top^hól'a, v^hólos, v^hólox (pl. vol^hóxi), v^hórox, vúsk, vús, v^hóľik, xólot, zván, bol^hóto, γ^hóre, k^hóleso, kr^hósna, m^hóre, p^hóle, st^hóvo, zóloto, bújka, búľ', č'esnók, č'olnók, drúst, dvúr, d^hól'x, txúr', dós'č', γólot, γvúst, kúľ, lúj, múľ', mor^hóka, róbit', r^hódit' s'a, múst, možúľ', lúkoľ', orél, ovés, p^hópil', pirúх, s'a wpl^hódilo, pút, púp, p^hóruх, ráх (pl. r^hóyi), rúj, rúk, sor^hóka, xvúst, núč', súľ', krów, l'ub^hów, m^hórkow, xt^hó, š^hó, tut^hó, bróva, pl. bróvo, p^hómuč', xólonno, sv^hóloč', xv^hóroj, z^hóľč'.

Брод: píč', pěn', óko, óči, óstroaj, b'úk, p'úp, b'úb, gen. pl. núх, són, p'út, dv'úr, v'úl, xv'úst, súľ', rúk, l'úd, mn'úd, sím, sémcoj, léxkoj, téploaj, z^hówtcoj, vuól'a, koruóna, duól'a, širuókoj, seljó, za selóm, v'ús, kún', s kon^hóm, nús, sóm, móх, mužókoj, vólos, mužók, núxt, gen. pl. soonú^h, beré, beréš, beremé, bereté, berúť', šís't', pérst, xrést, berémenolberémn'a, véř'x, na veř'xú, péřcoj, píř'a, vóš, dós'č', krów, purúх, z^hóľob, γoruóх, kúľ'ko, túľ'ko, p'úzno, búľše, u noč'í, instr. syólew, gen. pl. boronú^h, túk, v'úl'xa, v'úč'á, gen. pl. ósü^h, syón'ü^h, prin'ús, prív'úw, zap'úk, koruówka, núška, durúška, koruów, borútka, gen. pl. borúd, v'ídróm, séřpom, za stolóm, nož^hóm, kl'uč^hóm, ko^hóm, púdn'atí, kún'č'atí, ja kún'č'u, mostók, vózür, gen. pl. vøžmuř^h, p'údu, p'údeš, p'úde, ja vóz'mu, to vóz'meš, mo vóz'meme, vo vóz'mete, put stúľ, put stolóm, molodužóго, mužóго, svužóго, u néji.

Ч. Поток: píč', pěn', óko, óči, óstroaj, b'úk, p'úp, b'úp, gen. pl. núх, són, puót, dv'úr, v'úl, xv'úst, súľ', rúk, l'út, méт, sím, sémcoj, léxkoj, mertvóaj, téploaj, žyóľtcoj, vuól'a, koruóna, duól'a, voruóna, širuókoj, seljó, za selóm, v'ús, kún', s ko^hóm, nús, móх, mužókoj, vólos, mužók/mužók, γúřko, n'úxt, pl. n'úxtco, gen. pl. soonú^h, beré, beréš, beremé, bereté, berúť', š^hís't', pérst, xrést, béřex, berémeno, véř'x, loc. na veř'xú, péřcoj 'двоюродный', píř'a, vóš/v^hóš, zámoк, dós', krów/krów, pořúх, γoruóх, žyóľoľ', žyóľop 'ущелье', drvá/dr^hvá, kořníč'a, kúľko, p'úzno, b'úľše, núč' 'ночь', u noč'í, instr. syóľw, gen. pl. boronú^h, tuók, loc. na toğ'ú, pl. toğ' 'ток, гумно', v'úl'xa, v'úč'á, gen. pl. ósü^h, l'úika, syósna, gen. pl. syósnu^h, prin'ús, prív'úw, nap'úk, koruówka, núška, txúř', gen. pl. koruów, gen. pl. borút, v'ídróm, séřpom, za stolóm, nož^hóm, kl'uč'óm, s ko^hóm, p^húdn'atí, kún'č'atí, ja kún'č'u^h, m'úst, mužóstik, vóžür 'окно', p'údu, p'úde, p'úde, ož'mú^h, ož'meš, ož'mé, ož'memé, put stúľ, put stolóm, rúšš'a 'хворост', molodužóго, novužóго, m^hóго, svužóго, u n'óго, u néji, putkoóna.

Боронья: píč', pěn', vóko, vóči, óstroaj, búк, púp, búб, núh, són, puót, dvúr, xvúst, kút, kútka, s^húl', γúd, léд, méд, sím, sémcoj, léxkoj, méřtvoaj, téploaj, z^hóľtcoj, vuól'a, koruóna, duól'a, voruóna, širuókoj, seljó, za selóm, vúz, kún', s ko^hóm, suóm, nús, m^hóх, mužókoj, vólos, mužók, pl. nužxt'í, gen. pl. kúz 'коз', soonú^h, un beré, to beréš, mo beremé, vo bereté, oní berút, šís't', pérst, us'óaj, xrést, béřey, véř'x, na veř'xú, péřcoj 'двоюродный', píř'a, vóš, zámoк, dóžž, krów, pořúh, γor^hóх, dróvá, křníč'a, skúľ'ko, túľ'ko, púzno, vúl'xa, vuc'á, gen. pl. ús 'oc', suóх 'рогатин', prin'ús, prív'úy, spiúk, gen. pl. koruów, v'ídrúó, séřpom, za stolóm, nož^hóm, kl'uč'óm, ko^hóm, pudn'atí, múst, óbolok 'окно', pújdu, pújde, pújde, put stolóm, molodužóго, mužóyego (?), svužóyego (?), u n^hóго, u néji.

Ч. Поток: *teľ'áta, kož'áta, mn'áso, žába, p'jatá, mn'áto* 'мята', *r'át, mn'akkóoj, ižyó, s'atóoj, tr'ias, tr'aslá, tr'aslí, zapr'íax, šápka, žáti, žáli, žála, poč'atí, poč'alá, poč'alí* или *náč'ati, náč'ala, náč'ali, d'átel, wjáze, l'áze, s'áde, s'ás't'a, č'ás, str'il'l'áti* (sic), *γυ'ávu, 3 pl. γυ'ávuv', c'a bojáti, bojála c'a, bojáli c'a* (c'a вместо s'a), *p'jál' 'пядь', dv'í p'jádi, láti 'ругать', na žáb'i, var'át, muól'at' c'a, syól'at', s'a božítí, byóžat' c'a, s'atítí, krič'át', síd'át', stoját', koľyód'as', jayn'á, jajcé, gen. jajc'á, pl. jájc'a, jábloko, jásin', jástr'ap, jáma, jálova, zeml'á, beré'mn'a.*

Боронья: *teľ'áta, kož'áta, mn'áso, žába, mn'átooj, piátka, mn'atá, mn'axkóoj, s'atóoj, tr'ás, tr'aslá, tr'aslí, upr'áy, šápka, žáti, žátva, žžáli, žžála, náčati, náčala, náčali, d'átel, wjáze, l'áze, s'áde, ščás'c'a, pečát', čás, str'il'l'áti, γυ'áti, γυ'áju, bojáti s'a, bojála s'a, bojáli s'a, v'íšati, na žáb'i, var'át, muól'at' s'a, syól'at, božát s'a, krič'át, síd'át, stoját, koľyód'az', jáyn'a, jajcé, pl. jájc'a, gen. jajíc', jáblooka, jásin', jástr'ab, jáma, zemn'á, jačmín', w jám'i, záječ', gen. zájac'a, bil'ije, duól'a, vuól'a, pójas, s'íjati, déwjat', déš'at', m'ís'ac', kúzn'a, pl. instr. kúzn'amí, piatnáceť, mn'asnóoj, l'aynúti, r'abóoj, bes piát', s'aščénooj, s'atóoj, toós'ača.*

5а. Рефлексы праслав. *q и *u

Новоселица: *γýska, vuskíj, úlic'a, pl. vúxa, dýp, bavýsa* 'усы', *žúk, mýká, mýka, mýxa, kúrka, dubráva, sýk, prýt, býben.* Дополнительный список: *č'úr, dušá, kl'úč', kúrka, l'úde, lořúx, lúk* 'лук-севок', *n'úx, plúx, slúx, stúk, šúm* 'шум', *trúp, unýk, žúk* 'колорадский жук', *č'údo, duplé, rúno, vúxo, býr'a, 3 sg. dúmat', γrúška, γún'a, dúl'a, kúra, kúrka, mýxa, žúrit' s'a, rúra, kúra, smýγα, dýp, γuólup, γýska, γcsák, γúš'č'ava, γrýs, klýp, kúč'a* (*kotja), *kusók, kýt, krýx, lýx, vúγel', zakýtina, bavýsa* 'усы', *vúzi'l', vúš, pýk* '(бот.) почка', *prutká vúšda, strýx* 'форель', *strýp* (*štyrbь), *rubél', rubéc', sýt, pořýda, sýk, struč'úsk, xruš'č', zýp, zvýk, žúólóť, γrýbooj, túč'a, mýka.*

Ч. Поток: *γú^usi, γú^uska* 'гусь', *γuskóoj, újdic'a, úúlic'a, pl. úúxa, dúmp, úústa, žúúk, muká, m^uúka, m^uúxa, k^uúric'a, s^uúka, s^uúk, b^uúmben.*

Боронья: *pl. γúsi, vuskóoj, vúdic'a, vúlic'a, pl. vúxa, dúb, vústa* 'усы', *dub-ruóna, zátuž, súk, býben.*

6. Рефлексы *je-

Новоселица: *ósīn', ólin', jalínka, jedén, fem. ístínna.*

Брод: *ósīn', ólin', ózero, jížúš, jedén, ožína.*

Ч. Поток: *ʔósīn', ʔólen', ʔózero, ižyó, jedén.*

Боронья: *ósen', ólen', ózero, odén.*

7. Рефлексы *jъ- и *ji-

Новоселица: *jylá, ískra, ínšakij, jýva, íkra, imn'á, préjdu, príjdeš, príjde, máti* 'иметь', *pojímáti* 'поймать'.

Брод: *γylá, ískra, γyrá, íkra, ímn'a* (?), *ja jdú, príjdu, príjdeš, imíti* 'поймать', *ja iml'ú.*

Ч. Поток: *γylá, ískra, ín'šooj/ín'šakooj, γyráti, 3 pl. γyrávuv', íkra* 'молочная железа (у коровы)', *imn'á, ja jdú^u, príjdu, príjdeš, príjde, imíti* 'поймать', *ja imíla.*

Боронья: *γylá, ískra, γyráti, imn'á, ja idú, príjdu, príjdeš, príjde, imíti* 'поймать'.

8. Рефлексы «напряженных» редуцированных и редуцированных перед мягкими сонантами

Новоселица: *béj, péj, l'l'í, zakróoj, m^uóovc, róovc, vúkravc* (*vykrajo), *šóoja, solovéj, č'íj, č'íja, molodóoj, stárooj, suxéj, takéj, pén', rožén, dróova, vepér', d^uóbrooj, d^uólγij, tojkéj, novóoj, l'ít'n'ej, ranóoj* 'ранний', *dén', oγén', sónnooj, γirtánka.*

Брод: *bij, pij, zakrój, móvu, móješ, róvu, róje, šija, vorobók, solovij, čij, čija, molodój, starój, suxčij, takčij, pé'n', stéržin', vipér', din'cé, d'ówγwɨj, toŋkčij, novój, l'itnoj, ránoj, dén', oγén'.*

Ч. Поток: *běj γo, péj, l'li (*ljji), zakrčj, móvu, róje, šija, solovėj, č'ėj, č'ėja, molodčj, starčj, suxčj, takčj, pé'n', rožén, wd'ówš, drvá, k'órníc'a, vepír', d'ówγwɨj, toŋkčoj, pl. toŋk'čí, novój, pl. nov'čí, l'it'n'oj, ránoj, dín', oγén'.*

Боронява: *běj, péj, l'li, króju, šėja, čij, čija, molodój, starój, suxčoj, takčoj, pé'n', rožén, drvá, k'rníc'a, d'ólywɨj, toŋkčoj, novój, l'itnoj, dén', oγén'.*

9. Последовательности ТЪРТ и ТРЪТ

Новоселица: *lénu, bez lénu, ir'z'já, ir'z'ján'oj, ir'z'ján'ije, loc. u króni/u krówl'i, γrimít', kris'č'én'oj, xrbét, tréplę s'a, sl'ozá, gen. sl'ozó, blóxa, loc. na blós'i, pl. blóxi, gen. pl. blóx, jábłoka, jábłŋka, m'órkow, k'ór'č'ma, kormít, γorbát'oj, vep'č'iti, vérne, žérlo, st'ówp, gen. st'ówpa, kowbása, v'ólk, gen. v'ólk'a, pl. v'ólk'i, gen. pl. v'ólk'u, pl. dułji, d'ólyj, d'ółžna, lóška, dróva, gen. drów, strič'í, ja strigý, γórp.*

Брод: *nijé l'ónu, irzá, iržán'ije, nad brovami, u króni, γrimít', xrešč'én'oj, xrbét, sl'ozá, gen. pl. sl'ozú, bl'xá, gen. bl'xá, jábłko, jábli'n'ka, k'rtíc'a, m'órkow, k'ór'č'ma, γorbát'oj, vir'č'iti, bl'luóga, diržáti, déržit', nijé stúwpa, kv'bása, vúwna, vúwk, gen. v'ówka, pl. v'ówci, dúwx, pl. d'owýó, d'ówγwɨj, d'ówžna.*

Ч. Поток: *nijé l'ónu, irzá, iržán'oj, iržán'ije, br'vúó, gen. br'vová, loc. u króni, kórván'oj, f. xreš's'éna, slezá, blóxá, loc. na blós'í, gen. pl. blóx, jábliŋka, k'rtína, m'órkow, k'ór'č'ma, γorbát'oj, 3 sg. vep'č'it', inf. vep'č'iti, vérne, deržáti, déržit', st'ówp, gen. st'ówpa, v'ówna, v'ówk, gen. v'ówka, pl. d'owýó, adj. pl. d'owžna.*

Боронява: *nijé léna, irzá, iržán'ije, nad bróvami, loc. u króni, γremít, xrešč'én'oj, xrbét, pl. slózó, gen. slóz, blóxá, gen. pl. blóx, loc. sg. na blós'í, jábłoka, jábli'n'a, m'órkow, k'ór'č'ma, γorbát'oj, vep'č'iti, vérne, deržáti, déržit, gen. st'owpá, kowbáska, v'ówna, v'ólk, gen. v'ólk'a, v'ólci, gen. v'ówci, d'óly, d'ólywɨj, f. d'ółžna, f. γłowuóka.*

10. Рефлекс *-ье

Новоселица: *žot'á, š'č'ás't'a, prú't'a, svín'á, kol'ós'a, zdor'ówl'a, zíl'a.*

Брод: *žit'á, prú't'a, svín'á, kol'ós'a, zdor'ówl'a, zíl'a, pit'á.*

Ч. Поток: *š's'ás't'a, prú't'a, svín'á, kol'ós'a, zdor'ówl'a, zíl'a.*

Боронява: *žit'já, ščás'c'a, svín'á, zdor'ówl'a, zíl'a, vešíl'a.*

10а. Рефлексы «слабых редуцированных» в особых позициях

Новоселица: *déš'č'ka, skl'ó, psó, č'esnók, gen. č'esnoká/č'esnoký, č'ólnók, gen. č'ólná (sic).*

Ч. Поток: *dós'ka, skl'ó, pl. psó, č'esnók, gen. č'esnok'ú, č'ównik, gen. č'ównika.*

ПРИЛОЖЕНИЕ³

***gošča:** Ольшаны *γúšča*, асс. -u, pl. *γúščí/γúšči*, gen. *γúšč* 'заросшее сорняка-ми место в огороде; лесная чаша'; Ч. Поток *γúšč'a*, асс. -u, pl. -i, gen. *γúšč'* 'чаша'; Бан.-П. *γúšča*, асс. -u; Луквица *γúšča* 'чаша'.

***grabl'ě:** Ольшаны pl. *γrábl'i*, gen. *γraběl'*, instr. *γrabl'óma*, loc. *na γrábl'ox/na*

yrábl'ax; Ч. Поток pl. *yrábl'i*, gen. *yrabél'*; Бан.-П. pl. *yrabl'i*, gen. *yrabél'*; Луквица pl. *yrabl'i/yrábl'i*, gen. *yrabl'iw/yrabél'*.

***grап'ька**: Березники *yráŋka* 'невысокая гора'.

***grebl'a**: Луквица *yrébl'a/(-i)* 'центральная, мощеная дорога'.

***gręda**: Ольшаны *yr'adá*, acc. *yr'adú*, pl. *yr'ádoo*, gen. *yr'at*; Луги *yr'edá*, acc. -ú, pl. *yr'edy/yr'edá*, gen. *yr'édiw/yr'edíw* 'каменный завал в реке'; Люта *yr'áda*, acc. -u, pl. -oo, gen. *yr'ad'iw* 'жердь под потолком для сушки конопли и др.'; Велятин *yr'adá*, instr. -ú, pl. -oo; Чапли *yr'ęda*, acc. -u, pl. -ę 'грядка'; Миженец *yr'ęda*, acc. -u, pl. -y, num. *yr'éd'i*, gen. *yr'édíw*; Чернево *yr'edá*, acc. -ú, num. *yr'éd'i*, pl. -dy; Луквица *yr'ídá/(-i)*, pl. *{yr'ídá, gen. yr'íd'iw}* 'завал из камней в реке'.

***gręd'ька**: Ольшаны *yr'átka*, pl. *yr'atkóo*, gen. *yr'adók*; Березники *yr'átka*; Ч. Поток *yr'átka*, acc. -u, pl. *yr'atkóo*, gen. *yr'adók*; Чернево pl. *yr'ętk'i*; Бан.-П. *yr'iętk'a*, acc. -u, pl. *yr'ętk'ę*, gen. *yr'ędók*; Мшанец *yr'átka*, acc. -u, pl. *yr'atký*, gen. *yr'adók*; Луквица pl. loc. *na yr'itkák*.

***griva**: Ольшаны *yríva*, acc. -u, pl. *yrívoo*, gen. *yríw*; Березники *yríva*, acc. -u, pl. -oo; Луги *yr'áva*, pl. -y; Бороняво *yríva*, acc. -u, pl. -oo, gen. *yríw*; Т. Поляна *yríva*, acc. -u, pl. -ы, gen. *yríw*; Люта *yríva*, acc. -u, pl. -oo; Ч. Поток *yríva*, acc. -u, pl. -oo, gen. *yríw*; Велятин *yríva*, acc. -u, pl. -oo; Чапли *yr'áva*, acc. -u, pl. -ę; Миженец *yrúva*, acc. -u, pl. -y, num. -y, gen. *yrúv'iw*; Скотарское *yríva*, acc. -u, pl. -oo; Печенижин *yr'áva*, acc. -u, pl. -y, gen. *yr'áv*; Бан.-П. *yr'áva*, acc. -u, pl. -y, gen. -v'íw; Мшанец *yrúva*, acc. -u, pl. -y, gen. *yrúv*; Луквица *yr'áva*, acc. -u, pl. -ę, gen. *yr'av/yr'áv'iw*.

***groza**: Ч. Поток *yróz'a*, acc. *yrózú*, pl. *yrúzóoo*, gen. *yrúos*; Чернево *yróz'a*, acc. -ú, pl. -y; Бан.-П. *yróz'a*, acc. -ú, num. -z'í, pl. *yrúzóy*, gen. -z'íw 'снежная буря'; Мшанец *yróz'a*, acc. *yrózú*, pl. *yrózy*, gen. *yróz'iw*; Луквица *yróz'a*, acc. -ú, pl. *yróz'a*, gen. *yróz* 'гром'.

***gręda** 'пласт/ком сухой земли': Ольшаны *yrúda*, acc. -u, pl. *yrúdoo*, gen. *yrut*; Березники *yrúda*, acc. -u, pl. -oo; Керецки *yrúda*, acc. -u, pl. -oo; Бороняво *yrúda*, acc. -u, pl. -oo, gen. *yrut*; Т. Поляна *yrúda*, acc. -u, pl. -ы, gen. *yrut*; Люта *yrúda*, acc. -u, pl. -oo; Ч. Поток *yrúda*, acc. -u, pl. -oo, gen. *yrut*; Велятин *yrúda*, acc. -u, pl. -oo; Чапли *yrúda*, acc. -u, pl. -ę; Миженец *yrúda*, acc. -u, pl., num. -y, gen. *yrúdíw*; Скотарское *yrúda*, acc. -u, pl. -oo 'ком сухой земли; комок соли, сахару'; Печенижин *yrúda*, acc. -u, pl. -y, gen. *yrut*; Чернево *yrúda*, pl. -y; Бан.-П. *yrúda*, acc. -u, pl. *yrúdy*; Мшанец *yrúda*, acc. -u, pl. -y, gen. *yrúdíw*; Луквица *yrúda*, acc. -u, pl. -ę, gen. *yrud/yrúd'iw*.

***gręza**: Чернево *yrúza*, acc. -u, pl. gen. *yrúziw* 'груздь? (распространенный вид гриба, идущий на засолку)'.

***gruša**: Ольшаны *yrúša*, acc. -u, pl. *yrúš'i*, gen. *yruš* (дерево, плод); Березники *yrúša*, acc. -u, pl. -i; Керецки *yrúša*, acc. -u, pl. -i; Луги pl. *yrúš'i*; Бороняво *yrúša*, acc. -u, pl. *yrúš'i*, gen. *yruš*; Чапли *yrúša*, acc. -u, pl. -i (дерево); Скотарское *yrúša*, acc. -u, pl. *yrúš'i*; Мшанец *yrúša*, acc. -u, pl. -i, gen. *yruš*; Луквица *yrúša/yrúš'i*, acc. -šu, pl. *yrúš'i*, gen. *yruš* (дерево).

***gruška**: Ольшаны *yrúška*, pl. *yrúškóo*, gen. *yrúšók* 'маленькая груша; лампочка'; Луги *yrúška* 'груша'; Т. Поляна *yrúška*, acc. -u, pl. *yrúškí*, gen. *yrúšók*; Люта *yrúška*; Чапли *yrúška* (плод); Чернево *yrúška*, acc. -u, num. *yrúš'ci*, pl. *yrúšk'i*, gen. *yrúšók*; Бан.-П. *yrúška*, pl. *yrúšká*, gen. *yrúšušk*; Луквица *yrúška* (плод).

***gryža** 'грыжа': Ольшаны *yróža*, acc. -u, pl. *yróž'i*, gen. *yróš* (обычно *kóola*); Керецки *yróža*, acc. -u, pl. -i; Луги *yr'ęža*; Бороняво *róža*, acc. -u, pl. *róž'i*, gen. *roš* (sic); Ч. Поток *yróža*, acc. -u; Велятин *yróža*, acc. -u; Чапли *yr'ęža*, acc. -u; Миженец *yrýža*, acc. -u, pl. -i, num. -i, gen. -íw; Печенижин *yr'ęž'y*, acc. -u, pl.

-ž'i, gen. *γrāš*; Мшанец *γrýža*, acc. -u; Луквица *γrāža*, acc. -u.

***gun'a**: Ольшаны *γún'a*, acc. -u, pl. *γún'i*, gen. *γun'* 'куртка из овчины': z *wúc' kráje ta šíje*; Ч. Поток *γún'a*, acc. -u, pl. -i, gen. *γun'*; Бан.-П. *γún'a* 'бессовестный человек'.

***gvēzda**: Ольшаны *zv'izdá*, acc. *zv'izdú*, pl. *zv'izdoo/zv'izdóo*, gen. *zv'ist*; Березники *z'v'izdá*, acc. -ú, pl. -ó, gen. -úw; Керецки *zv'izdá*, acc. -ú, pl. -ó; Луги *zv'izdá*, acc. -ú, pl. *zv'izdy* / стар. *zv'izdž*, gen. *zv'izdaj/zv'izdiw*; Бороняво *z'v'izdá*, acc. -ú, pl. *z'v'izdoo*, gen. *z'v'ist*; Т. Поляна *zv'izdá*, acc. -ú, pl. -ѣ, gen. *zv'ist*; Люта *zv'izdá*, acc. -ú, pl. -ó, gen. *zv'iz'z'iw*; Ч. Поток *zv'izdá*, acc. -ú, pl. -ó, gen. -ú; Велятин *zv'izdá*, acc. -ú, pl. *zv'izdoo*; Чапли *z'v'izdá*, acc. -ú, pl. -ž; Миженец *zv'izdá*, acc. -ú, pl. *zv'izdy*, num. *zv'izd'i*, gen. *zv'izdiw*; Скотарское *zv'izdá*, acc. -ú, pl. -ó; Брод *zv'izdá*, acc. -ú, pl. -ó, gen. *zv'ist*; Печенижин *zv'izdá*, acc. -ú, pl. *zv'izdy*, gen. *zv'ist*; Чернево *zv'izdá*, acc. -ú, num. *zv'izd'i*, pl. *zv'izdy*, gen. *zv'ist*; Бан.-П. *z'v'izda/z'v'izdá*, acc. *z'v'izdu/z'v'izdú*, pl. *z'v'izdy*, gen. -zd'iw; Мшанец *z'v'izdá*, acc. -ú, pl. -ý, gen. *z'v'izdiw*; Луквица *z'v'izdá*, acc. -ú, pl. *z'v'izdž*, gen. *z'v'izd/z'v'izd'iw*.

***gđul'a** 'сорт груш': Ольшаны *dúl'a*, acc. -u, num. *dúl'i*, gen. *dul'*; Ч. Поток *dúl'a*, acc. -u, pl. -i, gen. *dul'*; Чернево *gdúl'a*, dat. -u, pl. -i «*γrúška velíka*»; Бан.-П. *dúl'a*, pl. -i; Луквица *dúl'i*, acc. -u, pl. -i, {gen. *dul'*}.

***igra** (на муз. INSTR.): Керецки *γrā*, acc. -ú, pl. -ó; Бороняво *γrā*, acc. -ú, pl. *γrōo*, gen. *γrj*; Чапли *γrā*, acc. -ú, pl. -ž; Миженец *γrā*, acc. -ú, pl. *γry*, num. *γr'i*, gen. *γriw*; Печенижин *γra*, acc. *γru*, pl. *γrā*, gen. *γriw*; Чернево *jγrā*, acc. -ú; В. Тур. *γra*, acc. -u 'игра (забава)'.

***igyla**: Ольшаны *γylá*, acc. -ú, pl. *γylo*, gen. *γól*; Березники *γylá*, acc. -ú, pl. -ó; Керецки *γylá*, acc. -ú, pl. -ó; Луги *žylá*, acc. -ú, pl. *žyly*, gen. *žyol/žyl'iw*; Бороняво *γylá*, acc. -ú, pl. -ó, gen. *γól*; Т. Поляна *γylá*, acc. -ú, pl. -ѣ, gen. *γól*; Люта *γylá*, acc. -ú, pl. -ó, gen. *γól*; Ч. Поток *γylá*, acc. -ú, pl. -ó, gen. *γól*; Велятин *γylá*, acc. -ú, pl. -ó; Чапли *γylá*, acc. -ú, pl. -ž; Миженец *γylá*, acc. -ú, pl. -ý, num. *γyl'i*, gen. *γól*; Скотарское *γylá*, acc. -ú, pl. -ó; Печенижин *γla*, acc. *γlv*, pl. *γlž*, gen. *γl'iw*; Чернево *jγylá*, acc. -ú, num. *jγyl'i*, pl. *jγyly*, gen. *jγól*; Бан.-П. *jγylá*, acc. -ú, pl. *žyly*, gen. -l'iw; Мшанец *jγylá*, acc. -ú, pl. *jγylý*, gen. *jγyl'iw*; Луквица *γylá/jyla*, acc. -ú, pl. *γylž/jylž*, gen. -l'iw.

***igylka**: Ольшаны *γólka*, pl. *γólkoo* (?)

***ikra**: Ольшаны *ikra*, acc. -u 'молочная железа (у коровы)'; Керецки *ikrá*, acc. -ú; Бороняво *ikrá*, acc. -ú 'рыбья икра'; Ч. Поток *ikrá*, acc. -ú, pl. -ó, gen. *ikór* 'молочная железа (у коров)'; Брод *ikra*, acc. -u 'рыбья икра'; Бан.-П. *jikrá/žákra*, acc. *jikrú/žákrú*; Мшанец *jikrá*, acc. -ú; В. Тур. *žkra*, acc. -u, pl. -ž, gen. -r'iw 'вымя коровы'.

***iskra**: Ольшаны *iskra*, acc. -u, pl. *iskróo*, gen. *iskr* (?); Березники *iskra/iskrá*, acc. *iskru/iskrú*, pl. *iskróo*; Керецки *iskra*, acc. -u, pl. *iskróo*; Бороняво *iskrá*, acc. -ú, pl. *iskrōo*, gen. *iskr*; Т. Поляна *iskrá*, acc. -ú, pl. -ѣ; Люта *iskra*, acc. -u, pl. -oo, gen. -r'iw; Ч. Поток *iskra*, acc. -u, pl. *iskróo*, gen. *iskór*; Велятин *iskra*, acc. -u, pl. *iskrōo*; Чапли *iskrá*, acc. -ú, pl. -ž; Миженец *iskrá*, acc. -ú, pl. *iskry*, num. *iskry*, gen. *iskrj*; Печенижин *iskrá*, acc. -ú, pl. *iskry*, gen. *iskor*; Чернево *jiskra*, acc. -u, pl. -y; Бан.-П. *jiskrá/žáskra*, acc. *jiskrú/žáskru*, pl. *jiskrž/žáskry*, gen. *jiskr'iw/žáskr'iw*; Мшанец *jiskrá*, acc. -ú, pl. *jiskry*, gen. *jiskr'iw*; Луквица *iskrá/{skra}*, acc. -ú, pl. *iskrž/{skrž}*, gen. *iskr'iw/{skr'iw}*.

***istba**: Бан.-П. *jizbá* 'переход между зимней и летней частями дома' («*mez'i xatámu*»).

***iva**: Ольшаны *iva*, acc. -u, pl. *ívoo*, gen. *iw*; Березники *iva*, acc. -u, pl. -oo; Керецки *iva*, acc. -u, pl. -oo (с длинными светлыми листьями); Бороняво *iva*, acc.

-u, pl. -*oo*, gen. -*iw*; Люта *íva*, acc. -u, pl. -*oo*, gen. *ív'iw*; Ч. Поток *íva*, acc. -u, pl. *ívoo*, gen. *íw*; Велятин *íva*, acc. -u, pl. -*oo*; Чапли *jíva*, acc. -u, pl. -*ə* (с «мохнатыми» цветами); Миженец *jíva*, acc. -u, pl. -y, num. -y, gen. *jív'iw*; Скотарское *íva*, acc. -u, pl. -*oo*; Печенижин *ǰva*, acc. -u, pl. -y, gen. -*v'iw*; Чернево *jíva*, acc. -u, num. -*vji*, pl. *jívu*; Бан.-П. *ǰva*, acc. -u, pl. -y, gen. -*v'iw* (ива со светлыми листьями); Мшанец *jíva*, acc. -u, pl. -y, gen. *jív'iw*; Луквица *ǰva*, acc. -u, pl. -*ə*, gen. *ǰv'iw*.

***jagoda**: Ольшаны *jáyoda*, acc. *jáyodu*, pl. *jáyodoo*, gen. *jáyut* 'земляника'; Березники *jáyoda*, acc. *jáyodu*, pl. *jáyodoo* 'земляника'; Керецки *jáyoda*, acc. *jáyodu*, pl. *jáyodoo* 'земляника'; Ч. Поток *jáyoda*, acc. *jáyodu*, pl. *jáyodoo*, gen. *jáyüt* (sic); Чернево *jáyoda*, acc. -u, pl. -y, gen. *jáyüt* (sic); Бан.-П. *jáyoda*, acc. -u, pl. -y, gen. -*d'iw*; Мшанец *jáyoda*, pl. -y, gen. *jáyod'iw*; Луквица *jáyoda*, acc. -u, pl. -*ə*, gen. *jáy'id* 'черника'.

***jama**: Ольшаны *jáma*, acc. -u, pl. *jámo*, gen. *jam*; Березники *jáma*, acc. -u, pl. *jámo*, gen. *jam*; Керецки *jáma*, acc. -u, pl. -*oo*; Луги *jáma*, acc. -u, pl. *jamǰ*, gen. *jam'iw* 'яма; погреб'; Бороняво *jáma*, acc. -u, pl. -*oo*, gen. *jam*; Т. Поляна *jáma*, acc. -u, pl. -*ы*, gen. *jam*; Люта *jáma*, acc. -u, pl. -*oo*, gen. *jam'iw*; Ч. Поток *jáma*, acc. -u, pl. -*oo*, gen. *jam*; Велятин *jáma*, acc. -u, pl. -*oo*; Чапли *jáma*, acc. -u, pl. -*ə*; Миженец *jáma*, acc. -u, pl. -y, num. -y, gen. -*iw*; Скотарское *jáma*, acc. -u, pl. -*oo*; Печенижин *jáma*, acc. -u, pl. -y, gen. *jam'iw*; Чернево *jáma*, acc. -u, pl. -y; Бан.-П. *jáma*, acc. -u, num. *jam'i*, pl. *jamǰ*, gen. -*m'iw*; Мшанец *jáma*, acc. -u, pl. gen. *jam*; Луквица *jáma*, acc. -u, pl. -*ə*.

***jamьka**: Ч. Поток *jámka*, acc. -u, pl. *jamkóo*, gen. *jamók*.

***jazva**: Луквица *jázva*, acc. -u, {pl. -*ə*, gen. -*v'iw*}.

***jedlica** 'пихта': Ольшаны *jalíc'a*; Ч. Поток *jalíc'a*; Бан.-П. *jalǰc'a*; Луквица *jalǰc'a*/{-i}.

***jedlinьka**: Ольшаны *jalínka*, acc. -u, pl. *jalínkóo*, gen. *jalínók* 'пихта'.

***jěda**: Ольшаны *jidá*, acc. *jidú*, pl. *jidoo*, gen. *jit*; Березники *idá*, acc. *idú*; Керецки *jidá*, acc. *jidú*; Луги *jidá*, gen. *jidǰ*, acc. -ú; Бороняво *jidá*, acc. -ú, pl. *jidoo*, gen. *jit*; Люта *jidá*, acc. -ú; Ч. Поток *jidá*, acc. -ú; Велятин *jidá*, acc. -ú; Скотарское *jidá*, acc. -ú; Печенижин *jidá*, acc. -ú, pl. *jidy*, gen. *jígíw*; Бан.-П. *jidá*, acc. -ú, num. -*d'i*, pl. *jidy*, gen. -*d'iw*; Мшанец *jidá*, acc. -ú; Луквица *jidá*, acc. -ú, pl. *jidǰ*, gen. -*d'iw*.

***jědja**: Керецки *jǰzá*, acc. -ú, pl. -*í* 'еда'; Чернево *jǰzá*, acc. -ú; Мшанец *jǰza*, acc. -u.

***jězda**: Ч. Поток *jǰzdá*, acc. -ú 'поездка на автобусе'; Бан.-П. *jǰzdá*; Луквица *jǰzdá*, {acc. -ú, pl. *jǰzdǰ*} 'поездка'.

***jěga**: Луквица *bába jáya* '≈ ведьма': «w gorós'i sǰǰǰt».

***kaluža**: Чапли *kalúža*, acc. -u, pl. -*i*; Миженец *kal'úzi*, acc. -u, pl. -*i*, num. -*i*, gen. -*iw*; Луквица *kal'úz'í*, acc. -u, pl. -*i*, gen. *kal'úz*.

***kan'a**: Ч. Поток *kán'a*, acc. -u, pl. *kán'i*, gen. -*ü*: *poqv'íkala dǰn'-dvá* — *to znáčit xólot*; Луквица *kán'í*, acc. -u, pl. -*i*, {gen. *kan'*}.

***kapl'a**: Ольшаны *kápl'a*, acc. -u, pl. *kápl'i*, {gen. *kapél'* (?)}; Чернево *kápl'a*, num. *káplí*, pl. *kápl'i*, gen. *kápel'*; Бан.-П. *kápl'a*, acc. -u, pl. -*i*, gen. -*iw*; Мшанец *kápl'a*, acc. -u, pl. -*i*, gen. -*ij*; Луквица *kápl'í*, acc. -u.

***kaša**: Ольшаны *káša*, acc. -u, pl. *kaš'í*; Ч. Поток *káša*, acc. -u, pl. -*í*, gen. *kaš*; Бан.-П. *káša*, acc. -u, pl. *kaš'i*, gen. *kaš'iw*; Луквица *kás'í*/{-i}, acc. *kášu*, {pl. *kás'i*} 'каша на молоке'.

***kanьka**: Бан.-П. *káwka* 'галка (?)'.

***kazьka**: Ольшаны *káska*, pl. *kaskóo*, gen. *kazók*.

***klěšča**: Ольшаны pl. *kl'išč'í*, gen. *kl'išč'úw*, instr. *kl'išč'óma*, loc. *kl'išč'áx*; Мша-

нец pl. *kl'ísč'i*, gen. *-iŭ*; Луквица pl. *kl'ísč'i/kl'ísč'í*, gen. *kl'ísč'íw/kl'ísč'íw*.

***kl'ętvа**: Ч. Поток *kl'átva*, acc. *-u*, pl. *-o*; Велятин *kl'átva*, acc. *-u*, pl. *-o*.

***kl'ętba**: Печенижин *kl'yǵbá*, acc. *-ú*, pl. *-ǵ*, gen. *kl'eǵb*.

***kl'účka**: Ольшаны *kl'účka*, pl. *kl'účkó*, gen. *kl'účók*; Велятин *kl'účka* 'петля'; Бан.-П. **kl'účka*, acc. *kl'účki*, pl. *kl'účkǵ*, gen. *kl'účǵk* 'палка с загнутым концом'; Луквица *kl'účka* 'крючок'.

***kl'uka**: Ольшаны *kl'úka*, acc. *-u*, pl. *kl'úkoo*, gen. *kl'uk*; Ч. Поток *kl'úwka*, acc. *-u*, pl. *kl'úwkoó*, gen. *kl'úvók* 'кочерга; ключ'; Бан.-П. *kl'úka* 'палка с загнутым концом'.

***košyга** 'лопатка для выгребания угля': Ольшаны *košęra*, acc. *-u*, pl. *košęrǵó*, gen. *košęrh*; Березники *košęra*, acc. *-u*, pl. *košęrǵó*; Керецки *košęra*, acc. *-u*, pl. *košęrǵó*; Ч. Поток *košęra*, acc. *-u*, pl. *-o*, gen. *košęrǵúw*; Чернево *košęrá*, acc. *-ú*; Бан.-П. *košęiera*, acc. *-u*, pl. *košęerǵ*, gen. *košęieraŭ*; Мшанец *košęra*, acc. *-u*, pl. *-y*, gen. *košęryŭ*; Луквица *košęra*, acc. *-u*, pl. *-ǵ*, gen. *-yŭ* 'лопата сажать хлебы в печь'.

***koloban'a**: Мшанец *kołobán'a*.

***kolda**: Ольшаны *kolóda*, acc. *kołódu*, pl. *kolódo*, gen. *kolót* 'упавшее, гниющее дерево'; Березники *kolóda*, acc. *kołódu*, pl. *kolódo* 'гнилое дерево'; Керецки *kolóda*, acc. *kołódu*, pl. *kolódo* 'упавшее гнилое дерево'; Ч. Поток *kolyóda*, acc. *kołyódu*, pl. *kolyódo*, gen. *kolyót/kołyóđú* 'большое бревно'; Чернево *kołóda*, acc. *-u*, num. *-d'i*, pl. *-dy*, gen. *kołót* 'колода — «dryvá rubátŭ»'; Бан.-П. *kołúda*, acc. *-u*, pl. *-y*, gen. *-d'iw* 'упавшее дерево'; Луквица *kolóda*, acc. *-u*, pl. *-ǵ*, gen. *kolóđ* 'гнилое дерево'.

***kolęja**: Ч. Поток *koł'ijá*, acc. *-ú*, pl. *-í*, gen. *koł'ij*; Бан.-П. *kuól'ija*, acc. *-u*, pl. *koł'iji/kuól'iji*, gen. *koł'ijŭ/kuól'ijŭ*; Луквица *kól'ija*, acc. *-u*, {pl. *-i*, gen. *kól'ij/-iw*}.

***kołęda**: Ольшаны pl. *koł'adó*, gen. *koł'adów*; Ч. Поток *koł'áda*, acc. *-u*, pl. *-o*, gen. *koł'át*; Бан.-П. *koł'ędá*, acc. *-ú*; Луквица *kol'ídá*, acc. *-ú*, {pl. *kol'ǵđá*, gen. *kol'ǵđ*}.

***kołęđka**: Ольшаны *koł'átka*, pl. *koł'atkó*, gen. *koł'adó*; Ч. Поток *koł'átka*, pl. *koł'atkó*, gen. *koł'adó*.

***koliba** 'пастушья хижина, шалаш (на пастбище)': Ольшаны *kolíba*, acc. *-u*, pl. *kolíbo/kolíboó*, gen. *kolíp*, loc. *kolíbáx*; Березники loc. *na kołíb'i*; Керецки *kolíba*, pl. *-o*; Ч. Поток *kolíba*, acc. *-u*, pl. *-o*, gen. *kolíp*: *na ryǵ'lu storozát*; Бан.-П. *koł'íba*, acc. *-u*, pl. *-y*, gen. *-b'iw* «временка» в лесу; Луквица *kołába*, acc. *-u*, pl. *-ǵ*, {gen. *kołáb'iw/kołáb*}.

***komora**: Ольшаны *komóra*, acc. *kołóru*, pl. *komóro*, gen. *komór* (редкое слово — обычно **klęty*); Ч. Поток *kołyóra*, acc. *kołyóru*, pl. *kołyóro*, gen. *kołyór*; Бан.-П. *kołúora* 'кладовая (для хранения продуктов)'; Луквица *komóra*, acc. *-u*, pl. *-ǵ*, {gen. *-r'iw*} 'кладовая'.

***kopor'a**: Ольшаны *kołópn'a*, acc. *-u*, pl. *kołópn'i*, gen. *kołópn'*; Ч. Поток *kołyópn'a*, acc. *-u*, pl. *-i*, gen. *kołópn'*; Бан.-П. *kołúópn'a*, acc. *-u*, pl. *kołópn'i*, gen. *-iw*.

***кора**: Т. Поляна *kóra*, acc. *kóru*, pl. *kóry*, gen. *kor*; Чапли *korá*, acc. *kóru*, pl. *kórǵ*; Миженец *kóra*, acc. *-u*, pl. *-y*, num. *-y*, gen. *-iw*; Скотарское *korá*, acc. *kóru*, pl. *kóro* 'укладка в 60 снопов'; Печенижин *kóra*, acc. *-u*, pl. *-y*, gen. *k'ip/kór'iw*; Чернево *kóra*, acc. *-u*, pl. gen. *k'ip* 'копна; кучка'; Бан.-П. *korá*, acc. *kuóru*, num. *-r'i*; Мшанец *kóra*, acc. *kóru*, pl. *kóru*, gen. *kor*; Луквица *korá*, acc. *kóru* (/korú), pl. *kórǵ*, gen. *kór'iw/kl'ip* 'укладка в 60 снопов'.

***корацька**: Ч. Поток *koráčka* 'мотыга'.

***korisa**: Ольшаны *koł'ís'a*; Ч. Поток *koł'ís'a*, acc. *-u*, pl. *-i*, gen. *koł'ís'*; Велятин *koł'ís'a*, acc. *-u*; Бан.-П. *koł'ís'a*.

***korá**: Ольшаны *korá*, асс. *korú*; Керецки *korá*, асс. *korú*; Луги *korá*, асс. *korú*; Бороняво *korá*, асс. *korú*; Т. Поляна *korá*, асс. *korú*; Люта *korá*, асс. *korú*; Велятин *korá*, асс. *korú*; Чапли *korá*, асс. -ú; Миженец *korá*, асс. *kóru*; Скотарское *korá*, асс. *korú*, pl. *kóroo*; Печенижин *korá*, асс. -ú; Чернево *korá*, асс. -ú; Бан.-П. *korá*, асс. -ú; Мшанец *korá*, асс. *korú*; Луквица *korá*, асс. -ú.

***корпан'а**: Ольшаны *kororán'a*, асс. -u, pl. -i, gen. *kororán'* 'жаба'.

***korsta**: Ольшаны *korósta*, dat. *koróstu*; Березники *korósta*, асс. *koróstu* 'лишай'; Керецки *korósta*, асс. *koróstu* 'чесотка, лишай'; Луги *korósta*, асс. -u; Бороняво *korósta*, асс. *koróstu*; Т. Поляна *korósta*, асс. *koróstu*; Люта *korósta*, асс. *koróstu*, pl. *koróstoo*; Ч. Поток *korýosta*, асс. *korýóstu*; Велятин *korósta*, асс. *koróstu*; Чапли *korósta*, асс. -u, pl. -ə; Миженец *korósta*, асс. -u; Скотарское *korósta*, асс. *koróstu* 'чесотка'; Бан.-П. *korýosta*, асс. -u; Мшанец pl. *koróstu*; Луквица *korósta*, асс. -u, pl. -ə / {*korostə*}, gen. *koróst*.

***korva**: Ольшаны *koróna*, асс. *korónu*, pl. *korónoo*, gen. *korów*; Березники *koróna*, асс. *korónu*, pl. *korónoo*, gen. *korów*; Керецки *koróna*, асс. *korónu*, pl. *korónoo*; Луги *koróna*, асс. -u, pl. -y, gen. *korów*; Бороняво *koróna*, асс. *korónu*, pl. *korónoo*, gen. *korów*; Т. Поляна *koróna*, асс. *korónu*, pl. *korónoo*, gen. *korów*; Люта *koróna*, асс. *korónu*, pl. *korónoo*, gen. *korów*; Ч. Поток *korýóna*, асс. *korýónu*, pl. *korýónoo*, gen. *korýów*; Чапли *koróna*, асс. -u, pl. -ə; Миженец *koróna*, асс. -u, pl. -y, num. -y, gen. *korów*; Скотарское *koróna*, асс. *korónu*, pl. *korónoo*, gen. *korów*; Печенижин *koróna*, асс. -u, pl. -y, gen. *korów*; Чернево *koróna*, асс. -u, num. *korónji*, pl. gen. *korów*; Бан.-П. *korýóna*, асс. -u, pl. -y, gen. *korów*; Мшанец *koróna*, асс. *korónu*, pl. *korónoo*, gen. *korów*; Луквица *koróna*, асс. -u, pl. -ə, gen. *korów* / {*korów* / *korón'iw*}.

***корька**: Ч. Поток *kúrka*, асс. -u.

***kosa** (орудие): Ольшаны *kosa*, асс. *kósu*, pl. *kósoo*, gen. *kus*; Березники *kosá*, асс. *kósu*, pl. *kósoo*; Керецки *kosá*, асс. *kósu*, pl. *kósoo*; Луги *kosá*, асс. *kósu*, pl. *kósu*, gen. -iw/-əj; Бороняво *kosá*, асс. *kósu*, pl. *kósoo*, gen. *kus*; Т. Поляна *kosá*, асс. *kósu*, pl. *kósoo*, gen. *kos*; Люта *kosá*, асс. *kósu*, pl. *kósoo*, gen. *kos*; Ч. Поток *kosá*, асс. *kyósu*, pl. *kyósoo*, gen. *kos'ú*; Велятин *kosá*, асс. *kósu*, pl. *kósoo*; Чапли *kosá*, асс. *kósu*, pl. *kósoo*; Миженец *kosá*, асс. *kósu*, pl. *kósoo*, num. *kosú*, gen. *kósiw* (/ *kis*); Скотарское *kosá*, асс. *kósu*, pl. *kósoo*; Брод *kosá*, асс. *kósu*, pl. *kósoo*, gen. *kosij/küs*; Печенижин *kosá*, асс. *kósu*, pl. *kósoo*, gen. *k'is/kósiw*; Чернево *kosá*, асс. *kósu*, num. *kos'í*, pl. *kósoo*, gen. *k'is*; Бан.-П. *kosá*, асс. *kyósu*, num. *kos'í/kyósi*, pl. *kyósoo*, gen. -s'iw; Мшанец *kosá*, асс. *kósu*, pl. *kósoo*, gen. *kos'iw*; Луквица *kosá*, асс. *kósu*, pl. *kósoo*, gen. *kósiw*.

***kosa** (волосы): Березники *kosá*, асс. *kósu*, pl. *kósoo*; Керецки *kosá*, асс. *kósu*, pl. *kósoo*; Луги *kosá*, асс. *kósu*, pl. *kósoo*, gen. -iw/-əj; Ч. Поток *kosá*, асс. *kyósu*, pl. *kyósoo*, gen. *küs*; Велятин *kosá*, асс. *kósu*, pl. *kósoo*; Чапли *kosá*, асс. *kósu*, pl. *kósoo*; Миженец *kosá/kósa*, асс. *kósu*, pl. *kósoo*, num. *kos'í*, gen. *kis* (/ *kósiw*); Скотарское *kosá*, асс. *kósu*, pl. *kósoo*; Мшанец *kosá*, асс. *kósu*, pl. *kósoo*, gen. *kos'iw*; Луквица *kosá*, асс. *kósu*, pl. *kósoo*, {gen. *k'is*}.

***kosica** 'цветок': Ч. Поток pl. *kosíc'i*.

***kostьka**: Ольшаны pl. loc. *kustkák*; Чернево *k'istka*, асс. -u, num. *k'is'c'i*, pl. *k'istk'í*, gen. *k'istók*.

***košara**: Ольшаны *košára*, асс. -u, pl. -oo, gen. *košár*; Бан.-П. *koščára* (sic); Луквица *košára* / {*koš'ára*}, асс. -u, {pl. -ə, gen. *koš'ár/-r'iw*}.

***košarьka**: Ч. Поток *košárka* 'малая корзина'.

***kotora**: Бан.-П. *koťóra*, асс. -u, pl. -y, gen. -r'iw 'ссора (?)'.

***koza**: Ольшаны *kozá*, асс. *kozú*, pl. *kózoo*, gen. *kus*; Березники *kozá*, асс. *kozú*, pl. *kózoo*; Керецки *kozá*, асс. *kozú*, pl. *kózoo*; Ч. Поток *kozá*, асс. *kozú*, pl. *kyózoo*,

gen. *küis*; Велятин *kozá*, асс. *kozü*, pl. *kózoo*; Чапли *kozá*, асс. -*ú*, pl. *kózə*; Миженец *kozá*, асс. *kózu*, pl. *kózy*, num. -*y*, gen. *kis*; Скотарское *kozá*, асс. *kozü*, pl. *kózoo*, gen. *k'iz*; Брод *kozá*, асс. *kozü*, pl. *kózoo*, gen. *küis*; Печенижин *kozá*, асс. -*ú*, pl. *kózy*, gen. *k'is*; Чернево *kozá*, асс. -*ú*, num. *koz'í*, pl. *kózy*, gen. *k'is/kos*; Бан.-П. *kozá*, асс. -*ú*, num. -*z'í*, pl. *kuózy*, gen. -*z'iw*; Мшанец *kozá*, асс. *kozü*, pl. *kózy*, gen. *kóz'iw*; Луквица *kozá*, асс. -*ú*, pl. *kózə*, gen. *kóz'iw*/{*k'iz*}; Луги *kozá*, асс. -*ú*, pl. gen. *kóziw*; Бороняво *kozá*, асс. *kozü*, pl. *kózoo*, gen. *kus*; Люта *kozá*, асс. *kozü*, pl. *kózoo*, gen. *k'iz*.

***koža**: Ольшаны *kóža*, dat. *kóžu*, ? pl. *kóž'i*, gen. *kóžuw*; Березники *kóža*, асс. *kóžu*; Керецки *kóža*, асс. *kóžu*, pl. *kož'i*; Ч. Поток *kuóža*, асс. *kuóžu*; Велятин *kóža*, асс. *kóžu*; Миженец *kóža*, асс. -*u*, pl. -*i*, num. -*i*, gen. -*iw* (обычно **skoga* > *skíra*); Скотарское *kóža*, асс. *kóžu*; Брод *kóža* 'кора; кожа'; Чернево *kóža*, асс. -*u*; Бороняво *kóža*, асс. *kóžu*, pl. *kož'i*, gen. *kuš*.

***kođel'a**: Луквица *kudél'i*, асс. -*u*.

***kočja**: Ольшаны *kúča*, асс. -*u*, pl. *kúč'i*, gen. *kuč*; Березники *kúča*, асс. -*u*, pl. *kúči* 'конура; курятник'; Керецки *kúča*, асс. -*u*, pl. *kuč'i* 'конура; хлев для свиней'; Ч. Поток *kúča*, асс. -*u*, pl. -*i*, gen. *kuč* «*uráľaja chóža*»; Велятин *kúča*, асс. -*u*, pl. -*i* «маленький дом»; Чапли *kúča*, асс. -*u*, pl. -*i* 'свиной хлев'; Миженец *kúča*, асс. -*u*, pl. -*i*, gen. -*iw* 'хлев'; Скотарское *kúča*, асс. -*u*, pl. *kúč'i* 'свиной хлев'; Брод *kúča*; Печенижин *kúč'u*, асс. -*ču*, pl. -*č'i*, gen. *kuč* 'сарай'; Чернево *kúča*, асс. -*u*, num. -*t*, gen. *kuč* 'конура'; Бан.-П. *kúča*, асс. -*u*, pl. -*č'i*, gen. -*č'iw* «*kúča pšúvna*»; Луквица *kúč'a*/{-*i*}, асс. -*u*, pl. -*i*, {gen. *kuč*} 'свиной хлев'; Луги *kúč'i*, pl. -*i* 'хлев'; Бороняво *kúča*, асс. -*u*, pl. *kúč'i*, gen. *kuč* 'небольшой дом'; Т. Поляна *kúča*, асс. -*u*, pl. *kúč'i*, gen. *kuč* 'хлев'; Люта *kúš'a*, асс. -*u*, pl. -*i*, gen. *kuš* 'хлев'.

***kraǰjka**: Ч. Поток *kráǰka*, pl. *kraǰkó* 'кромка'.

***krapl'a**: Луквица *krápl'i*, {асс. -*u*, pl. -*i*, gen. *krápeľ*/{*krápl'iw*} 'капля'.

***krasa**: Чернево *krasá* 'краска'; Луквица *krasá*, асс. -*ú*.

***kretenica**: Бан.-П. *kreteničca* 'кремень'.

***kriga** 'льдина': Ольшаны *kríga*, асс. -*u*, pl. -*oo*, gen. *krig* 'льдина'; pl. *krígoo* 'соты'; Керецки *kríga*, асс. -*u*, pl. -*oo*; Бан.-П. *kríga*, асс. -*u*, pl. -*gu*, gen. -*g'iw*; Луквица *krága*, асс. -*u*; В. Тур. *krága*, асс. -*u*, pl. -*ž*, gen. *krəg*.

***kropl'a**: В. Тур. pl. *krópl'i*: *v'id sérc'a*.

***krótja**: Печенижин *krúč'u* 'обрыв, круча'; Луквица *krúč'i*, асс. -*u*, pl. -*i*.

***krupa**: Ч. Поток *krupá*, асс. -*ú*, pl. *krúpo*, gen. *krup*; Велятин *krupá*, pl. -*ó*; Чапли *krupá*, асс. -*ú*, pl. -*ž*; Миженец *krupá*, асс. -*ú*, pl. -*y*; Скотарское *krupá*, асс. -*ú*, pl. *krúpo*; Печенижин *krupá*, асс. -*ú*, pl. *krúpy*, gen. *krup*; Березники *krupá*, асс. -*ú*, pl. -*ó*; Керецки *krupá*, асс. -*ú*; Чернево *krupá*, асс. -*ú*; Бан.-П. *krupá*, асс. -*ú*, pl. *krupá*/{*krúpy*}, gen. *krup'iw*; Мшанец *krúpa*, pl. -*y*, gen. *krup*; Луквица *krupá*, асс. -*ú*, pl. *krúpə*; Луги *krupá*, асс. -*ú*, pl. -*ž*, gen. -*iw*; Бороняво *krupá*, асс. *krupú*, pl. *krúpo*, gen. *krup*; Т. Поляна *krúpa*, асс. -*u*, pl. -*ы*, gen. *krup*.

***kršjka** 'крошка': Чапли *kráška*; Бан.-П. *kráška*, асс. -*u*, pl. *kryškə*, gen. *kryšók*.

***krština**: Ольшаны *krština* 'крот'.

***kršxta**: Мшанец *krúxta*, асс. -*u*; Т. Поляна *kršxtá*, асс. -*ú*, pl. -*ы* 'крошка'.

***kršxtjka**: Березники *kršxítka*; Ч. Поток *kršxítka*; Скотарское *kršx'ítka*.

***kuča**: Луги *kúč'i*, асс. -*u* 'куча, множество'.

***kuma**: Ольшаны *kumá*, асс. *kutú*, pl. *kutó*, gen. *kum*; Березники *kumá*, асс. -*ú*, pl. -*ó*; Керецки *kumá*, асс. -*ú*, pl. -*ó*; Ч. Поток *kumá*, instr. -*ú*, pl. -*ó*, gen. *kut'ú*; Велятин *kumá*, асс. -*ú*, pl. -*ó*; Чапли *kumá*, асс. -*ú*, pl. *kútə* (/ *kutə*), gen.

kútiw (sic); Миженец *қотá*, асс. -ú, pl. *kúту*, нум. *қотí*, ген. *kútiw* (sic); Скотарское *кутá*, асс. -ú, pl. *кутóо* (/kúтoo); Печенижин *кутá*, асс. -ú, pl. *куту*, ген. *кут'iw*; Чернево *кутá*, асс. -ú, нум. *кутн'í*, pl. *куту*; Бан.-П. *кутá*, асс. -ú, pl. -*тá*, ген. -*т'iw*; Мшанец *кутá*, асс. -ú, pl. *куту*, ген. *кут'iw*; Луквица *кутá*, {вос. *кутá*}, асс. -ú, pl. -*á*, ген. *кут'iw*; Луги *кутá*, асс. -ú, pl. -*á*, ген. -*iw*; Боромяво *кутá*, асс. -ú, pl. -*ó*, ген. *кут*; Т.Поляна *кутá*, асс. -ú, pl. -*á*, ген. *кут*; Люта *кутá*, асс. -ú, pl. *кутoo*, ген. *кут'iw*.

**kupa* 'куница': Луквица *купá*, асс. -ú, pl. *кунá*, ген. *кун'iw*.

**kunica*: Ольшаны *кунíс'а*; Березники *кунíс'а*; Керецки *кунíс'а*; Ч.Поток *кунíс'а*, асс. -*и*, pl. -*í*, ген. *кунíс'*; Велятин *кунíс'а*, асс. -*и*, pl. -*í*; Бан.-П. *кунíс'а*, асс. -*и*; Мшанец *кунýс'а*; Луквица *кунáс'а*, асс. -*и*.

**kura*: Ольшаны *кúра*, асс. -*и*, pl. -*oo*, ген. *кур* 'куча; мера кукурузы'; Керецки *кúра*, асс. -*и*, pl. -*oo* 'куча земли, сена и т.д.'; Скотарское *кúра*, асс. -*и*, pl. -*oo* 'куча'; Чернево **кúра*, асс. -*и*, нум. *кúрji*, pl. *кúрý*; Мшанец *кúра*, асс. -*и*, pl. -*у*, ген. *кур/кúр'iw*; Луквица *кúра*, асс. -*и*, pl. -*á*, {ген. *кúр'iw/кур*} 'куча'; Люта *кúра*, асс. -*и*, pl. -*oo*, ген. *кúр'iw/кур*.

**kurí'a*: Ольшаны асс. *на кúр'iu*; Луквица асс. *на кúр'iu*.

**kuroní'a*: Бан.-П. *кур'íwl'a*.

**kurja*: Ольшаны pl. *кúри*, ном. *курá*, instr. *курmí*; Ч.Поток pl. *кúроо*, ген. *курéj*, instr. *курmí*; Чернево pl. *кúру*, ген. *курíj*; Бан.-П. pl. *кúру*, ген. *курíáj*; Луквица pl. *кúрá*, ген. *курéj*, instr. *курmá/ {кур'tá}*.

**kurica*: Ольшаны *кúрис'а*, асс. -*и*, pl. *кúрис'í*, ген. *кúрис'*; Ч.Поток *кúрис'а*, асс. -*и*.

**kurka*: Чернево *кúрка*, асс. -*и*, нум. **кúрс'í*; Бан.-П. *кúрка*; Луквица *кúрка*.

**kwbasá*: Ольшаны *қowbasá*, асс. -ú, pl. -*ó*, ген. *қowbás*; Чернево *қowbasá*, нум. *қowbas'í*, pl. *қowbasý*; Бан.-П. *қowbasá*, асс. -ú, pl. -*á*, ген. -*с'iw*; Мшанец *қowbasá*, асс. -ú; Луквица *қowbasá*, асс. -ú, pl. -*á/ {қowbásá}*, ген. *қowbás*.

**kwbaszka*: Ольшаны *қowbáska*, pl. *қowbaskóo*, ген. *қowbasók*; Чернево pl. *қowbask'í*.

**kn'izka*: Ольшаны *книшка*, асс. -*и*, pl. *книškóo*, ген. *книžók*; Ч.Поток *книшка*, асс. -*и*, pl. *книškóo*, ген. *книžók*; Бан.-П. *книáшка*, асс. -*и*, pl. *книýšká*, ген. *книžók*; Луквица *книáшка*, асс. -*и*, pl. *книášk'á*, ген. *книžók/ {книžók}*.

**koršma*: Ольшаны *кóршма*, асс. *кóршму*, pl. *корšmóo*, ген. *кóршм/корšmúw*; Березники *кóрчма*, асс. *кóрчму*, pl. *корčmóo*; Керецки *кóрчма*, pl. *корčmóo*; Ч.Поток *кúóрчма*, асс. *кúóрчму*, pl. *корčmóo*, ген. -*м'ú*; Бан.-П. *кúóрš'ma*, асс. -*и*, pl. *кóрš'má*, ген. -*м'iw*; Мшанец *кóршма*, pl. *кóршму*, ген. *кóршм'iw*; Луквица *кóрчма/ {кóршма}*, асс. -*и*, pl. *кóрчмá/ {корšmá}*.

**kyla* 'грыжа': Ольшаны *кúла*, асс. -*и*, pl. *кóлоo*, ген. *кool*; Керецки *кóла*, асс. -*и*, pl. -*oo*; Ч.Поток *кóла*, асс. -*и*, pl. -*oo*, ген. *кool* 'внутренности, потроха'; Бан.-П. *кáла*, асс. -*и*; Луквица pl. t. *к'áлá*.

**kyša*: Керецки (*samo*)*káša* 'простокваша'.

**kyta*: Березники *кóта*, асс. -*и*, pl. -*oo* 'пучок конопли'; Керецки *кóта*, асс. -*и*, pl. -*oo* 'сноп конопли'.

**kytica*: Ольшаны *кóтис'а* «помпончик».

laba*/lapa*: Ольшаны *lába*, асс. -*и*, pl. *лáбоo*, ген. *lap*; Березники *lába*, асс. -*и*, pl. -*oo*; Керецки *lába*, асс. -*и*, pl. -*oo*; Ч.Поток *lába*, асс. -*и*, pl. -*oo*, ген. *lap*; Чапли *lába*, асс. -*и*, pl. -*á*; Миженец *lába*, асс. -*и*, pl. -*у*, нум. -*í*, ген. -*iw*; Скотарское *lába*, асс. -*и*, pl. -*oo*; Печенижин *lába*, асс. -*и*, pl. -*у*, ген. *lap*; Чернево *lába*, нум. *лábji*; Бан.-П. *lába*, асс. -*и*, pl. -*by*, ген. -*b'iw*; Луквица *lába/ {lápa}*, асс. -*и*, pl. -*á*, {ген. *lab/lap*}; Луги *lába*, асс. -*и*, pl. -*у*, ген. *lap* 'лапа; ножка мебели';

Бороняво *lába*, асс. -*u*, pl. -*oo*, gen. *lap*; Т. Поляна *lába*, асс. -*u*, pl. -*ы*, gen. *lap*; Люта *lába*, асс. -*u*, pl. -*oo*, gen. *lab*.

***lagoda**: Ольшаны *láyoda*, асс. *láyodu*; Ч. Поток *láyoda*, асс. *láyodu*; В. Тур. *láyoda*.

***lajьka**: Ольшаны *lájka*, pl. *lajkóo*, gen. *lajók* 'ругательство'.

***lasica** (зверь): Березники *lásic'a*; Ч. Поток *lásic'a*, асс. -*u*, pl. -*й*, gen. *lásic'*: *skáče po oříchax* (что за зверь?).

***laska**: Велятин *láska*, асс. -*u*; Чапли *láska*, асс. -*u*, pl. -*э*; Скотарское *láska*, асс. -*u*; Печенижин *láska*, асс. -*u*, pl. -*k'y*; Луквица *láska*, асс. -*u*, {pl. *lask'i*, gen. *lások*}; Луги *láska*, асс. -*u*.

***lasъьka** (зверь): Ольшаны *lasočka*, асс. -*u*, pl. *lasočkoo*, gen. *lasočók*; Луквица *lasočka*/(*lásačka*), асс. -*u*, pl. *lasočk'ž*/(*lásačk'i*, gen. *lásačok*);

***lava** 'лавка': Чернево *láva*, асс. -*u*, pl. *lavý*; Луквица *láva*, асс. -*u*, {pl. -*э*, gen. *lav'iw*}.

***lavica**: Ольшаны *lávica*; Ч. Поток *lávica*, асс. -*u*, pl. -*й*, gen. *lávic'*; Бан.-П. *lavuca*, асс. -*u*, pl. *lavuc'i*, gen. -*iw*; Луквица pl. *lavac'i*, {gen. *lavac'*}.

***lavьka**: Бан.-П. *lávka*, асс. -*u*, pl. *lavk'ž*, gen. *lavók*; Луквица *lávka* 'мостик'.

***lěsa**: Березники *l'isa*, асс. -*u*, pl. -*oo* 'проход в изгороди'; Керецки *l'isa*, асс. -*u*, pl. -*oo* 'калитка'; Скотарское *l'isá*, асс. -*ú*, pl. -*ó* 'проход (со съёмными жердьми) в загородке для овец'.

***lěska** 'лещина': Мшанец *l'iska*, асс. -*u*, pl. *l'iský*, gen. *l'isk'ŕw* 'лещина'; Печенижин *l'iska*, асс. -*u*, pl. *l'isk'ž*, gen. *l'isók* 'прутик орешника'; Бан.-П. *l'iska*, асс. -*u*, pl. *l'isk'ž*, gen. *l'isók* 'лещина'; Луги *l'iska*, асс. -*u*, pl. *l'isk'ž*, gen. *l'isók* 'лещина'; Т. Поляна *l'iska*, асс. -*u*, pl. *l'isk'i*, gen. *l'isk* (sic); Люта *l'iska*, асс. -*u*, pl. *l'isk'i*, gen. *l'isók*.

***lěska**: Керецки *l'iska*, асс. -*u*, pl. *l'iskóo* 'рыболовная снасть (типа верши)'; Велятин *l'iska*, асс. -*u*, pl. *l'iskóo*; Печенижин *l'iska*, асс. -*u*, pl. *l'isk'ž*, gen. *l'isók* 'решетка для сушки фруктов'; Чернево *l'iska*, num. *l'isc'i*, pl. *l'isk'i*, gen. *l'isók*; Бан.-П. *l'iska*, асс. -*u*, pl. *l'isk'ž*, gen. *l'isók* 'решетка для сушки фруктов'; Луквица *l'iska*, {асс. -*u*, pl. *l'isk'ž*, gen. *l'isók*} 'деревянная решетка (в т.ч. под штукатурку)'.

***lěščana** 'лещина': Ольшаны *l'iščána*; Ч. Поток *l'iščána*; Луквица *l'iščána*, {асс. -*u*}; Бороняво *l'iščána*.

***lěščanьka** 'лещина': Березники *l'iščanьka*.

***lěščina** 'лещина': Скотарское *l'iščína*.

***lípa**: Ольшаны *lípa*, асс. -*u*, pl. *lípoo*, gen. *líp*; Березники *lípa*, асс. -*u*, pl. -*oo*; Керецки *lípa*, асс. -*u*, pl. -*oo*; Ч. Поток *lípa*, асс. -*u*, pl. -*oo*, gen. *líp*; Велятин *lípa*, асс. -*u*, pl. -*oo*; Чапли *lára*, асс. -*u*, pl. -*э*; Миженец *lýpa*, асс. -*u*, pl. -*y*, num. -*i*, gen. -*iw*; Скотарское *lípa*, асс. -*u*, pl. -*oo*; Печенижин *lára*, асс. -*u*, pl. -*y*, gen. *lár*; Чернево *lípa*, асс. -*u*, num. *lírji*, pl. *lírý*; Бан.-П. *l'ára*, асс. -*u*, pl. -*y*, gen. -*p'iw*; Мшанец *lýpa*, асс. -*u*, pl. -*y*, gen. *l'ýp'ŕw*; Луквица *lára*, асс. -*u*, {loc. *na lár'i*}, pl. -*э*, gen. -*p'iw*; Луги *lára*, асс. -*u*, pl. -*y*, gen. -*iw*; Бороняво *lípa*, асс. -*u*, pl. -*oo*, gen. *líp*; Т. Поляна *lípa*, асс. -*u*, pl. -*ы*, gen. *l'íp*; Люта *lípa*, асс. -*u*, pl. -*oo*, gen. *líp*.

***lisa**: Керецки *lisá*, асс. -*ú*, pl. -*oo*; Чапли *lėsá*, асс. -*ú*, pl. -*э*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бушкевич С. П., Николаев С. Л., Толстая С. М. Этнолингвистические экспедиции в Украинские Карпаты // Славяноведение. 1994. № 3.



К 70-летию академика Г. Г. ЛИТАВРИНА

7 сентября 1995 г. в Институте славяноведения и балканистики РАН состоялось заседание Ученого совета, посвященное юбилею выдающегося византиниста и слависта, действительного члена РАН Геннадия Григорьевича Литаврина. Исполнилось 70 лет ученому, чья многолетняя исследовательская работа высоко оценена международной научной общественностью. Г. Г. Литаврин входит в руководство ряда организаций ученых-византинистов, ему присуждена международная премия имени св. Кирилла и Мефодия, он избран академиком Болгарской Академии наук. Ныне Г. Г. Литаврин руководит отделом средних веков Института славяноведения и балканистики РАН, сектором византиноведения Института всеобщей истории РАН, является главным редактором «Византийского временника». Трудно перечислить все ученые советы, редколлегии, ассоциации, членом которых он состоит. В лице Г. Г. Литаврина отечественная медиевистика еще несколько десятилетий назад незвизывая ни на какую конъюнктуру завоевала мировое уважение. Творческому методу Г. Г. Литаврина присущи внимание к фундаментальным проблемам, их всесторонний анализ на основе тщательной работы с источниками.

Г. Г. Литавриным опубликовано свыше 300 научных работ по истории Византии, Болгарии, русско-византийским отношениям. Такие монографии, как «Болгария и Византия в XI—XII вв.», «Византийское общество и государство в X—XI вв.», «Как жили византийцы», блестящая публикация «Советов и рассказов Кекавмена» нискали Г. Г. Литаврину широкую известность как глубокому исследователю, опирающемуся на тщательное изучение источников. Под руководством и при активном участии Г. Г. Литаврина был издан один из важнейших средневековых источников по истории Восточной и Юго-Восточной Европы — «Об управлении империей» Константина Багрянородного. Не имеет мировых аналогов по объему материала и глубине комментариев

«Свод древнейших письменных известий о славянах», выполненный большим коллективом авторов под руководством Г. Г. Литаврина. Он также был одним из ведущих авторов трехтомных коллективных трудов «История Византии» и «Культура Византии». Значительный вклад ученый внес в изучение проблем славянской медиевистики, являясь руководителем и ведущим автором таких коллективных трудов, как «Раннефеодальные государства на Балканах», «Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси», «Краткая история Болгарии», в которых во многом по-новому анализируется становление и развитие государственности у славян. Особое место занимает трехтомное исследование этнического самосознания славянских народов с древнейших времен по XV в., выполненное под руководством Г. Г. Литаврина и не имеющее аналогов в мировой науке.

Собравшиеся на заседании тепло поздравили Г. Г. Литаврина с юбилеем. Была зачитана поздравительная телеграмма Президента РАН академика Ю. С. Осипова. Академик-секретарь РАН И. Д. Ковальченко вручил юбиляру поздравительный адрес Президиума РАН и пожелал ему крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов. Директор Института славяноведения и балканистики В. К. Волков огласил приказ по институту в связи со знаменательным событием и поздравил Г. Г. Литаврина от имени всего коллектива. С развернутым историографическим докладом о юбиларе выступил Б. Н. Флоря, подчеркнувший, что Г. Г. Литаврин является продолжателем традиций русской дореволюционной византистики, бывшей одной из ведущих научных школ в мире. Юбилара приветствовали представители посольств Греции и Болгарии — стран, в изучение истории которых Г. Г. Литаврин внес весомый вклад. От имени руководства Института всеобщей истории юбиляра поздравил М. М. Наринский, подчеркнувший значение науч-

но-организационной деятельности Г. Г. Литаврина, в частности его огромный вклад в проведение в 1991 г. в Москве XVIII Международного конгресса византинистов. От имени Московского государственного университета выступил декан исторического факультета, заведующий кафедрой истории средних веков С. П. Карпов, сообщивший, что в МГУ студенты уже учатся на трудах Г. Г. Литаврина как на образцах, проверенных временем. Юбиляра поздравили многие коллеги: известный лингвист Вяч. Вс. Иванов, говоривший о радости научного сотрудничества с Г. Г. Литавриным; Л. В. Горина, акцентировавшая вклад Г. Г. Литаврина в болгаристику и поздравившая «рыцаря прекрасной дамы Науки» от имени кафедры истории южных и западных славян МГУ; академик С. О. Шмидт, подчеркнувший демократизм юбиляра, его постоянную открытость новым идеям и людям; Л. В. Милов, высоко оценивший работу руководимого Г. Г. Литавриным

коллектива; А. А. Сванидзе, от имени медиевистов-западников сердечно поздравившая византиниста-слависта; Л. П. Маринович, сделавшая то же самое от лица антиковедов. Особой стилистической изысканностью отличались поздравления коллег-византинистов Б. Л. Фонкича и С. А. Иванова. Последний особо отметил, что Г. Г. Литаврин, получив высокие награды, остался как командир рядом со своими солдатами, как ученый — всегда за письменным столом, воспринимая все остальное как досадное отвлечение. Было зачитано много поздравительных телеграмм, в том числе от крупнейших византинистов мира. В ответном слове Г. Г. Литаврин сердечно поблагодарил за поздравления, подчеркнув, что ему очень повезло в жизни на хороших людей, поэтому часть своих успехов он относит на счет коллег.

Мельников Г. П.



САМУИЛУ БОРИСОВИЧУ БЕРНШТЕЙНУ 85 лет

Старейшине российских славистов Самуилу Борисовичу Бернштейну 3 января 1996 г. исполнилось 85 лет. Как ученый, С. Б. Бернштейн вошел в славянскую филологию в начале 30-х годов, когда эта наука переживала нелегкие времена. С тех пор он сам стал ее живой историей, на протяжении более шести десятилетий будучи ее активным создателем и современником происходивших в ней событий. Благодаря прежде всего его усилиям еще в годы Отечественной войны в Московском университете было открыто славянское отделение, за которым последовало открытие таких же отделений в других университетах страны. С созданием в самом конце 1946 г. Института славяноведения С. Б. Бернштейн активно включается в организацию славистических исследований в рамках Академии наук. За многие годы работы в качестве профессора, заведующего кафедрой славянской филологии Московского университета и заведующего сектором славянского языкознания Института славяноведения Академии наук С. Б. Бернштейн подготовил большое число высококвалифицированных славистов, успешно работающих в разных областях науки и культуры России и других стран. С. Б. Бернштейн — инициатор и руководитель целого ряда крупных научных начинаний, результаты которых стали значительным вкладом отечественной науки в мировую славистику. Он основал и редактировал такие широко известные славистам серийные издания как «Вопросы славянского языкознания», «Статьи и материалы по болгарской диалектологии», «Славянское и балканское языкознание» — в Институте славяноведения и балканистики Академии наук, «Славянская филология» — в Московском университете.

Автор около 400 печатных научных трудов — монографий, статей, лингвистических атласов, учебников, словарей, рецензий — доктор филологических наук, профессор, иностранный член Болгарской Академии наук и Македонской Академии наук и искусств, С. Б. Бернштейн известен всему славистическому миру нашего времени. Его собственные научные интересы лежат в разных областях славянского и неславянского языкознания: сравнительно-историческая грамматика славянских языков, начальная история славянской письменности, славянская и в особенности болгарская диалектология и лингвогеография, карпатская ареальная диалектология и лингвогеография, история славянских литературных языков, славянская лексикография, история отечественного славяноведения. В каждую из этих областей С. Б. Бернштейн внес свой ощутимый вклад, ставший достоянием мировой славистики.

Большая часть научной деятельности С. Б. Бернштейна связана с Институтом славяноведения и балканистики Академии наук, где он пользовался и пользуется бесспорным авторитетом и большим уважением и где он продолжает трудиться в качестве научного консультанта. С начала издания журнала «Славяноведение» (ранее — «Советское славяноведение») С. Б. Бернштейн — активный его сотрудник. Редакция журнала и коллеги, поздравляя С. Б. Бернштейна со знаменательным юбилеем, желают ему доброго здоровья, бодрого духа и успехов в его занятиях любимой славистической наукой.

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ И БАЛКАНИСТИКИ РАН

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В 1993—1995 гг. в Институте славяноведения и балканистики РАН вышли следующие издания:

- * Тысячелетие введения христианства на Руси. М., 1993.
- * Дополнения к Предварительному списку славяно-рукописных книг XV в., хранящихся в СССР. М., 1993.
- * Косик В. И. Время разрыва. Политика России в болгарском вопросе, 1886—1894 гг. М., 1993.
- * Костюшко И. И. Аграрная реформа 1848 г. в Австрии. М., 1993.
- * Шемякин А. Л. Радикальное движение в Сербии. М., 1993.
- * Липатов А. В. Литература в кругу шляхетской демократии. М., 1993.
- * Литературный авангард. Сб. статей. М., 1993.
- * Ян Коллар — поэт, патриот, гуманист. М., 1993.
- Натура и культура. Тезисы конференции. Москва, ноябрь, 1993.
- * Исследования по славянской диалектологии 2. М., 1993.
- * Символический язык традиционной культуры. Балканские чтения II. М., 1993.
- * Типологические и сопоставительные методы в славянском языкознании. М., 1993.
- * МАИРСК-26. Международная ассоциация по изучению и распространению славянских культур. Информационный бюллетень.
- * МАИРСК-27.
- Пленники национальной идеи. М., 1993.
- * Проблемы развития и функционирования современных славянских литературных языков. Сб. статей. М., 1993.
- Европейское социалистическое движение. 1914—1917. Разрубить или развязать узлы? М., 1994.
- * Политические партии и движения в Восточной Европе. Проблемы адаптации к современным условиям. М., 1994.
- Польско-советская война. 1919—1920. Ранее неопубликованные документы и материалы. М., 1994.
- Михутина И. В. Польско-советская война, 1919—1920. М., 1994.
- * Улунян А. А. Россия и освобождение Болгарии от турецкого ига. 1877—1878. М., 1994.
- Российское византиноведение. Итоги и перспективы. Сб. тезисов конференции. М., 1994.
- Славяне и их соседи. Греческий и славянский мир в средние века и раннее время. (Тезисы XIII конференции). М., 1994.
- * Фрейдзон В. И. Судьбы крестьянства в общественной мысли Хорватии XIX — нач. XX в. М., 1994.
- * Костюшко И. И. Аграрные реформы в Австрии, Пруссии и России в период перехода от феодализма к капитализму. М., 1994.
- * Шушарин В. П. Крестьянская война 1514 года в Венгрии. М., 1994.

- * Славянские съезды XIX—XX вв. Сб. статей. М., 1994.
- * НКВД и польское подполье. 1944—1945. (По «Особым папкам» И. В. Сталина). М., 1994.
- * Национализм и формирование наций. Теории — модели — концепции. М., 1994.
- * Очаги тревоги в Восточной Европе (Драма национальных противоречий). М., 1994.
- * Семенова Л. Е. Дунайские княжества в международных отношениях в Юго-Восточной Европе (конец XIV — первая половина XVI в.). М., 1994.
- * История. Культура. Этнология. Доклады российских ученых к VII Международному Конгрессу по изучению Юго-Восточной Европы. М., 1994.
- * Время в пространстве Балкан. Свидетельства языка. М., 1994.
- * Специфика литературных отношений. М., 1994.
- * Общекарпатский диалектологический атлас. М., 1994. Вып. 2.
- Миф и культура. Человек — не-человек. Сб. тезисов конференции. М., 1994.
- * Кишкин Л. С. Литература среди искусства и наук. М., 1994.
- * Австро-Венгрия. Опыт многонационального государства. М., 1995.
- * Бывшие «хозяева» Восточной Европы. М., 1995.
- * Движение Сопротивления в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 1939—1945. М., 1995.
- * Знакомый незнакомец. Социалистический реализм как историко-культурная проблема. М., 1995.
- * Из истории общественной мысли народов Центральной и Восточной Европы (конец XVIII — 70-е годы XIX в.). М., 1995.
- * Национальный вопрос в Восточной Европе. Прошлое и настоящее. М., 1995.
- * Национальный эрос в культуре. Тезисы докладов. М., 1995.
- * Никифоров Н. В. Сербия в середине XIX в. Начало деятельности по объединению сербских земель. М., 1995.
- * Проблемы становления и развития серболужицких литературных языков и диалектов. Сб. статей. М., 1995.
- * Славяне и их соседи. Имперская идея в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы (Тезисы XIV конференции). М., 1995.
- * Тоталитаризм. Исторический опыт Восточной Европы. М., 1995.
- У истоков «социалистического содружества»: СССР и восточноевропейские страны в 1944—1949 гг. М., 1995.

* Книги, отмеченные звездочкой, Вы можете приобрести по адресу: 117334, Москва, Ленинский пр-т, 32А, корп. В, Институт славяноведения и балканистики РАН, комн. 920. Тел. (095) 938-54-66, Гурьева Маргарита Васильевна. Только за наличный расчет.

CONTENTS

Articles

<i>Varbot J. J.</i> (Moscow). Towards the Ethymology of Russian dialect <i>pester'</i>	3
<i>Kurkina L. V.</i> (Moscow). Slavonic <i>plęsati</i>	7
<i>Kalashnikov A. A.</i> (Moscow). The Slavonic etimologies. Polish <i>oszczarki</i>	15
<i>Efimova V. S.</i> (Moscow). The vocabulary meaning of oral speech in Old Slavonic language. 1. Words with roots -вѣт-, -бесѣд-, -каз-	18
<i>N. T.</i> On scientific works of V. M. Zhivov	31
<i>Tolstoy N. I.</i> (Moscow). How did the Serbs name their literary language in XVIII and beginning of XIX c.?	32
<i>Tolstaya S. M.</i> (Moscow). The magic functions of negation in the sacral texts	39
<i>Petrukhin V. Ya.</i> (Moscow). The Old-Russian double-faith: the notion and the phenomenon . . .	44
<i>Gippius A. A.</i> (Moscow). «Russkyva pravda» and «Voproshaniye Kirika» in the Novgorodskaya kormchaya 1282 (to the Old Novgorod's language situation)	48
<i>Temchin S. Yu.</i> (Vilnius). The Church — Slavonic vocabulary's textological meaningfulness; the East-Bulgarian vocabulary in the Old — Russian Mstislav's Gospel	63
<i>Galchenko M. G.</i> (Moscow). The dated Novgorod's manuscripts of the end of XIV — first half of XV c. and the problem of second South-Slavonic influence	73
<i>Zapolskaja N. N.</i> (Moscow). Standard «Common-Slavic»: the models of Ju. Križanić (XVII c.) and M. Majar (XIX c.)	83
<i>Sofronova L. A.</i> (Moscow) The confusion of tongues in Ukraine and on the schooltheater stage . . .	95
<i>Sazonova L. I.</i> (Moscow). Towards the notion of elegearnal style in the Russian poetry of XVII c.	102
<i>Kravetsky A. G., Pletneva A. A.</i> (Moscow). The bishop's Aphanasy (Sakharov) activity in amending of the church-service-books	114

MATERIALS OF CARPATIAN EXPEDITIONS

<i>Nikolaev S. L.</i> (Moscow). Carpathoukrainian vocalism 2. Transcarpathian area	125
--	-----

SCIENTIFIC LIFE

To the Academician's G. G. Litavrin 70-th anniversary	140
To the Professor's S. B. Bernshtein 85-th anniversary	142
New publications by Institute of Slavonic and Balcanic Studies of RAS	143

Технический редактор *В. М. Пахомова*

Сдано в набор 11.10.95	Подписано к печати 07.12.95	Формат бумаги 70 × 100 ¹ / ₁₆
Офсетная печать	Усл. печ. л. 11,7	Усл. кр.-отт. 9,1 тыс.
		Уч.-изд. л. 13,8
		Бум. л. 4,5
Тираж 759 экз. Зак. 3374		

Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский проспект, д. 32а. Телефон 938-01-20
Московская типография № 2 РАН, 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

